

Тьма
в конце
туннеля

Моя
золотая
теща

Юрий Нагибин

**Юрий
Нагибин**

Москва
1994

Тьма
в конце
туннеля

Повесть

Юрий Нагибин

Моя золотая теща

Повесть



Независимое издательство ПИК

Художник
Ирина Разина

Тексты публикуются в авторской редакции
© Независимое издательство ПИК, 1994 г.
© Оформление И.Разиной
ISBN 5-7358-0176-7

**Тьма
в конце
туннеля**

Повесть

Пролог

Я похоронил мать. Вслед за ней ушел отчим, вдруг перед этим как-то странно, жалко и неприятно взбодрившийся для будущего.

Прошло несколько лет, и мне захотелось воскресить образ матери через немногие сохранившиеся в доме материальные знаки ее существования. Все жалкие ее туалеты были розданы подругам, вещи поценнее реализовал отчим, собравшийся начать новую жизнь, оставалась круглая кожаная коробка из-под шляпы, набитая всякой дребеденью: обрывки вышивок, бисерная сумочка, лакированный кожаный кошелек для иголок, два-три колечка, Георгии — один на ленточке, связка писем, несколько фотографий, почему-то мама не отдала их мне для альбома — то ли не нравилась себе на них, то ли с ними связаны какие-то неприятные воспоминания. Я так и не удосужился узнать причину. Никогда не любил расспрашивать близких людей, довольствуясь тем, что они сообщали мне сами.

Было там еще немало всякой всячины: сломанное страусовое перо, некогда украшавшее мою мушкетерскую шляпу, черепаховый гребень, крошечный перламутровый театральный бинокль, не раскрывающийся веер и моя полосатая младенческая распашонка на пуговицах, невесть зачем притащившаяся за мной в старость. Мать относилась к этому хранилищу без всяких сантиментов: стоит коробка на шкафу, никому не мешает, ну и пусть стоит. Она рылась в ней очень редко, чтобы достать что-то нужное: маскарадный бинокль, бисерную сумочку для съемок ее приятельнице — маленькой киноактрисе, какую-нибудь особую иглоку для шитья...

Я снял пыльно-муаровую коробку со шкафа, протер тряпкой и открыл. Все предметы оказались на месте, кроме колечек, — возможно, они были брошены в тигель новой

жизни отчима. Вид бисерной сумочки, как всегда, доставил удовольствие, она была полосатая, каждая полоска своего цвета: красная, синяя, лиловая, белая, черная — и приятно мялась в ладони. Я подержал в руках все предметы, но чувствительные кончики пальцев не отзывались на их субстанцию: ни гладкому перламутру бинокля, ни сухой ости страусового пера, ни лакированной коже кошелька для иголок. И глаз оставался равнодушен, как и рука. Меня не тронули молодые мамыны фотографии. Теперь я понял, почему она их не любила: при сходстве черт в них не было маминной сути. Странно, что я не замечал этого раньше. Два Георгия лишились даже того тусклого блеска, который они еще сохраняли; когда я последний раз заглядывал в коробку. Матовые, позеленевшие, утратившие почетный вес награды, они выглядели латунными подделками, как самонаграды сегодняшнего чучельного казачества. Все названные вещи и не названные не имели никакого отношения к матери и моей тоске по ней. Воскресить образ матери через материальные знаки ее существования, как я выразился с непонятным велеречием, мне не удалось. Мамы в коробке не оказалось.

Письма были перевязаны черной шелковой ленточкой. Я разорвал ее, распрямил верхний конверт. «Ее благородию Ксении Николаевне Красовской» — значилось на конверте. Да, моя мать была «благородием» и осталась им в гуще советского хамства. Ну, что пишут «ее благородию»? По естественному психологическому ходу я вынул письмо из единственного конверта без адреса. Так же в магазине люди берут тот галстук, который имеется в одном экземпляре, и только эти галстуки составляют массовую продукцию.

Безадресное письмо сперва расстреляло меня, уложив намертво, затем вернуло совсем в иную жизнь. Коробка не была мусорным ящиком. Она хранила суть.

«Милая Ксёнушка, — писал неведомый автор мелким, убористым почерком, словно экономил бумагу, — это письмо передаст тебе человек вполне надежный, но в качестве почтальона ты его не используй. И вообще не пиши мне до тех пор, пока я не дам тебе знать. Но знака может и не быть. Я зашел слишком далеко, чтобы повернуть назад. Прости

меня. Мы ведь знали, что нам нельзя иметь ребенка. Но что поделаться, если будущий гражданин так упорно хотел появиться на свет. Слушай меня внимательно. У него должен быть отец. Ты понимаешь, что я имею в виду? Время наступает серьезное, и надо забыть сантименты. Мне не выкрутиться, даже если я сейчас уцелею. Они не угомонятся, пока не перебьют всех. Тебе нужна защита. Одна ты не справишься, хотя ты сильная. С таким грузом, как я, не выплывешь. Меня надо вычеркнуть — раз и навсегда. Жизнь непредсказуема, вдруг кончится наваждение и бесы вернутся в преисподнюю. Ты веришь в это? Я — нет. Лучше и надежнее всего был бы Володя, он в чести у властей, но ведь Л. никогда этого не допустит. Да и вообще «не верь любви поэта, дева». Сеня тоже поэт, но не до такой степени, человек он хороший, но, к сожалению, бывший домовладелец, и это ему припомнят.

Остается Мара. Вы любили друг друга, думаю, он до сих пор любит тебя, что, конечно, не мешает его летучим романам. Я не верю в его отцовские качества, да ведь они и не требуются. Зато за ним прекрасная семья, могучий отец, чудесная мать, очаровательный брат. Это бастион — тебе не дадут пропасть. Я не берусь советовать, как все это устроить, в житейских делах ты умнее меня. Прости и прощай. К.»

Сейчас я не могу передать, что я чувствовал, читая это письмо. Но я и тогда не мог бы этого сделать, слишком много всего навалилось. Помню с абсолютной достоверностью ощущение грубой усталости и хамскую фразу, которую я произнес вслух:

— Надо было гондон надеть.

Так я приветствовал возвращение моего отца.

И не то чтобы мне не понравился этот загробный голос. Скорее понравился. Он был мягок, серьезен, решителен, без всякого балласта раскаяния, сожаления, чувства вины и прочих интеллигентских слюней. Все по правде жизни, которая не бывает безукоризненной и предусмотрительной в каждом движении. Это было в духе и характере моей матери: когда судьба подносила ей очередную пакость, она не расплескивала эмоций, а сразу начинала действовать. И еще

я подумал, что у них все равно ничего бы не вышло, люди должны отличаться друг от друга, чтобы выдержать долгую совместную жизнь. Чуть бы суше, насмешливей, и во мне это письмо прозвучало бы голосом матери.

Своей грубой фразой я ответил свинцовой усталости, вдруг навалившейся на меня. Как будто вся прожитая жизнь медленно прокатилась по мне своим тяжелым колесом.

1

Вначале я, как Маугли, не знал, кто я, уверенный, что ничем не отличаюсь от остальной волчьей стаи. Но Маугли было легче обнаружить свою несхожесть с окружающим его одушевленным миром (звери Киплинга одушевлены), он был один такой — голый, бесшерстный, бесклыкий и бескогтистый, умеющий не только стоять, но и бегать на двух ногах. А вокруг все живые существа были на меня похожи — домашние животные не в счет, — и я долго не догадывался, что общность двуногих обманчива, что в людской несмети немало таких, что помечены незримым знаком неполноценности.

Затрудняюсь сказать, когда я обнаружил, что большинство мужчин и часть женщин, приходящих к нам в дом, принадлежат к этому племени изгоев, равно как и мой лучший друг Миша (на детских фотографиях, сделанных чистопрудным фотографом-пушкарем, рядом со мной, на фоне белого замка, пальм и дирижабля в курчавом небе, неизменно стоит, красиво выставив ногу, элегантный мальчик, сливоглазый брюнетик с прической, которую называли «бубикопф») тоже принадлежит к касте меченых, и что большая часть детей, с которыми мы играем каждый день в Абрикосовском саду и обмениваемся время от времени визитами, из того же племени.

А ведь я знал чуть ли не с рождения о неодинаковости людей, казавшейся мне естественной и ни для кого не обидной. Моя семья, я сам, наши гости, мои друзья по саду, прогулкам и детским праздникам — интеллигенты, а все остальные: соседи по квартире, обитатели нашего большого дома, за редчайшим исключением, дворовые сверстники, с которыми я до поры не водился, — холуи. Так, во всяком

случае, называла их моя мать, что не мешало ей легко находить с ними общий язык. Потом я понял, что взаимопонимание было замешано не на родности, а на прямо противоположном — мгновенном и радостном узнавании плебеями барской — высшей — сути моей матери. Видимо, революция не смогла уничтожить вместе с сотнями тысяч бар неизъяснимого очарования барства.

Холуями — мама не вкладывала презрительного, уничижительного смысла в это слово, просто констатировала социальную принадлежность — были: и хранительница моих детских лет, добрый гений дома, любимейшая из любимых Вероня, и ее сестра, чудесная Катя, недолгое время состоявшая в моих няньках, и те огромные семьи, что вселялись в освобождающиеся со смертью или по другим причинам убывания моих родных комнаты некогда принадлежавшей нам целиком квартиры, любая обслуга, будь то дворник, истопник, монтер, продавец в магазине, парикмахер, зеленщик из деревни, привозивший на розвальнях квашеную капусту и соленые огурцы, молочница с жестяными бидонами, пахнущими антоновским яблоком, холуем был и управдом, первый представитель советской власти в моей жизни, которого я почитал, боялся и ненавидел.

Меня удивило сунувшееся под перо слово «почитать». Неужели я «почитал» мрачного, молчаливого, с ножевым выблиском угрюмого взгляда иснодлобья холуя Дедкова? Да, таково было предписанное дедом, главой семьи, отношение всех, кроме матери, позволявшей себе взбрыкивать, к молодой, смертельно опасной власти. Этот урок рабства остался со мной на всю жизнь. К любому начальству, встречавшемуся мне на моем пути: руководителям Союза писателей, партийным секретарям разного ранга, вызывавшим меня на правож, директорам издательств, главным редакторам журналов и газет, армейским командирам в дни войны, — я относился с ненавистью, презрением и почтением, благодарный им за все то зло, которое они могли мне сделать, но делали не до конца.

А теперь меня остановило слово «молодой» в приложении к дьяволиаде, искалечившей жизнь моих родителей, мою

собственную, моих детей и внуков, не прекрати я род. «Молодой» — это что-то свежее, обещающее, летящее. Дико звучит «молодой палач» или «молодой убийца». Но власть действительно была очень молода, всего на три года старше меня. Боже, на какую же малость разминулся я со временем, заставлявшим так мечтательно вспыхивать зеленые, вечно озабоченные глаза матери! Она была тогда «их благородием Ксенией Николаевной Красовской», так значится на конвертах немногих сохранившихся старых писем. Мать слишком любила свое прошлое, чтобы лакомиться им в засушенном виде.

Едва осознав свое бытие, я стал ощущать эпоху, оставшуюся за чертой, как единый временной пласт. У меня было такое же отношение к времени, как у древних греков. Для современников Перикла историческая война с персами и разрушение легендарной Трои не имели временного разрыва, и то и другое происходило раньше, не теперь. А когда — греческое сознание это не занимало, было за пределами постижения. Я ужасно раздражал маму расспросами о наполеоновском нашествии, требуя частных подробностей, как от очевидицы тех волнующих событий. Объяснить такой идиотизм — или тут что-то другое? — невозможно, но уже школьником, влюбленный в «Трех мушкетеров», я допускал встречу со старым д'Артаньяном и трепетно ждал ее. Такой ли уж это бред? Боборыкин, появившись на свет, год прожил при Пушкине, а покидая земную юдоль, год прожил при мне. Одна-единственная жизнь разделяет и вместе — соединяет меня с Пушкиным.

Вернемся к холуям. Они делились на тех, кто зависел от нас: Вероня, ее многочисленная родня, соседи, бесплатно лечившиеся у моего деда, — как во всех холуйских семьях, у них непрерывно болели дети всеми подряд инфекционными болезнями (дыша этим пропитанным микробами воздухом, я ни разу ничем не заразился), и па холуев, которые от нас не зависели, — их мы побаивались, опять же все, кроме мамы.

Таким образом, первое различие людей, открывшееся мне, лежало в области социальной, хотя я не уверен, что это слово подходит, ведь интеллигенция — не класс, а прослойка, холуи

же вообще понятие аморфное. Но читатель поймет, что я имею в виду. И вот не домашняя легенда, а истина, подтвержденная многочисленными свидетельствами: после младенческого каннибальского языка, всех этих «мям-мям», «тпруа», «бо-бо» и тому подобного, после «мамы», «Верони», чуть позже «папы», так назвал я под общим давлением малознамого человека, чье назначение в доме мне было неясно, я отчетливо и громко произнес «интеллигенция». Затем, помолчав и словно подумав, я сказал: «электричество», после чего, потрясенный этими лингвистическими подвигами, заткнулся на целый год. Родные ужасались, что я онемел, но, исполнив невесть кому данный обет молчания, я принялся болтать и не могу остановиться до сегодняшнего дня. Самое поразительное, что, произнеся слово «интеллигенция», я знал, что оно означает. Эта ясность с годами затуманилась, а в близости исхода я окончательно запутался. Хуже обстояло с «электричеством», я и тогда не понимал и сейчас не понимаю, что это такое. Мне вдруг пришло в голову, что мое младенческое, дремлющее сознание искало нечто похожее на знаменитую ленинскую формулу коммунизма.

Понятие «интеллигент» допускает широкое толкование, наше было не лучше и не хуже всех других, а вот «холуй» в нашем семейном понимании не совпадал с общеупотребительным, производящим от него глагол «холуйничать» — пресмыкаться, заискивать перед властью имущими, для нас «холуй» — это простолоудин, черная кость или, более старое, хам.

Вскоре я стал догадываться, что в большом мире, а большим миром были для меня в ту пору два наших двора, интеллигентов не слишком жалуют. Это знали и мои интеллигентные друзья, старательно обходя дворовую вольницу. А меня туда тянуло. Мне чего-то не хватало в компании тихих мальчиков, выбранных родителями мне в друзья. С шести лет меня определили в немецкую группу, которую вела милая Анна Федоровна Борхарт, каким-то образом связанная в прошлом с домом художника Лансере, что меня в детском неведении ничуть не волновало, а для родителей было, как теперь говорят, знаком качества.

Она учила нас немецкому языку между делом, главным нашим занятием было рукоделие. Мы клеили из тонкого картона

коробочки непонятого назначения, мастерили аппликации из цветной бумаги, вызывавшей во мне какое-то плотоядное чувство; она была так приятна на вид и на ошупь, гладкая, плотная, туго-телесная, каждый цвет — с отливом и переливом, к этому примешивался едкий и вкусный запах синдетикона, и довольно пустое занятие — ни один из нас не отличался художественными наклонностями — превращалось в радение, служение чему-то тайному, тут присутствовал несомненно чувственный момент, столь яростно отвергаемый Набоковым, который при всем своем дерзостном уме, пронизательности, иронии и бесстрашии застрял в тенетах золотого невинного детства — совсем по Чарской.

Почти столь же волнующим на этих уроках было для меня ритуальное принятие нашей наставницей йода; она накапывала его из темной бутылочки в чашку с молоком, капля тонула в белой жидкости, затем всплывала со дна, окрашивая молоко янтарной желтизной, и мне казалось, что Анна Федоровна вкушает небесный нектар. Я придумал вкус этого напитка, напоминающий вкус не известного мне тогда ликера «Какао-шуа», и мучительно завидовал ей, не подозревая, что она умиряет щитовидную железу.

Моими соучениками были интеллигентные мальчики: Коля, Веня и Муля, называю их в порядке старшинства. Коля был моим ровесником, Веня на год младше, Муля на год младше Вени. Он сразу стал писклей, изгоем — жалкое маленькое существо в нарядной бархатной курточке, с ямочками на щеках и кудрявой головенкой. Мы с Колей не были великодушны к этому беззащитному человечку. Другого мальчика мы не задевали из почтительно-брезгливой жалости: он недавно перенес стригущий лишай и носил чепчик на лысой голове. Обрастал он медленно, каким-то страусиным пухом, лишь когда кончилась наша домашняя лицей и мы пошли в школу, Веня обзавелся шапкой густых темных волос.

Мальчики были благовоспитанны, шаркали ножкой, то и дело благодарили, не выставлялись друг перед другом, не соперничали. Я хорошо к ним относился, даже к Муле, хотя и донимал его, но мне было с ними скучно, особенно когда

мы подросли и впереди забрезжила школа, манившая меня, как д'Артаньяна мушкетерский полк. И как же я ее возненавидел — почти сразу!..

Лишь раз в Коле пробудилась мужская лихость. Его крупная, яркая, с пепельными волосами и сияющими сиреневыми глазами мать была актрисой Художественного театра на вторых или третьих ролях. Но для чего-то она была нужна труппе, раз ее держали. Однажды она взяла нас на утренний спектакль.

Я впервые попал в театр, и сразу на такое острое, ошеломляющее зрелище, как «Синяя птица», с олицетворенными стихиями и пищевыми продуктами, с очеловеченными домашними животными, с душами умерших, гигантскими привидениями и огненным кузнецом, с поэзией, заглянувшей в еще глухое для звуков сладких и молитв сердце. Впрочем, молился я то и дело, но крайне прагматично, всегда что-то выпрашивая. Эта низкая привычка сохранилась у меня по сию пору, я все время докучаю Всевышнему деловыми и хозяйственными просьбами. Этот спектакль был открытием второго мира, лежащего за поверхностью вещей и явлений, там были смерть, о которой я смутно догадывался, и печаль, которую я предчувствовал, и тоска по неведомому, разрушившая самодостаточную цельность моего благополучного мира. Спектакль вырывал меня из детства, а я не хотел с ним расставаться и стал противиться, обернувшись вдруг таким сорванцом, каким никогда не был.

В антракте я будто с цепи сорвался, втянув в свои безумства благоразумного Колю. Мы едва не разнесли бельэтаж, где находились наши места. Мы носились как угорелые, перепрыгивали через спинки кресел, боролись, рушась на грязные коврики проходов, чуть не сбивая с ног оробевших зрителей, задевали весьма чувствительно — до рева — чинных детей, обмазывающих рот шоколадкой из буфета, и довели до слез пожилую капельдинершу, пытавшуюся нас угомонить. Мы не вылетели из театра лишь потому, что находились под высоким покровительством Колиной матери. Она видела наши бесчинства, но не могла вмешаться, потому что находилась в плотном кольце кавалеров, которых

Коля называл незнакомым словом «поклонники». Лишь иногда доносился ее потерянный, далекий, как из леса, жалобный голос:

— Ну, мальчики, перестаньте!..

Как ни странно, эта безумная, лихая мужская возня нас не сблизила. Уже на другой день Коля явился в группу тем же прилизанным, послушным, воспитанным мальчиком, каким я привык его видеть. То ли ему нагорело за вчерашнее, то ли буйство было органически чуждо его вялой душе и он против воли поддался моему неистовству. Я не хотел смириться с его отступничеством, и едва закончились занятия и Анна Федоровна, забрав оставшуюся цветную бумагу, синдетикон и ножницы, выплыла из комнаты, я кинулся на него и стал валить. Это было естественное продолжение вчерашних мускульных игр, в которых он вел себя отважно и стойко, но Коля не принял боя и противно раскуксился. Партнерства не получилось. Тем сильнее потянулся я к дворовому хулиганью.

2

Конечно, в нашем доме жили разные ребята, были и тихони, как Муля, они не появлялись во дворе, их водили за ручку на Чистые Пруды, в садик Лазаревского института и другие безопасные места. Единый холуйский состав двух дворов нарушал лишь Сережа Лепковский, внук знаменитого актера, рослый, стройный, благородный и храбрый мальчик, способный постоять за себя. Впрочем, это только так казалось, потому что он смело шел на бой. Сережа не лез первым в драку и никогда не дрался по злобе, как остальные дворовые ребята. Для него каждая схватка была благородным поединком, дуэлью, но задирали его всегда ребята заведомо сильнее. Поэтому он неизменно оказывался бит. Он не обижался, не плакал, не грозился сквозь сопли из-за спасительных дверей своего подъезда, он утирал кровь, вымученно улыбался разбитым ртом и с обескураживающим добродушием говорил: «Твоя взяла». Его благородство никого не умиляло, скорее наоборот, как и должно быть в державе холуев.

Наш дом был известен в округе как Дом печатников, так называли в ту пору всех типографских работников без разбору. В Армянском и прилегающих переулках находилось несколько больших типографий, а во время революции в нашем доме располагался штаб революционных печатников. Но, конечно, тут были представлены и другие профессии: торговцы, ставшие после ликвидации нэпа красными продавцами — так, во всяком случае, именовал себя бывший палаточник Мельников, отец моего злейшего врага Женьки, были служащие почтамта, доживало несколько настоящих нэпманских семей, в год, когда началась первая пятилетка и коллективизация, главы этих семей отправились в Соловки, а мой отец на берег Лены, под Жиганск, он был всего лишь незадачливым биржевиком, с ним поступили

мягче; украшали дом: артист Лепковский, седовласый, с зычным голосом, шофер грузовика Козлов в кожаной тужурке, кучер Потапыч с ватным задом — в первом дворе, глядевшем на Армянский, имелась конюшня, где хрумкали овсом два бывших рысака, Хапун и Магарыч. Когда-то на них ездила миллионщица Высоцкая (чаеоторговля), потом бриллианщик Саматис, а затем какой-то советский чин с тонкими ногами, тесно обжатými хромом высоких сапог. И вдруг все исчезло: чин в сапогах, кучер, лошади, а конюшню превратили в домашний клуб.

Мы жили в той части дома, которая выходила на Сверчков и Архангельский (позже ставший Телеграфным), но адрес писали по Армянскому переулку, хотя нас отделял от него другой двор. С самого своего возникновения советская власть наложила запрет на парадные двери и проходные дворы. И в тех, и в других виделась возможность бегства. Лишь в середине тридцатых открыли ворота на Сверчков, а перед войной отомкнули парадный ход. К этому времени уже всех поймали, и бежать стало некому.

По традиции ребятам двух смежных дворов полагается враждовать, но, вероятно, нас объединял общий адрес, мы жили мирно, а врага имели общего — девяткинских, населявших всегда бессолнечный, мрачный Девяткин переулок.

Двадцать восьмой год был переломным в жизни страны и в моей жизни: я пошел в школу, распалась немецкая группа, исчезли навсегда Анна Федоровна, Коля и Веня, Мулю я изредка мельком видел, но мы даже не здоровались, двор хмуρο смирился с моим присутствием, и посадили отца. Перечисляю события по степени важности их в моей тогдашней жизни. Может показаться странным, что самое важное и трагичное я ставлю на конец, но так оно для меня тогда и было. Я не понимал, что такое арест, и даже немного гордился избранничеством отца, видя в этом какую-то его лихость и молодечество. «Отца посадили!» — небрежно бросал я дворовым ребятам и сплевывал в дыру от выпавшего молочного зуба. Они хмуρο отмалчивались.

В новых приятелях — такими я их до поры считал — меня восхищало все: облик, столь непохожий на вылощенную, выхоленную гладкость моих коллег по немецкой группе, многие

были стрижены под машинку от вшей и гнид, у всех нагноивались прыщи, болячки, чирушки на лицах, а руки усеяны цыпками; мне нравились их длинные штаны из туалетного (я мучился от стыда в коротких) и такие же рубашки, не заправленные в штаны, а пережваченные пояском или ремнем, их странная угрюмость, не исчезающая, скорее усиливающаяся в играх, лаконичная матерная речь и виртуозное умение гонять колесо, чего я невероятными усилиями тоже достиг. Речь идет о времени моей первой очарованности; в середине тридцатых, когда пришла пора отрочества, единообразие нарушилось, зачатки цивилизации проникли в наш странно замкнутый мир, появились свои франты, спортсмены, театралы, музыканты, авиамodelисты, уголовники, туалетного был отменен, как маоцзедуновки в Китае после смерти великого кормчего, одни ребята стали к чему-то тянуться, другие, напротив, пошли на дно.

Странно, что в исходе двадцатых посреди Москвы эти пролетарские дети имели вполне деревенский вид. Я чувствовал себя среди них белой вороной. И что было непонятно: Женька Мельников, сын красного торговца, выделялся не меньше, может, больше моего — родители одевали его, как принца, он даже белые перчатки носил, за что его дразнили «пидорасом». Дразнить-то дразнили, а все-таки он был своим, равным, а я чужаком. Трудно объяснить, в чем это выражалось, но я на всю жизнь запомнил тот долгий, угрюмо не узнающий взгляд, каким меня пронзали, стоило мне хоть чуть высунуться. Этот взгляд означал: тебя терпят, ну и сиди, не рыпайся.

Боже, как мне хотелось заслужить их расположение! Я научился виртуозно гонять колесо с помощью загнутого на конце железного прута. Я стрелял из рогатки с меткостью Вильгельма Телля кусочками чугуна, отбитого от лестничной батареи. Бесстрашно воровал пустые бутылки — у нас во дворе находились громадные винные подвалы, был мастаком в фантики — в пристеночек и расшибалку, а в футбол и в факе (хоккей) меня брали в команду даже старшие ребята. Лишь в трех дворовых занятиях я не принимал участия: не играл в деньги, поклявшись маме, что хоть этот порок обойдет меня стороной, не гонял голубей — не умел, да и не было их у меня, и не ходил «трахать» восьмилетнюю Нинку

Котлову на помойку. От этого меня отвращал какой-то темный страх. О сути столь частого на языке моих приятелей глагола я имел смутное и скорее комическое представление. Но от возможности проверить умозрительные построения нутро сжималось сладким ужасом. Тщетно добивался я у своего приятеля и соседа по квартире Тольки Соленкова, участника помоечных забав, что они делают с Нинкой. Похоже, он этого и сам не знал. Я понял лишь, что юные сладострастники пользуются ее ласками поочередно, как ремарковские солдаты.

О Тольке стоит сказать несколько слов. Маленького роста, но сильный, драчливый, редкостно музыкальный заика — когда пел, не заикался, — он проделал свою короткую жизнь в обратном порядке. До второго класса пил водку, напиваясь допьяна во время нередких домашних гульбищ, посещал помоечный публичный дом, а ушел на войну трезвенником и девственником. Он погиб при попытке бегства из Освенцима двадцати двух лет. Толька или не хотел или не мог открыть мне жгучую тайну. Но вскоре я убедился, что эта озорная любовь, голубиный гон, игра в деньги считаются как бы предметами факультативными, не обязательными для всех. Куда важнее было стыкаться, к чему я не имел склонности, хотя был физически развит (дед приучил меня к турнику и гантелям) и силен для своих лет. Я любил возиться, бороться, чем мы занимались с Колей в театре, но двор признавал только кулачную расправу. А мне не хотелось причинять никому боли, и я всячески избегал столкновений. Если же они становились неизбежны, я припечатывал противника к земле простейшим борцовским приемом, что вызывало удивление, смех, но не чувство обиды. Они видели в этом уклончивую, хитрую слабину, а не превосходство. Лишь одному Тольке Соленкову, которого я искренне любил, удавалось завести меня на драку. От неумемной злобы маленького, всех и вся ненавидящего заики некуда было деваться. В ярости отчаяния я быстро избивал его, а потом, глотая слезы, просил прощения.

Но мне хотелось дружить, а не драться, и я старался завоевать эту дружбу не разбитыми носами, а поступками

товарищества. Я затаскивал к себе в дом дворовую элиту — братьев Архаровых, Ковбоя, Юрку Лукина, Пашку Моисеева, Борьку Соломатина и выкладывал свои сокровища: набор акварельных красок, цветные карандаши «Фабер», металлический конструктор — мекано, лобзик и настоящий пистолет «монте-кристо», который в десяти шагах убивает человека. Каждый выбирал себе занятие по душе. Вовка-Ковбой оказался художником, он блестяще нарисовал убийственный «монте-кристо», щедро расходуя редкую серебряную краску, Юрка Лукин заинтересовался мекано и сразу стал собирать самые сложные конструкции, вроде карусели, до которой я за год не добрался, Борька Соломатин увлекся лобзиком, Пашка Моисеев — «Томом Соьером», а братья Архаровы — воровством. Неудивительно, почему после двух-трех визитов все мальчики, кроме Архаровых, перестали ко мне ходить, они знали, что братья воруют, и не хотели, чтобы на них пало подозрение. Выдать воришек по кодексу дворовой чести они не могли, кроме того, старший из братьев, Витька, считался в доме первым силачом. Постепенно меня освободили от красок, карандашей, лобзика, конструктора и, наконец, от пистолета «монте-кристо», убивающего в десяти шагах человека. Я остался с «Томом Соьером», который в глазах братьев никакой ценности не представлял. Я давно понял, что меня обворовывают, но крепился, никому не говорил, обманывая себя надеждой, что братья берут чужие вещи просто поиграть. Опустошив мои закрома, братья не стали дожидаться, пока их выгонят, и сами прекратили визиты. Любопытно, что, наподлив, они не исполнились ко мне священной ненависти, как обычно бывает. Витька даже заступался за меня во время дворовых разборок.

Куда хуже относились ко мне не задержавшиеся в доме гости. Они злились на мое богатство и еще больше на то, что я его так бездарно спустил.

Почему-то все эти ребята запомнились мне в разном возрасте. Костю Архарова я вижу совсем заморышем, каким он и был в пору нашей быстро погасшей дружбы, затем он стал набирать кость и мясо и почти сравнялся со своим братом-атлетом, но я при всем усилии не могу вспомнить ни

его заматеревшей внешности, ни нового характера. В воровскую пору он отличался телячьей ласковостью и какой-то беспомощной добротой, воровать его заставлял брат, у которого он был в рабстве. А вот Витьку я совсем не помню шкетом, он будто перепрыгнул из детства в юность, миновав подростковый возраст; в четырнадцать лет рослый, волоокий, чуть малахольный красавец сводил с ума фигурально — всех домработниц нашего дома, буквально — билетершу киношки «Маяк» возле Чистых Прудов. При виде Витьки она с опрокинувшимся лицом задирала юбку, под которой даже зимой не было трусов. Она делала это прилюдно, раз на глазах его семьи, явившейся в полном составе смотреть «Пат и Паташон — путешественники». И Витька, эта орысина, убежал в слезах. Билетерша являла собой клинически чистый образ крайне редкого женского эксгибиционизма. Сколько раз возмущенная публика требовала уволить «нахапку», так квалифицировался странный недуг, но коллектив неизменно брал ее на поруки, обещая перевоспитать. Она проработала в «Маяке» до самого его закрытия, бедный Витька должен был терпеть свой позор, потому что в самой дешевой киношке Москвы шли самые лучшие немые, а потом и звуковые фильмы. В последний раз она продемонстрировала Витьке увядший сад пыток и страстей в начале войны, с которой он не вернулся. А работал Витька перед войной в угрозыске, испуская грехи молодости.

Другого красавца, сероглазого смуглого Вовку-Ковбоя, я помню в отроческом цветении, когда он, оправдывая свою кличку, что ни день поражал дом невероятными подвигами: то спустится с крыши по водосточной трубе, то перепрыгнет с балкона на балкон, то подерется с дюжим сторожем винного подвала, то, угнав из конюшни Магарыча, проскачет на нем до немецкой церкви в Старосадском переулке.

Тоже сильного, мог держаться против самого Витьки, кривоногого Юру Лукина я помню лишь на футбольном поле — потное, веснушчатое, поглощенное единой страстью, голое лицо крупного мальчика, которого взрослые по каждому поводу оскорбляют «здоровенным оболтусом». Здоровенный — это так, но вовсе не оболтус: в мгновенном промельке вижу бледное,

в пятнышках погасших веснушек лицо студента-очкарика, под мышкой туго скатанный в трубку чертеж.

А вот мальчика Пашку Моисеева начисто выгеснил демобилизованный, но не расставшийся с формой, только погоны спорол, матрос, встретившийся мне на улице Горького в годовщину Дня Победы. Загорелое печальное лицо под белой бескозыркой, треугольничек тельняшки в распахе ворота и много-много орденских ленточек на рубашке. Я узнал его каким-то наитием, в этом загадочном меланхолическом военморе не сохранилось ни одной черты рассеянного увальня-книгочeya.

А Борька Соломатин остался для меня глистой в огромной кепке. Закусив язык и вытаращив глаза, он следит за извилистым ходом тонкой лобзиковой пилки, ноздри втягивают сытный запах фанерных опилок. А ведь я видел его учащимся техникума, записным кавалером и даже молодым отцом, каким он умудрился стать в восемнадцать лет. Но такого Борьки для меня нет, есть громадная кепка, а под ней до самого пола нечто длинное, извивающееся.

Вспоминая произвольно о своем дворовом детстве или специально думая о нем, как это происходит сейчас, я невольно свожу в реальном пейзаже тех лет, в наших играх, драках, спортивных схватках, редких, но все же случавшихся разговорах людей разного возраста, то есть таких, какими они живут в не насилуемой памяти. Впрочем, я все равно не смог бы привести их облик в согласие с тем временем, которое мне вспоминается. Но я не чувствую дискомфорта, когда вижу, как ножичек поочередно кидают малыш Костя, его фундаментальный брат на распутье между уголовщиной и уголовным розыском, смуглый подросток Ковбой, меланхолический герой-военмор Моисеев и глиста в кепке Соломатин.

Круг моей любви к дворовым ребятам был гораздо шире, чем в этом перечне, он включал ребят, и явно ко мне не расположенных, хотя причина их нерасположения оставалась до времени темна для меня: Кукурузу с мрачным взглядом исподлобья, вздорного задиристого Женьку Мельникова, заносчивого Курицу, всегда нацеленного на драку, ему нужно было все время доказывать, что вопреки прозвищу он парень боевой и бесстрашный, даже презируемого всеми задумчивого дровичу Жорика...

3

Двор все больше значил для меня, потому что со школой, о которой я так мечтал, романа не получилось. Я поступал в другую школу, бывшую Виноградова, с устоявшейся высокой репутацией. Она помещалась в красивом старом доме с высокими тяжелыми дверями напротив Покровских казарм. Мама взяла меня с собой, когда относила заявление о приеме, и я сразу влюбился в эту школу, отвечавшую солидностью своей и чинностью моему представлению о гимназии. Волновала близость величественных казарм, куда я с полной уверенностью, хотя и без всяких оснований, поместил Самагидский полк, в котором отец проходил действительную службу. И меня не просто огорчило — потрясло, когда в канун начала занятий нам объявили, что мои бумаги переданы в 40-ю школу в Лобковском переулке и там я должен учиться. Решение района обжалованию не подлежало, оно диктовалось заботой о безопасности детей, живущих по другую сторону Покровки, — на пути в школу нам пришлось бы переходить трамвайные пути. То же самое было сказано родителям моего старого друга Миши и нескольких других мальчиков, живших по соседству с нами. Трогательную эту заботу несколько снижало то обстоятельство, что по пути в Лобковский нам предстояло тоже топтать через рельсы, по которым бегала любимая москвичами «Аннушка», да еще пересечь кишаций хулиганьем Чистопрудный бульвар. Здесь и крылась настоящая причина перевода нас в 40-ю школу, самую хулиганскую и не успевающую в районе, несмотря на прекрасный подбор учителей, многие из которых преподавали здесь еще во время знаменитого Фидлера. Нами хотели озонировать смрад-ный дух чистопрудной бурсы. Меня не могло примирить с этой школой даже то обстоятельство, что фидлеровцем был мой отчим, его перочинный ножик когда-то вволю потрудился над

терпеливыми телами старых парт, не трогала и мемориальная доска, удостоверявшая, что в 1905 году здесь находился революционный штаб.

Со временем состав учеников значительно изменился: шпана отсеялась, пришли хорошие ребята из новостроечных домов, и школа, дважды сменившая свой номер, стала одной из лучших, если не лучшей в районе. Но пока это случилось, мальчишки, призванные сюда для оздоровления атмосферы, своими боками и заливками оплачивали находчивый педагогический эксперимент.

И я все сильнее привязывался к двору.

Меня с ранних лет отличала крайняя чувствительность в отношениях с окружающими. И я знал это, хотя не мог назвать подсознанием те тайные глубины, где возникало безошибочное чувство человека и того, как он ко мне относится. Но с этим свойством странно сочеталась редкая способность к самообману. Уже все зная, все понимая, видя до дна, я мог в два счета заморочить себе душу и голову, если не хотел правды. А не хотел я ее частенько, ибо в тайном тайных прозревал великую путаницу жизни. И все-таки истинное знание просверкивало порой даже самый густой, мною же напущенный туман, и, отзвываясь болезненным вздрогом, сжатием души на большую правду, я быстро избавлялся от нее. Так вот, тайное чувство не раз подсказывало мне, что я не стал своим во дворе, что не про мою честь его истинная жизнь — я сторонний наблюдатель не только голубиноного гона, игры в деньги, эпохальных драк с девяткинскими, но и того, в чем мое партнерство ценится: футбол и факе. Я выключен из общего переживания победы, поражения, азарта, я — наемник. Вместе с тем я коренной житель дома, к моему деду нередко обращаются за медицинской помощью, и он оказывает ее безвозмездно, я никому не наступаю на ноги, и наконец, без меня не выиграешь в футбол у старосадских, в факе — у златоустинских. Приходится терпеть, как терпит отара прибудную овцу. А вернее, терпят потому, что старшие ребята не дают меня на правож.

Чужак. Чужак, что бы я ни делал. Мне не помог прыжок с двумя парашютами со второго этажа. Легкое сотрясение мозга, каким я оплатил свой подвиг, не было занесено мне в актив.

Ничего не дал и выстрел из рогатки по крупу громадного битюга, перевернувшего от укуса такого слепня платформу с бочками. Не улучшила моего положения кража ящика с пустыми бутылками. Кто-то настучал, и, когда я возвращался после факе на коньках домой, сторож настиг меня, избил и почти оторвал ухо, которое пришили на место в поликлинике. Была такая игра: перебегать улицу под носом у автомобиля. Меня сшибло носорожьим рылом такси «рено» и протащило по асфальту. Но, когда я на другой день вышел во двор с забинтованной головой, никто и внимания не обратил. А Курица целую неделю бахвалился вырезанным на шее чирьем. Я уже подумывал, не отправиться ли в помоечный дом свиданий для скрепления братских уз с многочисленными любовниками Нинки Котловой, но Соленков сказал, что она совсем скурвилась: не дает.

Затем я решил, что меня презирают за неучастие в драках. Мое миролюбие принимают за трусость, а этого не прощают в мужской компании. У меня была болезнь молодого Горького: невозможность поднять руку на человека. Но Алексей Максимович не мог нанести даже ответного удара, я же на это способен, в чем не раз убеждался мой друг Соленков. Надо драться.

Кукуруза ничего не знал о моем героическом решении, когда в очередной раз стал приставать ко мне, мешая гонять колесико. В таких случаях я либо прекращал свое занятие, либо уходил в другую часть двора. На этот раз нашла коса на камень, я продолжал выписывать вензеля, ускользя от Кукурузы. Он хотел вырвать у меня железный прут с крюком, каким я управлял чугунной печной выюшкой, я оттолкнул его. Он поскользнулся и упал. И странное дело, то ли ушибся, то ли оторопел от непривычного отпора, но, поднявшись, стал отряхивать курточку, будто забыл о моем существовании. Восхищенный своей легкой победой, я похвастался кому-то из ребят, что навтыкал Кукурузе. Это слышал зловредный Женька Мельников и тут же насплетничал самолюбивому богатырю. Кукуруза отложил все дела — он искал партнеров для расшибалки, — деловито направился ко мне, сжимая в карманах страшные кулаки.

— Ты навтыкал Кукурузе, да? — сказал он почти ласковым голосом.

Его вкрадчивый голос не на шутку испугал меня. А то, что он добровольно назвался своей кличкой (нигде картавое «р» не звучит так раскатисто, так горохово, как в слове «кукуруза»), превратило мой испуг в панику. Я хотел бежать — некуда, мы в кольце ребят. Язык прилип к гортани, и прежде чем я успел пролепетать какое-то оправдание, он ударил — с «хеком», как мясник. Я успел отдернуть голову, и сокрушительный удар вместо подбородка угодил в узел туго повязанного шарфа. Я с удивлением обнаружил, что жив и что мне ничуть не больно. Мой ответный удар был ослаблен остатком почтения к одному из хозяев двора. Я угодил в скулу. Ощущение незащищенной плоти под кулаком освободило мою душу для более глубоких чувств. Я стал бить и бил не только Кукурузу, а всю несправедливость, упорно отторгавшую мою любовь двора. Драки не получилось, это было избиение. Я расквасил ему нос и губы, но, поскольку Кукуруза не заявил ритуальным ревом о своей капитуляции, продолжал лупить его по мордасам. Кровавые сопля забивали ему сопатку, он отсмаркивался, пятась и прикрывая лицо локтями. Оступившись, он упал, уронив с головы шапку, а когда подымался, я изо всей силы наподдал ему ногой в зад. И тут Кукуруза разревелся — не от боли, от унижения. Громко, не стесняясь, обречивал свой позор. Он поплелся домой, забыв о шапке и обсмаркивая снег кровью. Кто-то из младших ребят поднял его бедный трех и побежал за ним. Укол жалости на миг пронизал мое ликование.

Весь двор видел его поражение, но тщетно ждал я, когда «герольды начнут славить мой удар». Трубы молчали, уста не отверзлись. Можно было подумать, что никакой драки не было и Кукуруза не валялся на желтом от смерзшейся лошадиной мочи снегу. А ведь хорошие драки обсуждались на помойке, рассказ о них переходил из уст в уста, обогащая дворовый фольклор. Но этому единоборству явно не суждено было ни войти в летопись, ни стать легендой.

Творя собственный мир и в нем находя если не утешение, то надежду, я придумал, что по сказочной традиции должно быть три испытания, и только после этого двор распахнет мне свои объятия.

Если Кукуруза считался самым сильным в нашей возрастной категории, то самым заносчивым и драчливым был вечно цепляющийся ко мне Женька Мельников, сын «красного торговца». Хорошо бы для второй проверки получить этого клейкого гада в белых перчатках. Но я не умел завязывать драку, а Женька после позора Кукурузы едва ли захочет меня тронуть. Так думал я, плохо представляя зловредный Женькин характер. Кукуруза еще стеснялся выйти во двор, а Женька открыл боевые действия. Он нарочно выбрал тот час, когда двор уже полнится, но никто еще не нашел себе занятия, ему нужны были зрители. Повод для издевательства подал я сам.

— У нас на лестнице опять лампу кокнули, — принес я свежую новость.

— Вампу? — переспросил Женька с простодушным видом. — А что такое «вампа»?

Кругом ухмылялись. Я сник, крыть было нечем, я действительно произносил твердое «л» как «в».

— Вампа, вужа, вошадь, вуна, — будто пробуя слова на вкус, с лакомым видом произносил Женька. — А ты сутчик вожкой ешь? Летом на водке катаешься? Чего гвазами хвопаешь?

Я молчал. В правой руке он сжимал белую перчатку, как будто собирался вызвать меня на дуэль. Но вопреки кодексу чести он не бросил перчатку мне под ноги, а хлестнул по лицу. Ответ тоже был далек от светских правил: в рыло, в зубы, в глаз и на закуску по шее. Он мгновенно зашелся в плаче — на такой высокой, пронзительной ноте, что встревоженные битюги повелись в оглоблях и громко охнули, сшибившись, пустые бочки. Задрав голову, чтобы не испачкать юшкой светлый шарфик, Женька покинул ристалище.

Я победоносно огляделся. Никто не смотрел в мою сторону. Кто обменивался фантиками, кто прямил железную погонялку колесика, кто целился из рогатки по воробьям, обсевшим свежедымящуюся кучу, кто наблюдал голубиную стаю в поднебесье. Никому не было дела до нашей стычки. Но я видел их кривые ухмылки, когда Женька издевался над моим глухим «л». Кстати, у Ковбоя тоже были нелады с этой буквой, но он мог сколько угодно «вавакать», где надо «лалакать», попробовал бы кто усмехнуться.

В чем же дело? Может быть, Женька слишком мелкая дичь и после победы над Кукурузой расправа с ним ничего не стоит? От меня требуется нечто куда более героическое. Я спровоцировал на драку Борьку Соломатина из старшей возрастной группы и разделал его под орех. Это равносильно тому, чтобы средневес побил тяжеловеса. Обычно такие схватки запрещены. История бокса знает лишь два случая, оба связаны с победами великого Огуренкова над Навасардовым. Я опередил нашего многолетнего чемпиона-средневеса, однако мой подвиг не вошел в героическую летопись. Оказывается, я нарушил главный закон двора: драки допускаются лишь между одногодками. Вроде бы этим защищены маленькие и слабые. Ничуть не бывало: закон выгоден только старшим, они могут беспрепятственно чинить суд и расправу над мелюзгой без риска нарваться на неожиданный отпор.

Эту истину открыл мне Толька Соленков, после чего я довольно долго не появлялся во дворе, давая выветриться памяти о моем неосмотрительном деянии. Но когда сошел снег и маленький каток посреди двора превратился в футбольное поле, когда выставили рамы и гулкий, свежий, пахнувший весной мир ворвался в комнаты, я поверил обновлению, смывающему старые грехи, и спустился во двор. Можно подумать, что меня там только и ждали. Не успел я сойти с крыльца, как ко мне подскочил Курица и, ткнув костлявым плечом в грудь, сказал загадочно и страшно:

— Ты что развоевался, жид?

Суть вопроса от меня ускользнула, настолько ошеломляющим было короткое слово «жид». Меня так никогда не называли, да я и не думал о себе как о жиде, вообще не задавался вопросом, какой я национальности. Я знал, что мать у меня русская, а отец еврей, выходит, я вообще без национальности, ни то ни се, что меня вполне устраивало. Я не знал, что быть евреем стыдно, а вместе с тем сам участвовал в травле еврея — врача Лесюка из соседнего подъезда. Он был далеко не единственным евреем в нашем доме, но только его упорно преследовали дразнилкой «Зида маленькая». Он вовсе не был коротышкой, худощавый человек среднего роста с энергичной поступью, хороший, безотказный

врач, которого куда чаще, чем моего деда, тревожили жильцы нашего дома своими хворостями. Но деда никогда не задевали, к нему относились с почтением. Сановитый, внешне очень уверенный в себе, дед был потомственным москвичом, популярным врачом, одним из лучших диагностов города. И он крепко сжимал в руке массивную трость с золотым набалдашником, такого не заденешь. А на Лесюке лежал безнадежный налет местечковости, что сразу улавливают чуткие русские носы, даже детские. Все эти соображения принадлежат куда более позднему времени, а тогда, остановленный Курицей, я просто растерялся настолько, что не расслышал угрозы скорой расправы. Зато мгновенно рухнувшей душой я понял, что жид — это плохо, хуже некуда, что сейчас случилось непоправимое, кончилась прежняя безмятежная жизнь. И я не ошибся.

В каком-то полусне я отстранил Курицу и пошел к садику, служившему попеременно то катком, то футбольным полем. У самого входа на скамейке сидел старший брат Курицы Лелик и зашнуровывал свеженадутый футбольный мяч.

Тот машинальный, но силовой жест, каким я убрал Курицу с дороги, поубавил у него пылу, но в присутствии брата он снова осмелел:

— Ты зачем Соломатина тронул?.. Думаешь, тебе сойдет?..

Значит, меня будут бить за Борьку Соломатина, а не за то, что я жид? Это принесло облегчение, и когда Курица с молчаливой подначки брата (я заметил, как тот ему подмигивал) наконец-то бросился на меня, я и не думал сопротивляться. Почему-то Курица избрал самый ненадежный способ расправы со мной — борьбу. Я поддался и упал на землю, Курица сел на меня верхом и трижды вдавил мою голову в землю. Он не хочет драки, боится, понял я, просто выполняет общественное поручение. Было ничуть не больно, и грела мысль, что я могу в два счета разделаться с Курицей.

Курица слез, и я поднялся.

— Заработал? — сказал он мстительно.

— Давай деньги, — проворчал я.

Лелик захохотал, восхищенный моим остроумием. Он меня боялся. И Курица боялся, и я мог врезать им обоим,

несмотря на все дворовые запреты, если б не одно парализующее слово — жид...

— Мама, что такое жид? — спросил я, вернувшись домой.

— То же, что и еврей, только ругательное, — чуть удивленно ответила мама. — Неужели ты сам не знаешь?

— Нет, — сказал я со странным ощущением, что это и правда, и ложь.

Я знал, что такое слово есть, но не думал о нем. Были и другие известные мне слова, смысл которых темен, да я и не старался узнать его. Мне это ни к чему. Но когда я дразнил Лесюка «Зида маленькая», разве я делал ему комплимент? Нет, я высмеивал его. Но центр тяжести, коли так позволено выразиться, приходился на слово «маленькая», а что такое «зида», я как-то не задумывался. Если рыжего кличут Рыжик, его обижают? Когда кличка присохла, нет. В каждом дворе есть Рыжик, Косой, Хромой, Жиртрест. Ну, а Лесюк — Зида. А кто ж еще? Да не рассуждал я так, дразнился просто за компанию, чтобы быть, как все.

Однажды Лесюк все-таки не выдержал. Он остановился посреди весенней лужи в своих разношенных ботинках, обвел нас усталыми, воспаленными глазами и тихо сказал:

— Чем я виноват перед вами, дети?

Был миг тишины, а затем опять хохот, гик, улюлюканье: «Зида маленькая!.. Зида маленькая!..» Но моего голоса больше не было в хоре..

— А это плохо? — спросил я мать.

— Чего же хорошего?!..

Я не понимал ее веселого настроения, разговор шел об очень серьезном.

— А ты кто?

— Русская. Ты дурачишься?

— Так почему я жид?

— А кто же? Жид пархатый, номер пятый, на веревочке распятый!

Почему ей так весело? Неужели она не понимает?..

Мама, в которой слились две хорошие крови: известного на Украине старинного рода Красовских (по отцу) и столбовых дворян Мясоедовых (по матери), подтверждала

открытие Пауля Вайнингера, что антисемит — этот тот, в ком есть хоть доля еврейства, или физического или психологического. В матери не было ни того, ни другого.

— Зачем же ты вышла замуж за еврея? — спросил я.

— Вот те раз! Ты хотел бы иметь другого отца?

Я не хотел этого. Я был к нему вполне равнодушен в раннем детстве, ибо видел его очень мало и не чувствовал интереса к себе, но в пору, о которой идет речь, он уже получил свой первый срок ленской ссылки, я жалел его, и это было началом той любви, которая и сейчас живет во мне неизбывной болью.

— Нет... А зачем было рожать меня от еврея?

— А какая разница? — сказала мать все еще беспечно. — Ты крещеный. — И тут же погасила вспыхнувшую было надежду: — Жид крещеный, что вор прощенный.

— Вот видишь! — сказал я с отчаянием.

Мать не заметила интонации.

— А ведь Дальберги не были евреями до революции, — задумчиво, словно это впервые пришло ей в голову (а наверное, так оно и было), сказала мать. — Они лютеране. Уже отец твоего деда был директором гимназии в Москве. Кем были военные Дальберги, не знаю. Может, даже православными. Один вошел в историю — генерал-майор, начальник порохового запаса в Ревеле при Петре. Он не то героически защитил этот запас от шведов, не то героически взорвал. А совсем недавно был генерал-лейтенант Дальберг, и тоже вошел в историю: лихо подавлял крестьянские бунты. Вот кто мне по душе! А были еще чемпион Германии по шахматам и французский маршал. Это огромная и очень интересная семья, они в родстве с музыкантом Блуменфельдом и философом Гербертом Маркузе, он Марин двоюродный брат.

Все эти сведения меня ничуть не радовали. Пусть они выдумывают, взрывают или держат сухим порох, пусть играют на роялях, скрипках, контрабасах, философствуют, становятся чемпионами, что мне до всего этого, если даже лучший из них не сумел подавить самого главного бунта, сделавшего из меня еврея?

Какой-то выход брезжил все-таки в революции, меняющей людям национальность. Надо сделать еще одну революцию и превратить всех евреев в русских. Я высказал маме свою мысль.

— Ты не понял. До революции люди делились не по нациям, а по вере: православные, католики, протестанты, иудеи.

Я вдруг сообразил, что мы живем на скрещении всех вер: в Армянском — церковь Николы в Столпах, в Старосадском — кирха, в Милютинском — костел, в Спас-Глинищевском — синагога.

— Если ты ходил в любую церковь, кроме синагоги, ты в полном порядке, а если в синагогу, должен был жить в черте оседлости.

— Это где?

— Ну, в Бердичеве... в Бобруйске, — мама явно не была сильна в еврейской географии, — еще в каких-то местечках.

— И они все ездят в Спас-Глинищевский?

— Нет, там московские... Какой-то процент евреев допускался в Москву. Была норма в гимназиях, в университете... Да я сама толком не знаю, что ты ко мне пристал?

— До революции было лучше, — сказал я со вздохом.

— Что случилось? — Лицо матери стало серьезным, наконец-то до нее дошло, что я спрашиваю неспроста.

— Курица назвал меня жидом.

— Ну, и дал бы ему в морду.

— Попробуй дай..

— Вот не знала, что мой сын трус, — искренне огорчилась мать.

— При чем тут трус? — безнадежно сказал я, уже предвидя, что стану трусом. — Разве сладишь со всем двором?

— Ты что, один такой?

— Какой?

Ответа не последовало. В матери происходила какая-то внутренняя перестройка.

— Вот не ожидала, что у нас возникнет такой разговор. Твои самые близкие друзья — евреи, наши знакомые — почти сплошь евреи. Разве это плохие люди?

Я слушал ее с ужасом. Мне никогда не приходило в голову, что я окружен евреями. Я стал называть про себя фамилии моих товарищей, фамилии тех мужчин, которые делились на поклонников мамы и на друзей семьи, — безрадостная картина. Значит, евреи не растворены в общей людской

массе, а образуют какую-то отдельность, общину, касту, и я должен находиться внутри этого круга, не посягая на то пространство, где сверкают Вовка-Ковбой, Юрка Лукин, Сережа Лепковский — мои любимые герои, и на то, где ползают такие гады, как Женька Мельников, Кукуруза, Курица с Леликом, а мне не хочется жертвовать даже ими.

Только сейчас мне открылась схожесть людей маминого круга, казалось бы, таких разных: кто тихий, задумчивый, кто шумный, развязный, кто витающий в облаках, кто очень земной, они все несли в себе нечто такое, что объединяло их в единый клуб. Какое-то изначальное смирение, готовность склониться, их взгляд был вкрадчив, улыбка словно просила о прощении. Каждого из них ничего не стоило поставить на место. Раньше я относил это за счет интеллигентности, но теперь понял, что дело в другом. И чтобы получить подтверждение своему открытию, я спросил:

— Мама, а у тебя есть русские знакомые?

— Володя... — Мама подумала. — Саша. — И радостно: — Настя!

Ее неуверенность естественна: разгар дружбы с Маяковским относился к более ранним годам. Художник Осмеркин бывал у нас очень редко, а вот артистка-синеблузница Настя Цаплина действительно была маминной закадычной подругой. Но все эти интеллигенты были совсем другой закваски, даже самый скромный из них Осмеркин очень твердо попирал родную землю подметками старомодных башмаков с фестонами.

— А Сбруев? — напомнил я.

— Да, Витька тоже.

Рыжий Сбруев, ответственный работник, бывший чекист, стал часто бывать у нас в доме после того, как посадили отца. Я уже тогда знал, что через него ведутся какие-то хлопоты по облегчению отцовской участи. Я его очень любил. Слово «чекист» звучало совсем иначе, чем «гепеушник», от него веяло героической молодостью революции. И совсем не лишним был эпитет «бывший». Сбруев был огненно-рыжий, размашистый, веселый, с ослепительно белыми искусственными зубами, я почему-то думал, что у него фарфоровые челюсти. Принимала его мама чаще в комнате цветочницы Кати, моей бывшей няньки,

возможно, ей не хотелось, чтобы пили на моих глазах. А каждый приход Сбруева сопровождался выдающейся пьянкой. Выпив, он пел, вернее, орал на всю квартиру:

*Сидит Сталин на лугу,
Гложет коневу ногу.
Ах, какая гадина —
Советская говядина.*

И еще одну, которая нравилась мне еще больше:

*По торгсинам, по торгсинам
Масло, сыр и колбаса,
А в советских магазинах
Сталин выпучил глаза.*

Вот какие были либеральные времена! Почти каждое появление Сбруева означало перемену в отцовской судьбе — стараниями рыжего весельчака он неуклонно продвигался с диких берегов Лены в сторону цивилизации: Иркутск, Новосибирск, Саратов, и наконец, через четыре года Сбруев вернул его в Москву. Не надолго, и года не минуло, как началась паспортизация, отцу отказали в московской прописке, и он вынужден был уехать на Бакшеевские торфоразработки, питавшие Шатурскую электростанцию. В тридцать седьмом его снова арестовали: тюрьма, лагерь, другой лагерь, затем ссылка до конца дней. Все же он оказался счастливее своего бывшего избавителя — в тридцать седьмом году Сбруева расстреляли. Но не за частушки о Сталине, ему придумали участие в каком-то заговоре.

Но Сбруев, редко посещавший нас, и Настя, что ни день наполнявшая квартиру своим поставленным, зычным голосом и раскатистым смехом, не делали погоды — у нас был еврейский дом. Ничего не попишешь, Курица был прав, осадив развоевавшегося жида. Все по справедливости, и все-таки я сделал еще одну попытку к спасению:

— Скажи, а для евреев я русский?

— Что это значит? — не поняла мать и закурила — чуть нервно.

Я чувствовал, что разговор начинает раздражать ее, но не мог остановиться.

— Русские считают меня евреем, потому что у меня отец еврей, евреи должны считать меня русским, потому что ты русская.

— Нет, — сказала мать. — Мне лично начхать, какой человек нации, хотя я предпочитаю евреев, они веселее, умнее и воспитаннее. Но для русских людей, если у тебя есть хоть капля еврейской крови, ты еврей. Откуда такая чувствительность к инородной крови — непонятно. Русские понятия не имеют, кто они такие. Считают себя славянами. Но славяне так и были славянами, когда появились какие-то загадочные русы... Кто они? Смесь славян с норманнами? А кто такие сами норманны? Ни черта не разберешь. У евреев свое помешательство: если есть хоть малейшая возможность зачислить тебя в евреи, будь спокоен, ты их. Русских много, а у евреев каждый штык на счету.

Все эти рассуждения меня не интересовали, я понял главное и сказал с мечтательной болью:

— Если б ты родила меня от русского!

Мать поперхнулась дымом. Несколько мгновений она глядела на меня, не мигая, вытаращив свои зеленые глаза, потом размахнулась и вlepила мне пощечину.

Это было больно и непривычно, мать крайне редко поднимала на меня руку. По-настоящему она отлупила меня дважды, оба раза за катание на буферах трамваев. Леньке-Американцу с нашего двора эта забава стоила обеих ног. Он умер на операционном столе в полном сознании, бессмысленно и жалко прося врачей: «Только не говорите маме». Конечно, моя мама видела меня на месте несчастного Леньки, и суровость наказания не вызывала протеста. Но за что эта оплеуха?

Она сама рассказывала в доверительную минуту, что не хотела ребенка и пыталась избавиться от меня всеми доступными способами. Может показаться странным, что мать говорила с весьма юным сыном о таких вещах, но она была врагом всяческих запретов. Мне позволяли читать любую литературу, включая «Декамерон», Октава Мирбо и Золя. По правде сказать, все это было скучновато, особенно Золя, и темновато. Я расспрашивал маму и получал ответы, которые, давая мне известное представление об интересующем предмете, вместе с тем гасили чрезмерный интерес. Пол очень рано перестал быть для меня жгучей и стыдной тайной, но более доскональное изучение проблемы я по какому-то уговору с самим собой, конечно, подведенный к тому исподволь матерью, отложил на будущее. Я не очень понимал,

почему мать хотела избавиться от меня, ведь принято считать, что рождение ребенка — радость. Но, любя мать, я сочувствовал ей и относился с неприязнью к себе — плоду, так упорно желавшему вылезти на свет божий. Наверное, в этом коренится мое нежелание иметь детей. С оплеухой, горящей на щеке, я с небывалой силой почувствовал, какое счастье не быть.

— Почему ты не сделала аборт? — сказал я с горьким упреком и тут же схлопотал по другой щеке.

В пору нашего разговора моя жалость к отцу-изгнаннику еще не стала любовью. В дни, когда мы были вместе, я считал, что люблю отца, но лишь потому, что так полагалось. Эдипов комплекс тут ни при чем — объектом моей страсти была Вероня, а не мать. Меня спрашивали, кого я люблю больше, маму или папу, я со всей серьезностью, ничуть не рисуясь, отвечал: Вероню. Сроднение с матерью началось на подходе к отрочеству. Вероня, простая душа, не смогла последовать туда за мною и безропотно уступила свое место.

С отцом мы были далеки хотя бы потому, что я его очень мало видел. Вечером он неизменно куда-то исчезал. Я не знал куда, да и не особенно интересовался этим. Я засыпал до его возвращения, но утром он всегда оказывался дома. Мы спали в одной комнате и просыпались одновременно. Чтобы не мешать, я давал ему уйти на службу, а потом уже вставал сам. По утрам я его ненавидел и боялся — и тут нельзя не вспомнить о великом вэнце, так раздражавшем сидящую в авторе «Лолиты» Чарскую. Меня пугало одно его движение: уже умытый, побритый, спрыснутый одеколоном, причесанный, в брюках с волочающимися сзади помочами, он вдруг спускал штаны, расклячивал ноги и сильными движениями заправлял рубашку в фиолетовые подштанники. Было в этих движениях что-то вульгарное, запретное, опасное — нет, я не могу найти верных слов для объяснения моего ужаса и отвращения. Тут работало подсознание: не посылая в мозг картин, способных объяснить переживание, оно награждало меня страхом.

Потом отца не стало с нами, появилась жалость, годы ссылок, тюрем, лагерей, мучительных свиданий и тяжких расставаний превратили это чувство в какую-то болезненную любовь. Жизнь поставила нас в обратную зависимость друг от друга: я стал для

него отцом, когда, неизлечимо больной, оголодавший почти до полного истребления плоти, он притащился из последнего лагеря в последнее изгнание. Я выгасил его из смерти и голодного истощения и дал восемь лет жизни, доставлявшей ему радость. Теперь я знал ему цену и внутренне склонялся перед ним, как положено сыну перед отцом. Такой маленький — гармонично маленький, какими были японцы, пока не научились растягивать себя, словно резину, — хрупкий, он душевно неизмеримо превосходил меня, мне и не снились его сила и мужество. То страшное существование, которое выпало ему на долю, не только не сломало его, но не лишило природной доброты, чудной благожелательности, веселости и остроумия. Он ничем не поступился в себе, даже не научился молчанию, не говоря уже о лжи. В проклятой Кохме, где он кончал жизнь, лишь доброхотство начальника спасло его от нового ареста. Он рассказал в отделе, как в лагере ели крыс. «Это зачем же?» — спросила с подлой интонацией сотрудница-стукачка. Отец понял, что попался, и с усмешкой принял неизбежное. «Чтобы не было грызунов», — прозвучал ответ. Его начальник, фанатичный огородник, смахнувший на отца всю работу и не желавший его терять, окоротил доносчику. Но больше всего восхищала и поражала меня в отце легкость, с какой он нес свое еврейство. В чем он черпает силы? Расспрашивать его не представлялось удобным, а постигнуть этого я не мог, как невозможно постигнуть подвиг человека, затыкающего своим телом амбразуру или взрывающего себя вместе с танком, как нельзя понять подвига камикадзе. Ты или можешь так, или нет, научиться героизму нельзя. Отец вел себя среди страшноватого населения Кохмы с простотой и непосредственностью Микулы Селяниновича, ничуть не играл в русачка. И ему сходило с рук.

Но я заговорил о том, что стало потом. А тогда, потрясенный открытием своей безнадежной неполноценности в глазах двора, которую мне до поры прощали за тихость и смирение, я не мог проявить той деликатности в отношении отца, какую требовал предмет разговора. Мать надавала мне по морде за отца, о чем я тогда в эгоистическом страдании своем не догадался.

В наглевательском интернационализме матери претворялась заповедь апостола Павла: «Несть эллин, несть иудей». Она не

придавала значения антисемитизму, поскольку выросла и жила в той среде, где он не допускался. Демократизм матери, позволявший ей так легко сходиться с простыми людьми, находить мгновенно общий язык с татариним старьевщиком или зеленщиком, был на самом деле высокомерием. В молодости она имела дело с настоящими князьями, а не с теми, чья первая забота: «Брука есть?» — и чувствовала себя с ними весьма комфортно. Ей очень повезло на видных людей. Через своего дядю Мясоедова, издателя театральной газеты, она узнала элиту мира искусств: от Собинова до Бунина, от Сумбатова-Южина до Леонида Андреева, от Балиева до Маяковского; через другую тетку, Марию Саввишну Морозову, ей открылся мир крупных предпринимателей-меценатов, государственных деятелей и художников, которых привечали в особняке на Спиридоновке; она дружила с московским губернатором — у меня сохранились их фотографии на прогулке, а генерал Рузский, за которого она подняла тост в ресторане, приезжал к ней с букетом цветов. Она видела больших людей без котурн и грима и научилась не переносить восхищение талантом на личность. В дальнейшем, попав через мою женитьбу в круг советских бонз, она обращалась с министрами, маршалами, генералами, как с дворниками, какими они и были. Я получил в отцы еврея, мог получить негра или водопроводчика, истопника, маленького актера и с таким же успехом — маркиза или герцога. Ни социальные, ни имущественные, ни национальные соображения ничего не стоили для матери, ей важно было лишь ее собственное отношение. Тут проявлялась известная ограниченность, впрочем, ни один человек не может вышагнуть из своих пределов. Она не представляла себе, что какой-то ее поступок мог подвергнуться осуждению.

Впрочем, все это пустопорожние рассуждения сегодняшнего дня. Тогда я ни о чем таком не думал, а собирался в путь. Наверное, каждый мальчик хоть раз да уходит из дома, иные делают это дерзко и решительно, вон Татлин в Туретчину на паруснике сходил, других снимают с поезда или ловят на пристани, где они выжидают случая пробраться на корабль и спрятаться в трюме, полном крыс. Но здесь в поход собрался ручной зверек, заласканный домашними и павший духом при первом же столкновении с жизнью. Уже по моим сборам можно

было понять, что до Америки я не доберусь и даже не ставлю себе такой романтической цели: беглец положил в чемодан вместе с парой белья, носками, лыжным костюмом школьные учебники и англо-русский словарь Боянуса (в ту пору я начал заниматься английским). Представление о том, где я буду ютиться, у меня было самое смутное: от котла, в котором варили асфальт, а ночью ютились беспризорники, до гостеприимной семьи Моставлянских в Кривоколенном переулке. Мне важно было уйти из этого опостылевшего дома, где меня никто не понимает: ни родная мать, ни Курица.

Мама, краем глаза наблюдавшая за моими сборами из другой комнаты, заметила Боянуса, поняла, что никакой опасности нет, и потеряла ко мне интерес. Напротив, Вероня в педантизме беглеца усмотрела серьезность намерений и устроила бурную сцену, Любопытно, что Вероня проявила гораздо большее понимание моего характера, нежели мама. Оглядываясь на прожитую жизнь, с войной, куда я попал с черного хода как сын репрессированного, с целой флотилией любовных лодок, разбившихся о быт, жизнь разгульную, залитую вином, как гусарская скатерть, я вижу необычное сочетание в ней дионисийского начала с железной рабочей дисциплиной и строгой обязательностью в делах. Как бы я ни пировал и как бы ни был влюблен, я никогда не задержал сдачу заказанной статьи и обещанного рассказа в редакцию и очередного варианта сценария на студию. Когда умирала моя мать, а с нею умирал я сам, положенные четыре страницы в день сходили с моего письменного стола. Наверное, эта обязательность бессознательно выработалась во мне в противовес разрушительным силам, генетически заложенным в мою суть.

Даже в котле с черным густым варом я делал бы уроки и зубрил английские слова. Но из моего бегства ничего не вышло. Вероня, рыдая, отняла у меня сидор бродяги, сразу ставший буржуазным чемоданом, и увела на кухню пить чай из самовара с ситным хлебом. Мать, демонстрируя совершенную бесчувственность, так и не вышла из комнаты.

4

Через несколько дней мы с мамой помирились, как всегда, без выяснения отношений. Домашняя жизнь пошла своим чередом, но проблема, вставшая передо мной, осталась. Я не мог отказаться от двора. В зимнее время туда не так тянуло, вот только в факе меня вызывали играть. Ровно и толсто устланные снегом тихие переулки: Сверчков, Телеграфный, Златоустинские — являлись прекрасной лыжной дорогой, чуть не каждый вечер я ходил на дикий Чистопрудный каток, а по воскресеньям на уютный каток «Динамо» между Неглинной и Петровкой. Но в пору, о которой идет речь, уже были отворены рамы, и двор посылал в квартиру свои зазывные сигналы: стук футбольного мяча и стук деревянных мечей, звонки велосипедистов, крики голубятников, храп битогов и звяк винной тары, звонкие весенние голоса. Но это все принадлежало очевидности, куда более волнующими были те таинственные вздохи и стенания, порой влетающие в окно, природу которых я не мог установить. Это стенал и вздыхал сам двор, просыпаясь от зимней спячки, потягиваясь, хрустя суставами, прочищая горло и грудь. Сейчас его дыхание отдает пропитанной талым снегом землей, мокрым асфальтом, побежавшими по капиллярам ветвей соками, влажной шерстью битогов и ядреным навозом. Скоро запахнет тополем, потом сиренью, у нас даже сирень росла во дворе по всем углам, правда, кисти ее соцветий были немощны, не махристы и от рождения тронуты ржавью, но так душисты, что глушили все иные терпкие запахи.

Когда темнело, двор становился частью ночи, частью единого безграничного пространства и оттуда выбирал звуки, неслышимые днем, и посылал их в открытую форточку. Не в уши, а прямо в захолонувшее сердце вонзались томительные, печальные, потерянные и влекущие паровозные гудки. «Ра-

дось-страданье — одно», — пел блоковский Гаэтан, и окружающим это казалось тайной. Мальчиком у распахнутой форточки, с мокрыми то ли от ветра, то ли от души глазами, я раскрыл эту тайну в паровозных гудках.

Каким наслаждением было сбежать по щербатой лестнице черного хода в теплый, благоуханный и вонький, дивно гулкий и звонкий двор. Волнение первого выхода окрашивалось легким беспокойством, тот ли это мир, которого ты ждешь. Курица дал мне исчерпывающий ответ: того мира больше не существует. И мне не восстановить прежних робких, но доверительных, почти равных отношений с дворовыми ребятами. Так и оказалось, да иначе и быть не могло. Возможно, они порой забывали о моем позорном клейме, ну, хотя бы, когда я, получив хороший пасс от Юрки Лукина и обыграв защитников, выходил один на один с вратарем и точным ударом поражал ворота, но сам я никогда не забывал. Гол не был для меня победной точкой в комбинации спортивной борьбы, а искуплением, конечно, не искуплением всего моего не знающего прощения греха, но коротким милосердным отпущением в постоянно творимой казни.

Что случилось со мной после экзекуции, произведенной Курицей? Я оробел? Можно сказать прямее — трусил. Понятно, что я трусил не кулаков хвастливого заморыша, а того, что за ним — все. А все — это не драка, даже не избиение, это то, что превратит тебя в плевок, растертый ногой по асфальту. Я узнал, что я недочеловек, и во мне сменилась кровь, я стал трусом. Представляю, как они издевались над моими потугами казаться своим! А мое настоящее место — с такими, как Муля, что и носа во двор не кажут. После того как распалась наша группа, я почти не видел Мулю, а ведь он жил в соседнем подъезде. Он не уехал из нашего дома, но стал невидимкой. А я не мог стать невидимкой, тогда лучше вообще не жить. Надо смириться, помнить о том расстоянии, которое отделяет таких, как я, от настоящих людей, и не переступать его. Меня же не гонят прочь, просто указали на место. Борька Соломатин — предлог, моя участь решилась, когда я отлупил Кукурузу, хотя это было законно — мы ровесники. Лишь покровительство Витьки Архарова и футбольное партнерство с Лукиным отсрочили расправу. Ведь мне дали понять, что победа над Кукурузой

не вызвала восхищения. Я почувствовал это, но сделал неверные выводы: избил Женьку Мельникова и вздул Соломатина. Такое поведение парии, инородца не могли одобрить и самые снисходительные из дворовых предводителей. Со мной пора было кончать, что и осуществили не столько кулаками Курицы, сколько убийственным, как пуля, словом: жид.

Тогда я впервые задумался: за что так ненавидят евреев? За казнь Христа? Но ведь большинство ненавидящих — безбожники, им нет дела до Христа, к тому же еврея. Казнив Христа, евреи дали миру новую религию, которая стала и религией русских. И первых святых, среди них Андрея Первозванного — покровителя Руси. А Богородица, заступница перед Господом, кто она?.. Еврейский нос, картавость, развязность — все это чепуха. В моем широкоскулом, чисто русском лице если и есть подмес, то татарский; и в моем произношении и во всей повадке не было ни следа еврейства, а разве это мне помогло? Есть еще много объяснений, по-моему, иные из них, скрыто хвастливые, придуманы самими евреями: зависть к уму, ловкости, нахрапу, деловой сметке сынов Израиля. Это случается порой, и тогда на свет извлекаются старые штампы: гешефтмахеры, ловкачи, проныры. Но ведь русские люди куда сильнее завидуют друг другу. Не где-нибудь, а в России появилась поговорка: пусть у меня изба сгорит, лишь бы у соседа корова сдохла. И зависть эта отличается от зависти к инородцам лишь усугубляющим ее отсутствием ссылки на национальную испорченность.

Бездомность евреев — но разве это повод для ненависти? Скорее уж для сочувствия. Нечто тайное генетическое, заложенное в неевреях? Опять же нет. С какой охотой отдают должное музыкантам-евреям, шахматистам-евреям, певцам-евреям, артистам-евреям и евреям — зубным врачам. Остается одно — беззащитность. Беззащитность — значит, ничтожность. Это дарует сознанием своего дарового преимущества. Любой подонок, любая мразь, ни в чем не преуспевшая, любой обсевок жизни рядом с евреем чувствует себя гордо. Он король, орел, умница и красавец. Он исходит соком превосходства. Последний из последних среди своих, и вдруг без всякого старания, на которое он и не способен, некая подъемная сила возносит его выспрь. Эта подъемная сила идет от беззащитности евреев, пасынков его

законной родины. Нет лучше карты для дурных правителей, чем играть на жидофобии низших слоев населения. А население в своей массе принадлежит к низам, даже те, кому светит семейная люстра, а не трущобная лампочка-сопля. Людей высшего качества ничтожно мало, они не образуют слоя, так, прозрачная пленка.

И все же почему я сразу капитулировал? А если бы побороться за себя, стать чем-то вроде дворового «верт-юде», то бишь «ценным евреем»? У меня не было личного опыта унижения, не было, как потом выяснится, родового опыта унижения, отчего же я так послушно стал рабом? Историков не перестает удивлять, почему в Варфоломеевскую ночь гугеноты, превосходившие католиков воинской закалкой и мужеством, позволили вырезать себя как баранов. На их глазах убивали жен и детей, а почти никто не оказал сопротивления. Они не сознанием, а всем телесным составом ощутили свое меньшинство, свою потерянность в нации, и это их парализовало. Другое дело — большевики, ведомые Лениным: оказавшись в меньшинстве, они сразу объявили себя большинством и уничтожили противников, которых было гораздо больше. Вот это политическая мудрость! Меня же, как и жертв кровавой ночи, обессилило проникшее в мозг, сердце, желудок, кишки, позвоночник, нервы сознание своей принадлежности к обреченному меньшинству.

Первый мой выход в качестве презренного нацмена ознаменовался странной сценой, которая могла бы придать мне бодрости, но вместо этого усугубила уныние и потерянность.

Когда я под вечер спустился во двор, там было пусто, только в скверике Курица маниакально вонзал ножичек в землю. То была пора повального увлечения игрой в «ножичек». Курице страстно хотелось хоть в чем-то стать первым. Все его бойцовские и спортивные притязания не имели успеха, в расшибалке и пристеночке он тоже не блистал, но вот ножичек втыкал в землю довольно ловко. Сейчас он отработывал приемы, и я решил дать ему возможность обыграть меня.

— Здорово, Курица! — сказал я фальшиво-бодрым голосом.

Он вскочил, успев схватить свой перочинный ножичек, и, наставив его на меня, заорал истерично:

— Не подходи! Зарежу!..

— Что ты, Курица, очумел? — От такой встречи я совсем пал духом.

— Лелик! — завизжал он, как будто его режут.

Они жили на втором этаже, и Лелик с невероятной быстротой оказался возле нас. В руке он сжимал кухонный тесак.

— Только тронь его! — произнес он, кривя бледные губы. — Башку снесу.

— Что с вами, братцы? — чуть не плача, сказал я. — Что я вам сделал?

— Дай ему, Лелик! Дай ему! — надрывался Курица.

Но Лелик был умнее брата и, похоже, понял недоразумение.

— Ладно, чеши отсюда! — приказал он, но голос звучал довольно миролюбиво.

Я понуро пошел прочь.

Думая об этом столкновении, я вторично убедился, что братья отчаянные трусы. Лелик был на два года старше меня, неужели, чтобы справиться со мной, ему нужен тесак? И до моего падения я не осмелился бы поднять на него руку. А если б осмелился? Надавал бы ему по первое число. Мне не по плечу лишь те, кто с мелюзгой не связывается: Витька Архаров, Лукин, Ковбой и, возможно, Сережа Лепковский. С остальными я справлюсь, они знают это, боятся и ненавидят. Их много. Против стаи я бессилен. Нельзя ни с кем связываться, надо уступать, отходить в сторону. Так постигал я науку трусости.

Я вернулся во двор, но двор ко мне не вернулся. Тут знали, что я укрощен, что есть слово, которым можно мгновенно поставить меня на место. Этим словом не злоупотребляли, я не превратился в нового Лесюка, но оно всегда было наготове. Зато меня стали часто задевать — старые враги и те, что раньше пикнуть боялись. Особенно обнаглел укрощенный в свое время Женька Мельников. Он задаривал старших ребят папиросами дорогих сортов и вел себя с развязностью фаворита. Он не пропускал случая дать мне подножку, толкнуть, наступить на ногу, я делал вид, что это дружеские подначки.

Лесковскому старцу Памве удалось кротостью безмерной укротить самого Сатану. Я был куда менее счастлив с Женькой Мельниковым.

Мне очень хочется в этих записях точно следовать тому, что было, а не играть по-прустовски в память, формируя с помощью воображения из реалий прошлого некий параллельный мир. Я сам не понимаю, зачем мне это надо, ведь документальная точность в главном вполне может соседствовать с полной свободой в подробностях и во всех второстепенных обстоятельствах, никто не схватит меня за руку. Но тогда это будет другая книга, может быть, живее, интереснее, а мне хочется написать именно эту. Коли уж решил быть верным прожитой жизни, памяти о ней, так не отступай с избранной дороги.

Для упругости и цельности повествования мне нужен пейзаж поздней весны, а мерзкая сцена между мной и Женькой Мельниковым видится сопливой ростепельной порой, значит, мое повествование сделает скачок почти в год длиной. А это нехорошо и художественно и по существу. Я будто делаю временной шаг назад — из апреля в март, на самом деле прорываюсь далеко вперед над странной пустотой года. Откуда этот провал памяти? Наверное, очень тусклой стала моя дворовая жизнь от постоянной неуверенности, опаски, уступок, оглядок. Не знаю, не помню. В памяти остался лишь хороший футбол — два-три раза, да бой на мечах между Сережей Лепковским и Юркой Лукиным, окончившийся грандиозной дракой. У Лукина сломался меч, и он совсем не по-рыцарски пошел врукопашную. Кончилось, как всегда, Сережиной улыбкой сквозь слезы: «Твоя взяла!» Но тут я был просто зрителем задних рядов. И это не имеет отношения к моей теме, как и все последующее: деревня на три месяца, школьная осень и зима; нить сюжета снова завязывается слякотным мартом, когда особенно щемящи залегающие в форточку паровозные гудки и ты смятенно чувствуешь, что стал старше. Может быть, у других это иначе происходит, а меня тревожное ощущение возрастного сдвига постигает ранней весной.

Наверное, то был выходной день, пустой, тяготящийся, когда не хочется сидеть дома — надо же реализовать свободу — и на улице делать нечего. Талый снег, лужи, уже не замерзающие, но подернутые какой-то шершавой корочкой, способной выдерживать на себе умятую в плоский круг консервную банку, которой гоняли зимой в факе; серые бороды сосуллек лишены блеска,

солнца нет, и тусклое бесцветное небо лежит прямо на крышах; иногда по водосточным трубам с грохотом рушится наледь, ноги промокли, знобко, занять себя нечем, а упорно не идешь домой, надеясь невесть на что. Мы слонялись по двору, то соединяясь в группы, то рассеиваясь для персонального наблюдения за битогом, выкладывающим ядерные дымящиеся шары, или вороной у пожарной лестницы, полирующей нос о перекладину, или еще за чем-то столь же содержательным. И в течение всего этого неприбранного, тяготящего и не отпускающего от себя дня Женька Мельников настырно придирался ко мне. То ли на него погода действовала, то ли он тоже перешел в другой возраст и хотел получить по старым долгам. В нем не было импульсивности Курицы, который наскакивал на врага, никак не подготовив атаку словесно. Даже самые тупые и темные ребята никогда не начинали драку, не обменявшись традиционным: «А фигли?»», «Да не фига. А фигли ты?»», «Да не фига!»», все время меняя интонацию, как мастеровые у Достоевского, сумевшие провести захватывающую беседу с помощью одного-единственного слова. Те, что поразвитее и поумнее, успевали вылить на противника ушат упреков и оскорблений, что психологически правильно, ибо это деморализует. Но Женька цеплялся ко мне как-то не по делу, и мне легко было парировать его придирки без ответных обид. Похоже, он сам не мог толком разогреться. Но в близости ранних мартовских сумерек (иды марта наступили, но не прошли) он нащупал тему, которая меня задела и смутила. «Тебя нянечка в ванне моет?» — спросил он громко, чтобы все слышали. Вероня действительно купала меня, значит, мне было не больше двенадцати лет, в тринадцать пришли первые содрогания пола, а с ними стыдливость — золотое детство кончилось.

Тогда я еще не стыдился Верони, на руках которой вырос, но Женькин тон подсказал мне, что нельзя в этом признаваться, и я довольно неискусно — только учился врать — сделал вид, будто меня смешит его дикий вопрос. «Ври больше!» — сказал он с той необъяснимой, мгновенно раскалившейся добела ненавистью, что потрясала и обессиливала меня, как никакая реальная опасность. Тогда я собирался, начинал контролировать себя и порой ускользал благополучно. Но когда видел, что меня ненавидят, а это составляло такой страшный контраст привычной

атмосфере дома, атмосфере любви, я терялся до утраты разума. «Ври больше! — повторил он. — Моет тебя нянечка — пониже пупка, повыше колен». Все захохотали, а я, балда несчастный, тупо соображал, где меня моет Вероня, наконец понял, что имел в виду Женька, но не оскорбился, поскольку не считал это стыдным. Мочалка в руках Верони не обходила мой крантик, но для меня прикосновение к этому месту ничем не отличалось от всех остальных. У Женьки был несоизмеримо больший сексуальный опыт, он был верным клиентом Нинки Котловой.

Я не нашелся, что ответить, и тоже стал смеяться вместе со всеми, но не над собой, а как бы отдавая дань блестящему остроумию Женьки. Мне было больно и за себя, и за Вероню, и за весь милый обряд, который я так любил и вдруг представший чем-то стыдным, дурным, унижительным в глазах двора. Моя пассивность, безволие или трусость лишили сцену ожидаемого финала. Как в драматургии без катарсиса, публика осталась не удовлетворена. Ребята хмуро разбрелись, я тоже пошел домой. Я уже занес ногу на ступеньку крыльца, когда кто-то дернул меня за хлястик. Я обернулся — Женька.

— Чего тебе?

— Поговорить. — И он знакомыми движениями стал подтягивать свои белые перчатки.

— Неужели тебе не надоело? — спросил я с тоской.

— Надоело. Вот как! — Он провел ребром ладони по горлу. — Жидовня надоела.

Он играл на публику, которую по нерасторопности упустил. Ему бы сказать это при всех и взять меня голыми руками. Но мы были одни, а за спиной спасительный подъезд.

— Опять хочешь получить?

— Поговори еще, жидок!

Его круглое лицо покрылось пятнистым румянцем, он выставил вперед руки в белых перчатках, похожие на кошачьи лапы, и раздвинул пальцы, как делают кошки, выпуская когти.

Пижон, мелочь, ломака, и все же я трусил. Конечно, не Женькиных кулаков, он был частью того целого, перед которым я раз и навсегда спасовал. Я физически ощущал сковывающие меня путы, кулак не сжимался, рука не подымалась. Варфоломеевская ночь окутала меня.

Женька ударил, целя в лицо, но попал в плечо. Я схватил его руку, заломил, повернув его спиной к себе, и с силой толкнул. Он засеменил, пытаясь удержать равновесие, упал на четвереньки — белизной перчаток в желтую от лошадиной мочи снежную грязь.

Я думал, он угомонится, поняв, что соотношение сил не изменилось, но, ругаясь на чем свет стоит и угрожая мне чудовищной расправой, он снова пошел в наступление. Правда, довольно медленно. Свою неторопливость он маскировал хищным приглядом к моей обреченной фигуре, выбирая наискорейший и нажесточайший способ ее уничтожения.

И тут невесть откуда возник Кукуруза. Вот этого я и боялся. Сейчас появятся Борька Соломатин, Курица, Лелик, весь двор.

— Чего тут у вас? — поинтересовался Кукуруза.

— Ничего, — отмахнулся Женька, — без тебя разберемся.

— Он хвалится, что самый сильный, — быстро сказал я. — Навтыкаю, говорит, тебе, потом Кукурузу поймаю.

Такую тухлую приманку мог взять только Кукуруза, что он и не преминул сделать.

— Дерьмо собачье! — Глаза Кукурузы сузились в щелки. — Ты меня поймашь? Свиной потрох! Лавочник сраный!..

— Кукуруза, ты что? Белены объелся? — залепетал белоперчаточник.

Я повернулся и вошел в подъезд. Вослед донесся пороссячий визг. Я победил мозгами — чисто по-еврейски. Но это не гарантировало спокойствия...

5

Не лучше обстояли дела в школе. В начальных классах, как уже говорилось, аборигены — чистопрудные — терроризировали всех остальных ребят, но в дальнейшем

объединяющее начало школьных стен погасило рознь. Я уже начал привязываться к школе, ища в ней противовес двору, когда в наш класс пришел Агафонов. Странно, он отравил мне несколько лет жизни, был кошмаром моих дней и ночей, а я не помню его имени. И даже не уверен, что знал это в школе. У нас всех звали по фамилиям. Были еще прозвища, у него — Агапеша.

Я сроду не видел среди детей такого здоровяка. У меня сохранились школьные карточки той поры, нас время от времени фотографировали всем классом. И на каждой карточке центром является громадная фигура рязанского Будды: тело — как набитый отрубями мешок, рожа блином и челочка пшеничных волос над плоскими бледных глаз. Вокруг этого изваяния располагаются хилые — по контрасту — дети и бедно одетые пожилые люди — учителя. В каждом классе есть Жиртрест — квелый, слабый толстяк, над которым все издеваются. Был он и у нас. Но Агапеша был не толстяк, а громадина — костяком, мышечной массой, проложенной слегка жирком, что не мешало его поворотливости и спорости.

Наверное, он не был злодеем, но переизбыток мощи требовал воплощения, к тому же в атмосфере всеобщего трепета и подхалимства пышно расцвели дурные свойства его характера. На мое несчастье, до прихода Агапеша я считался самым сильным в классе. Но это была легкая, гибкая, воспитанная гимнастикой сила мальчика моих лет, и что она стояла перед грубой силой молодого грузчика? Я мог

повалить его, что, на беду свою, и делал, когда он только появился в классе, и мы шуточно стыкались на перемене. Агапеша недолго раздумывал и пустил в ход пудовые кулаки. Тут я ничего не мог поделаться. Мне казалось, он бьет меня не по телу, а по внутренним органам: сердцу, легким, желудку, печени, почкам. Эти проникающие удары оставались во мне болью на весь день. А ведь то не было настоящей дракой — товарищеские стычки, так, во всяком случае, мне тогда казалось. Теперь я в этом не уверен. Я стыкался бескорыстно, им же владела цель, ожесточавшая его действия: надо было утвердиться в своем безоговорочном превосходстве, и лучше всего это сделать, уничтожая бывшего чемпиона. Я никогда не дрался в школе, только боролся — на переменках и после занятий в физкультурном зале. Все было по-доброму, по-спортивному, ребята приходили смотреть. Я часто боролся один против двоих и никогда не давал положить себя. Кроме того, я был первым на уроках физкультуры, лучше всех прыгал, бегал, подтягивался на канате, работал на турнике. Агапеша убедительно доказал, что истинной богатырской силушке не нужны ни бег, ни прыжки, ни спортивные снаряды, ни обитый искусственной кожей конь, ни шведская стенка, ни турник. Он не мог подтянуться более двух-трех раз; перепрыгивая через коня, садился верхом; с турника срывался. Но по окончании занятий подходил ко мне и давал под ребро или в солнечное сплетение, и сразу становилось ясно, кто чего стоит. Я все же оказывал посильное сопротивление вплоть до того рокового дня, когда, сощуриив бледно-голубые пустые глаза, Агапеша сказал:

— Ехал бы в свой Бердич.

— Куда? — не понял я.

— В Бердич, жидовскую столицу, — пояснил Агапеша.

Впервые услышал я в стенах школы слово «жид» и был потрясен, как чапековский швейцар Повондра, увидев в водах Влтавы черное склизкое тело саламандры. «Как, они и сюда пробрались? Нам всем конец!»

По-моему, это было в шестом классе, самом неудачном по составу. Нас что ни год перетасовывали во славу педагоги-

ческому эксперименту: группы (тогда классы назывались группами) то дробились, то укрупнялись. В дальнейшем то же самое стали делать с колхозами и предприятиями. Крыловские неумелые музыканты все время пересаживались в надежде таким путем добиться гармонии, бездарный строй рассчитывал на успех посредством перестановок, укрупнений, раздроблений, но музыка оставалась все та же: какофония. В моем классе собралась на редкость недоброкачественная компания.

Она сложилась вокруг Агапеша. Мозгом ее был интеллигентный парень по кличке Рыльник, игравший — и очень убедительно — в приклатненного: всегда расстегнутый от ширинки туальденеровых штанов до ворота какой-то бабской кофты, на голове фуражка с лакированным сломанным козырьком, объяснял он только на воровском жаргоне и невероятно хамил учителям. Почему-то ему все сходило с рук. Учился он играючи, мог бы — на одни пятерки, если б захотел. Но он не хотел, чтобы не уронить репутацию блатаря. Агапеша относился к нему любовно-покровительственно. Придет время, и нас сблизят с Рыльником шахматы и книги, но в ту пору он настраивал Агапешу против меня. Его раздражало, что я не опростился в угоду холуйскому составу нашего класса.

Другим фаворитом Агапеша был самый маленький парень в классе с красивой кличкой Сикель, ловкий, как черт, и, как черт, злой. Он нанес чувствительный удар по моей репутации спортсмена, перепрыгав меня на коне. Он превращал свой прыжок в акробатический номер. Ему помогали малый рост и низко расположенный центр тяжести. И все-таки я убежден, что не уступил бы Сикелю, если б не опасный прищур Агапеша и его присных, когда я выполнял прыжок. Человек, представляющий на состязаниях Бердич, заранее обречен. Повторялась дворовая история.

Но хуже всех был рослый парень Бобров с огромным дегенеративным затылком. Он громко пукал на уроках, а на большой перемене мочился в одну из задних парт. Вечно задевал слабых и пресмыкался перед Агапешей, который к нему благоволил, ибо рядом с ним чувствовал себя не только самым сильным, но и самым умным, красивым и грациозным.

И была атаманша-второгодница из другой школы Тамарка, хулиганистая, драчливая и не лишенная привлекательности девка, которую все боялись. Как-то раз я услышал хвастливое рассуждение Боброва: «С Тамаркой только я и Агапеша можем справиться, остальным она навтыкает». Агапеша ее уважал и опасался, за ней чувствовалась какая-то другая, внешкольная сила. У меня с этой амазонкой сложились добрые отношения. Я помогал ей по арифметике, но, кажется, затронул иные струны чувствительной души, скрывавшейся под личиной бой-бабы. Мне довелось в этом убедиться.

Мы все поочередно дежурили по классу. Главная забота дежурного — выгнать всех в коридор во время большой перемены и проветрить класс. Но никому не удавалось выгнать упрямого кретина Боброва, опорожнявшего в парту мочевой пузырь. Предельная исполнительность была и осталась самым прочным из моих качеств. Я из кожи лез вон, чтобы изгнать Боброва. Однажды мне удалось выхватить его из-за парты, прервав мочеиспускание.

— Жидовская морда! — процедил сквозь зубы Бобров и ударил меня в грудь.

Тут же прозвенел звонок, и я сделал вид, что лишь это помешало мне расправиться с Бобровым. Но Тамарка не дала себя обмануть.

— Почему ты не дашь ему? — горячим шепотом сказала она во время урока — мы сидели за одной партой, чтобы она могла списывать у меня решения задач. — Чего ты его боишься?

Милая Тамарка-интернационалистка, если тебе попадутся на глаза эти строки, то знай, что я не забыл твоей доброты, пусть на малое время вернувшей мне душу. Равно на всю жизнь запомнил я бойкие струйки крови, побежавшие из глупых ноздрей Боброва. Наверное, он страдал гемофилией, как наследник престола, или нарочно расковыривал нос, чтобы оправдать свою небоеспособность.

Бобров был укрощен, но и меня ждала расплата. Тамарка служила мне надежным прикрытием, но когда она заболела крупозным воспалением легких, мой час настал. Уже прозве-

нел звонок, мы ждали появления учителя, дверь отворилась, и вошел Агапеша, видимо, куривший в уборной. Он неторопливо приблизился к моей парте и врезал мне сперва в одно ухо, потом в другое. Было больно, я оглох, но самое ужасное — по ноге побежала струйка. Я обмочился. Выскочив из-за парты, я кинулся в уборную. Заметили или не заметили ребята мой позор? Приведя себя в порядок, я долго не решался вернуться в класс. Но что было делать? Там остался ранец, учебники, тетрадки, да и не мог же я сбежать с уроков. Со смертью в душе я прошмыгнул в дверь. Козлобородый Степан Степаньч, учитель черчения, долго отчитывал меня своим лающим басом за опоздание, но я не очень переживал, поняв по равнодушным лицам однокашников, что они видели только оплеухи, которыми Агапеша никого не мог удивить.

Ночью мне приснился мой славный предок генерал-лейтенант Дальберг. Сидя на коне и раздувая усы, он проводил очередную экзекуцию над усмирёнными бунтовщиками. Дюжие солдаты выхватывали из толпы то одного, то другого бунтаря и распластывали на колоде. У всех наказуемых было плоское лицо Агапеша...

Антисемитизм приносили из дома, как бутерброд с колбасой или яблоко. В школе нас до отвала пичкали дружбой народов. Однажды меня заставили участвовать в праздничном представлении, посвященном угнетённым народам. Я должен был изображать индейца. Мама покрасила в коричневый цвет свою тонкую ночную рубашку, ставшую моей смуглой кожей. Голову украсил набор из перьев, которому позавидовал бы сам Гайавата. На него ушли все перья от маминих дореволюционных шляп, хранившихся в круглых коробках на верхотуре старого платяного шкафа. Широленные брюки Верониного племянника, украшенные бахромой, споротой с вольтеровского кресла, и мокасины — восточные ночные туфли с загнутыми носами — завершали наряд.

Два других индейца, Бобров и Рыльник, были не скажешь одеты, а раздеты под детей прерий: голое тело, трусики, сандалии и воронье перо в волосах. Они дрожали от холода и зависти ко мне, когда мы вышли на сцену школьного зала. Мы принялись скандировать ужасные вирши о страданиях

обитателей резерваций, и я заметил, что на реснице Боброва повисла слеза. Почему он может так искренне и глубоко сочувствовать далеким краснокожим братьям, но не чувствует и тени сострадания к более близким территориально бледнолицым братьям, которым тоже приходится несладко?

И еще мне хотелось понять, почему другие еврейские мальчики, а наш класс уступал разве что синагоге по чистоте неарийской крови, живут припеваючи, их никто не преследует, не шпыняет, и если Агапеша порой напоминает о Бердиче или Жмеринке, то как рачительный городской для порядка, а на меня все шишки валятся? Наверное, все дело в том, что они смирились со своим положением, надели желтую повязку на рукав и обрели в этом известную свободу. А я не надел повязки, мешает другая моя половинка, пусть я никогда не вспоминаю о ней, она не забывает меня. Самому мне кажется, что я тих и незаметен, но это самообман. Я слишком заметен и на Агапешу с присными действую, как тряпка на быка. Повторялась дворовая история, и не было выхода...

Но облегчение пришло. На следующий год нас снова перетасовали, и в новом классе кончилось царство Агапеша. Бобров, Сикель и еще несколько хулиганствующих из свиты Агапеша отсеклись, пошли в какие-то рабочие школы, а Рыльник уже открыл для себя очарование ферзевого гамбита, застегнул штаны, а кофту сменил на рубашку. Против Агапеша составилась заговор, меня туда не вовлекли, а я не стал напрашиваться, поскольку хотел получить с него мой личный должок. Я очень окреп на пороге отрочества. «Одесский грузчик!» — сказал однажды Агапеша, измерив вершками ширину моих плеч. «Не одесский, а московский», — ответил я и дал ему в морду. «Я этот удар тебе сроду не прощу», — сказал Агапеша и тут же опрометью кинулся вон из класса. Он заметил своих преследователей, двинувшихся в нашу сторону.

Месть не доставила радости. Агапеша был обложен со всех сторон, как волк в загоне. Он не решился ответить мне, и в тайнике души я рассчитывал на это. Агапеша по-прежнему мог справиться со мной, но был бессилен против восставшего класса, поддержанного, как потом выяснилось,

чистопрудными наемниками. А эти ребята могли пустить в ход и кастет, и нож. Я поступил низко и, как ни искал для себя оправданий, не находил их. Человек всегда устраивается с собой, но я не устроился, и сейчас, по прошествии жизни, мне так же стыдно, как в те неправдоподобно далекие времена. Неужели во мне действительно продолжается тот мальчик?..

Агапеша в класс не вернулся, он бежал из школы, и дальнейшая его судьба мне неизвестна. С уходом Агапеша изменился самый школьный воздух. Исчез запах серы — запах Сатаны и кошек, живущих в подьезде. Агапеша несомненно был сделан из того же материала, что и «величайшие гении человечества», поэтому так благостен и освежающ был его уход...

6

И все-таки страх, подлый рабский страх глубоко угнездился в душе. Один унижительный случай особенно цепко вклеился в память.

Он связан с катком «Динамо», уже упоминавшимся выше. Каким-то чудом его серебряное блюдо уместилось в густотище застроенного-перезастроенного центра Москвы. Здесь дом лезет на дом, не найдешь свободного пятка: между помойкой и гаражом встроены крольчатник, рядом чистильщик сапог развесил макароны шнурков и насмердил сладкой гуталиновой вонью, вгнездился в какую-то нишу кепочник, а на него напирает электросварщик, обладатель слепящей искры, сараи, подстанции, всевозможные мастерские теснят друг дружку, толкаясь локтями, и вдруг город расступается и с голландской щедростью дарит своим гражданам чистое пространство льда.

Здесь были запрещены беговые норвежские коньки, что определило лицо катка — не грубо спортивное, а романтическое, галантное. Катались чаще всего парами: рядом, взявшись наперекрест за руки. Центр катка был выделен для фигуристов и танцоров. Ледовый флирт творился под льющуюся из черных рупоров музыку. Лещенко тосковал о Татьяне, ликовал за самоваром с Машей и признавался в скуке, мешающей забытью; Утесов, рыдая, прощался с любимой; Козин воспевал дружбу, а резкий, с грузинским акцентом тенор Бадридзе жаловался на «образ один», что не дает ему ни сна, ни покоя.

Самые счастливые часы зимней жизни отроческих лет я провел на этом катке. Не помню уже, кто открыл мне его, но затем я перетащил сюда всех моих школьных друзей, ломавших ноги на бугристом, в трещинах, полыньях и снежных наметах естественном льду Чистопрудного катка.

Но мы забыли, что есть люди, считающие себя законными хозяевами «Динамо», им наше свободное поведение, веселье и беззаботность, наши летучие ледовые романы — что вострый нож живому сердцу. Нами попрано святое право места. И они устроили нам баню в длинном переходе, соединяющем Петровку с Неглинной, когда мы, перебесившись, перенаслаждавшись, усталые до изнеможения, возвращались домой. И предвестьем грядущих апокалипсических забав человечества в талом воздухе прозвучал древний русский клич: «Бей жидов!» О второй части призыва к этому времени еще не вспомнили. Тогда я впервые обнаружил, что «жид» — понятие очень растяжимое, условное и крайне удобное для тех, кто решил разделаться с неудобными людьми. В жида попал Юрка Павлов, наш лучший школьный конькобежец, признававший лишь скоростные трассы Парка культуры и отдыха. Мы затащили его в наш ледовый Версаль соблазнами не спортивного, а галантного рода. Ему очень хотелось промчаться по льду, скрестив руки с Ниной Варакиной — будущей своей женой. Он оплатил зубом короткие минуты блаженства. Воистину, в чужом пиру похмелье. Я убежден, что группа решительных евреев с криком «Бей жидов!» могла бы устроить русский погром посреди Москвы. Это не менее реально, чем прямо противоположное: наладившийся в последнее время отъезд русских в Израиль и другие благосклонные к еврейской эмиграции места. Признание: «Я жид» — распахивает заветные двери с непреложностью пресловутого: «Сезам, откройся».

Но в тот роковой день мне было не до пустопорожних рассуждений. После зычного и все расставившего по своим местам клича я был как под наркозом и даже не почувствовал боли, когда рослый парень лет семнадцати, с румяным лицом былинного доброго молодца, разбил мне нос и губу. Избиение произошло на глазах наших подруг — позор, стыд, но никому не вспало в голову сопротивляться, даже Юрке Павлову, получившему со словом «жид» местечковый трепет.

Отсмаркивая кровавые сопли, я думал вовсе не о мести, а о том, что вечером мне идти на «Испанского священника» в МХАТ-2. Мила Федотова сказала, что тоже придет. Я

боялся, что распухший нос лишит меня двойного удовольствия. Я хватал горстями снег и прикладывал к лицу. Очевидно, Милу тоже озаботило состояние моего носа, она подошла и стала помогать мне унять кровь. Славные девочки! Они видели нашу слабость и несостоятельность в беспощадно враждебном мире и все нам прощали. Они даже влюблялись в нас.

В театре я видел сцену сквозь багровый отсвет, исходивший от моего распухшего носа — примочки снегом несколько уменьшили его размеры, но снять багрец не могли. В том же красноватом мареве я видел со своего яруса сидящую в партере Милу. Наши глаза встретились, и вспышка Миленного румянца была ярче пожарных тонов моего тогдашнего мира.

Мы вместе возвращались домой через Театральную площадь, намело свежего снега, и все искрилось под фонарями; вверх по Театральному проезду, по Мясницкой, Кривоколенному переулку, обогнули мой дом и вошли в тишайший в этой тихой ночи Сверчков переулок. Мы миновали, не задержав взгляда, дом номер десять, где жил стройный армянский мальчик, счастливый обладатель мотоцикла, кожаных краг и перчаток с раструбами; этот мальчик вырастет, станет Миленным мужем, уйдет на фронт и погибнет в первом же бою. А вот и новостроечный массив в Потаповском, заселенный крупными военными. Один из самых крупных — Милин отец, молодой красавец и весельчак. Жизни ему оставалось менее трех лет, он пойдет по делу Тухачевского, а золотоволосая Милина мать отправится в лагерь и ссылку на восемнадцать лет.

У ворот Миленного дома ей поклонился высокий человек с седыми висками, прогуливавший большешлапого щенка-дога. Он старомодным жестом приподнял меховой пирожок, как будто Мила была взрослая дама.

— Добрый вечер! — сказала Мила, покраснев от гордости.

— Кто это? — спросил я.

Она назвала одну из самых распространенных фамилий, упомянула почему-то о балетной школе. Я уже не слушал, какое мне дело до случайного прохожего.

Стоп! Наверное, это просто совпадение, но ведь жизнь очень грубый и решительный драматург, не боящийся никаких совпадений. Я никогда не задумывался над тем, что у тяжелораненого лейтенанта, однофамильца этого человека, были сестры-балерины.

В дни войны выпускницу стоматологического института в связи с нехваткой хирургических кадров послали в госпиталь оперировать. Ей доверяли... нет, скидывали случаи теоретически безнадежные. Но безнадежнее безнадежного казался молодой офицер с развороченным животом. Шесть часов длилась операция. Лейтенант несколько раз умирал, а хирург терял сознание. Миле казалось, что она спасает жизнь раненому, — она спасала свою собственную судьбу и судьбу своих детей и судьбу матери, чтобы лагерница и ссыльнопоселенка стала прапрабабушкой. Всего лишь месяц не дожидая она до золотой свадьбы своей дочери и лейтенанта с того света.

Так совершили мы путешествие по Милиной судьбе, конечно, ничуть о том не подозревая, занятые друг другом и снегом и ночью. Мила, застенчивая, легко краснеющая, робко и нежно заглядывала в мое разбитое рыло...

Я ушел далеко в сторону от своей темы. Мне не хочется, чтобы у читателя сложилось впечатление, будто я ухлопал всю жизнь на возню с национальным вопросом. Конечно, это не так. Были, не раз были — чистый снег, ясные ночи, теплый, доверчивый локоть...

7

Осенью тридцать седьмого года, по выходе отчима из тюрьмы, мы переехали в Приарбатье. Отчима посадили за год до так называемой «ежовщины» по чистому недоразумению, случается и такое в большом хозяйстве. Писателя пустили по делу экономической контрреволюции. Поскольку он лишь путался под ногами, через год его выпустили, зачтя ему этот год как наказание за невиненную вину. Вообще же никакой «ежовщины» не было, это легенда. Была сталинщина, независимо от того, чьи руки держали щит и меч: Ягоды, Ежова, Берии, Абакумова, Меркулова или кого другого.

Отъезд из дома, где я родился и провел семнадцать лет своей единственной и неповторимой жизни — от первого крика до первой любви, где было пережито столько милого, трогательного, большого и страшного: ночной солдат, ворвавшийся в сон, голос Верони: «Спи, маленький!» — попытки дружб и прикипевшие к груди плевки, сумасшедшие паровозные гудки в мартовской черноте; где я начал писать, бросил и снова начал, уже навсегда, — оказался сух и холоден, без прощальных слов, без раскаяния и сожалений, неотделимых от всякого расставания. Мы уезжали днем, когда взрослые жильцы были на работе, а дети в школе. С Толькой Соленковым мы давно порвали. Без ссоры и объяснений, просто нам нечего стало делать друг с другом. Во дворе мои несостоявшиеся дружбы и забытые вражды тоже давно кончились, я ходил через парадный ход, а черный ход, дворы и Армянский переулок стали не нужны. Покидая свою комнату, я посмотрел в окно на помойку, голубятню, общую плоскую крышу дровяных сараев — ничто не шелохнулось в душе. Церковь Николая в Столпах, где было столько

намолено, давно уже закрыли два надстроечных этажа нашего дома, какое-то время торчала верхушка креста центрального купола, затем и она исчезла — церковь снесли. Никакой печали, ни тени лирического чувства я не испытал — этот мир давно изжил себя; те же, кого я любил, уезжали вместе со мной, а Катя останется в нашей жизни.

Через год после окончания школы я побывал в своей старой квартире и удивился, как она мала, темна, тесна и убога. Но так и обычно бывает при свидании с родным пепелищем. Меня послала мама с каким-то поручением к Кате. Поскольку я хотел заглянуть на книжный развал у Китайской стены, мне удобней было пройти черным ходом. Без всякого волнения спустился я по знакомой каждой щербатой ступенькой грязной лестнице.

На коротком пути к подворотне дорогу мне заступил невысокий франтоватый молодой человек в белых перчатках. Я не узнал его, а догадался, что это Женька Мельников, лишь когда он схватил меня за лацкан пальто и с каким-то присвистом высказался по национальному вопросу.

Боже мой, какая духота! За прошедшие годы столько было страшного, столько людей ушло в смерть, в никуда, столько пролито слез, и другое было: минули детство и школа, пришла пора пусть не мятежной, пусть взявшей «на прикус серебристую мышшь» юности, да ведь юности, черт побери! А здесь ничего не изменилось, не сдвинулось, те же тухлые стоячие воды. Часто удивляются: откуда берется фашизм? Да ниоткуда он не берется, он всегда есть, как есть холера и чума, только до поры не видны, он всегда есть, ибо есть охлос, люмпены, городская протерь и саблезубое меццанство, терпеливо выжидающее своего часа. Настал час — и закрутилась чумная крыса, настал час — и вырвался из подполья фашизм, уже готовый к действию.

За эти годы я стал другим. Прежде всего, я уже не принадлежал этому двору, не зависел от него и не считался с ним. В кармане пиджака лежала тугая розоватая бумажка — паспорт допризывника, где в графе «национальность» значилось: русский. А мою взрослость удостоверял студенческий билет. Возможно, подсознание произвело мгновен-

ный расчет на основе названных данных и вынесло решение, но мне казалось, что я чисто рефлекторно отбросил Женькину руку и столь же рефлекторно дал ему в глаз. Он упал, тут же вскочил, сжимая в руке булыжник.

— Брось камень, говно, — послышался ленивый голос.

Из подворотни выдвинулся огромный, как конная статуя, Витька Архаров с прилипшей к губе папироской. Он глядел вверх наших голов в какую-то свою даль.

— А чего он лезет? — плаксиво сказал Женька Мельников.

— Я видел, кто полез, говно, — изнемогая от взрослой тоски, уронил Витька.

Женька не мог послушаться и выпустил булыжник. Не хотелось бить этого фанфаронишку, но тут я понял, что Витька Архаров дарит его мне, возможно, в компенсацию за нанесенный прежде урон: краски, цветные карандаши, мекано и настоящий «монте-кристо», что в десяти шагах убивает человека. Ему нужна была искупительная жертва, чтобы рассчитаться с темным прошлым и чистым как стеклышко ступить на стезю борьбы с преступностью. Он был мне всегда симпатичен, и не хотелось обижать его отказом. Я сделал, что мог.

Витька даже не оглянулся, ему довольно было музыкального сопровождения экзекуции, такого пороссячьего визга, такого ослиного рева не слышал наш двор.

Я кивнул широкой Витькиной спине и пошел в свою новую жизнь, чтобы уж никогда сюда не возвращаться...

8

Мы жили в первом писательском доме на улице Фурманова, бывшем Нащокинском переулке. Квартиренку дали отчиму взамен кооперативной в Лаврушинском, которой его лишили в связи с арестом. Братья-писатели вынесли свой вердикт, опередив правосудие. Отчим, как и прежде, поселился отдельно, обменяв наши полторы комнаты в Армянском на однокомнатную квартиру. С переездом в Нащокинский сменилось все наше окружение. В новой среде обитания, литературно-киношной, национальная тема потеряла свою жгучесть в силу решительного преобладания евреев. Любой выпад не сдержавшего сердце русачка вызывал такой мощный отпор, что несчастный готов был сделать себе обрезание, как японский самурай хакакири, во искупление вины. Для национальной розни не было пищи еще и потому, что тут всех, кого можно и нельзя, спешили зачислить в евреи. Певец советской деревни, поэт гармонии Александр Жаров, горбоносый брюнет из смоленской глубинки, был объявлен тайным жидом; вполне возможно, что среди его предков был наполеоновский солдат, через его деревню шли французские войска на Москву, но дружба с Уткиным, Безыменским и Джеком Алтаузенем отменяла все варианты происхождения, кроме наипозорнейшего.

Я мог бы безмятежно вариться в еврейском супе, если б не одно весьма существенное обстоятельство. Дома, в нашей новой крошечной квартирентке, я все время терся среди русских, терся буквально, сталкиваясь боками и с трудом разминаясь в узеньком коридорчике. Моими соседями были: мама, Вероня и Джек — тоже русский, ибо дворняга. В родной мне русской атмосфере я никак не мог быть плохо замаскированным евреем, каким числился в киношных и литературных кругах. Есть замечательное высказывание: еврей — тот, кто на это согласен. А я не был

согласен, несмотря на всю натужную готовность. Иногда я вел про себя такие разговоры с неким собирательным евреем: дайте мне ваш нос, ваши темные глаза, вечный двигатель вашего юмора, ваш дивный музыкальный слух — за одно это готов повесить свитки торы в своей комнате, вашу безунывность, наглость и смирение. Но дать мало, надо кое-что отобрать. Так отберите у меня жест молитвы, большую любовь к природе — она ведь не нужна? — и слезу о Христе. И я навеки ваш.

Словом, ничего не кончилось. И тут произошел домашний разговор, странность которого я поначалу не понял. Отчим сказал, что мне надо выбрать литературную фамилию и носить ее как свою.

— Красовский, — сказала мама.

— Не пойдет, был цензор, душитель Пушкина.

— Мясоедов.

— Был лицеист Мясоедов — дурак из дураков. Дельвиг предлагал ему праздновать именины в день усекновения главы.

— Тогда — Калитин, — сказала мать, будто на что-то решившись.

— А тебя не?.. — отчим не договорил.

— Да ну их к черту! — сказала мать, кусая губы. — Кого это теперь интересует?

— О чем вы? — спросил я, ничуть не настороженный, фамилия мне понравилась, и я не понимал, чего они мнутя.

— Петр Калитин — хорошо, — одобрил отчим.

— Откуда эта фамилия? — спросил я.

— Старая русская фамилия. У меня были дальние родственники Калитины, — ответила мать.

Я сказал, что поменяю фамилию на Калитин.

— Отчество ты, надеюсь, оставишь? — спросила мать, и опять что-то странное было в ее тоне.

Так появился на свет Калитин Петр Маркович, русский, крещеный, еврей для всех, кто его знал, и уже подавно для тех, кто его не знал, ибо всем хватало отчества. Бедная, бедная Марковна, жена неистового протопопа Аввакума!.. Русские плотнее сомкнули ряды, евреи еще шире распахнули объятия...

С чем можно сравнить страдания, которые причиняла мне моя «недорусскость»? Разве что с тоской и муками бедного Петера

Шлемиля, человека, потерявшего свою тень, о чем поведал Шамиссо. Неужели это правда так стыдно, так мучительно стыдно не иметь тени? Да на кой черт она сдалась? Но, видимо, надо лишиться тени, чтоб понять ее важность, и как обесценивается человек, если хотя бы крошечная, прозрачная тень не сворачивается у его ног в солнечный день. А вот трагедия страшнее Шлемилевой: быть русским и отбрасывать еврейскую тень. Я не видел евреев, несчастливых своим еврейством. И очень мало видел таких, которые от своего еврейства отказывались. Очевидно, последние были не согласны — по той или иной причине — быть евреями. Но со страниц одной книги прозвучал крик возмущения нелепицей быть евреем в России — один из персонажей «Доктора Живаго» с ужасом и отвращением осознает, что неизвестно за какие грехи вынужден нести на себе печать еврейства. Тот, кто это почувствовал, несчастный человек. Хлеб жизни навсегда отравлен для него. Он никогда не поверит в хорошее отношение людей, не отмеченных роковым знаком, и будет относить каждый их жест добра за счет безгливой снисходительности, вышколенной терпимости к низшим — из религиозных, нравственных или иных искусственных соображений.

Лично я никогда, даже в упоении любви, дружб, спортивных баталий, гульбищ, захватывающих развлечений, не забывал, что у меня нет тени. Неточный образ. Я чувствовал себя человеком, отбрасывающим чужую тень.

А потом пришла война и поставила меня перед грозным выбором. В армию меня не брали. Я сунулся в школу лейтенантов, потом пошел в обычный райвоенкомат — мне предложили спокойно кончать институт. Мол, государство затратило на меня столько средств, мой долг получить диплом. Это было вранье. Меня не брали по анкете — сын репрессированного не годился даже на пушечное мясо. В школе лейтенантов я не стал спорить, общее безумие заразительно, мне и самому показалось абсурдным, что можно доверять взвод человеку, у которого сидит отец. Но в военкомате я заупрямился. Тогда меня послали на медицинскую комиссию, которую я покинул с белым билетом в кармане. Я был здоров как бык, мне дали психическую статью, пойдй докажи, что ты не сумасшед-

ший. Вот когда был найден изящный способ избавляться от неугодных людей. Здесь ставили заслон человеку, пыгавшемуся проникнуть в армию и развалить ее изнутри. Впоследствии тот же метод применяли к диссидентам, инакомыслящим, но с ними поступали круче — их совали в больницы с тюремным режимом, мне же просто дали под зад коленом. Никогда еще я не чувствовал так обреченно свою низкопробность в стране, которую считал родиной.

Неожиданный вывод из всего случившегося сделала мать. Радиокомитет, где работал тогда отчим, эвакуировался в Куйбышев, мой институт уезжал в Алма-Ату. Мать сказала: «Катитесь колбасой, я никуда не поеду». «Но ведь Москву возьмут», — сказал отчим. Вскоре эта мысль станет общим достоянием и приведет к московской панике 16 октября. «Пусть берут, — сказала мать. — Я переелась сталинским социализмом, меня от него тошнит. Посмотрим, что такое гитлеровский социализм, наверное, такая же помойка, но хотя бы с другой вонью. А главное, я останусь дома».

Я был уже женат. Мы расписались с Дашей, когда я решил уйти на фронт, чтобы не потеряться в сутолоке войны. Ее семья оставалась в Москве. Их патриотизм не допускал и мысли, что Москва может быть сдана. На самом деле они не сомневались, что Москву возьмут. Мать и приемный отец жены были чистокровными немцами с русскими паспортами, а Даша наполовину поляка. Ее отца, известного художника, расстреляли в восемнадцатом, это было настолько обычно, что я даже не поинтересовался, за что. Мне мучительно не хотелось расставаться с Дашей, но что было делать, гитлеровскому социализму русский по матери и паспорту годился лишь в виде трупа. И вдруг мать сказала: «Оставайся, сынок, куда ты поедешь? Они тебя даже на бойню не берут. Ну их к лешему!»

Мое доверие к матери было безгранично, я не задал ей ни одного вопроса. И остался.

Мы с Дашей проводили отчима на Казанский вокзал и видели то, что потом выдавалось за невероятную панику, но, по-моему, мало чем отличалось от обычного московского вокзального бардака поры летних отпусков. Мелькала высокая, стройная фигура Козловского в сером габардиновом плаще, он был в меру

озабочен, не теряя достоинства. Его вечный соперник Лемешев прогуливался в это время по Тверскому бульвару, покашливая и кутая горло, — открылся процесс в легких, что помешало эвакуации. Как недавно выяснилось, власти сочли его немецким шпионом и взяли под неусыпный надзор. Видел я седую голову Фадеева — он потом возглавлял список писателей, награжденных медалью «За оборону Москвы», награждали только удравших, все остальные были под подозрением. Там же на перроне мы услышали, что Лебедев-Кумач сошел с ума, срывал с груди ордена и клеймил вождей как предателей. Больше ничего панического не было. Возможно, это произошло позже, если произошло.

Через несколько дней после отъезда отчима мы отправились грабить его квартиру. Мы — это мама, моя бывшая нянька Катя, ее муж Петя Богачев и я.

Катя и Петя пили, как сельский поп из знаменитого анекдота: если без закуски, то безгранично, а если с закуской, то безгранично и еще сто граммов. Когда по утрам нечем было опохмелиться, они пили собственную проспиртованную мочу из ночного горшка. Во время частых гулянок — они любили кутить, а не осаживаться сивухой на пару, Петя должен был исполнить «украинский» романс: «Бедное сэрце навеки разбито». Он пел дребезжащим тенором, ударяя себя кулаком в грудь, и плакал. Все были в восторге и требовали повторения. Удивляться тут нечему: знаменитый Тартарен одерживал вокальные триумфы, обходясь еще более скромными средствами — троекратным повторением: «Нэт! Нэт! Нэт!»

Во время революции Петя Богачев, носивший кличку Петя Маленький, был связным между передовым отрядом революционных печатников и штабом, находившимся в нашем доме. Потом его скромная роль в революции выросла в помраченном рассудке до исполинских размеров. Напившись, он шел к висящему в коридоре телефону и властно требовал у телефонистки:

— Кремль!.. Богачев!

Это пугало другого квартирного революционера — Данилыча. Он выскакивал в коридор и отнимал у Богачева трубку.

— Я их всех в люди вывел! — сопротивлялся Петя. — И Молотова, и Кагановича, и Троцкого!

— Молотова и Кагановича ты вывел, — сердито бухал Данильч. — А Троицкого нет!

Они начинали спорить — дядя Петя в своем беспробудном пьянстве не уследил за падением Троицкого, — и Данильчу удавалось отвлечь его от телефона.

Незабываема осень середины октября сорок первого года, когда Москва стряхнула с себя — увы, ненадолго — советскую скверну. Конечно, в городе оставалось еще достаточно мерзости: и в опустевших зданиях ЦК партии и комсомола, и в доме на площади Дзержинского, и в райкомах, и под землей, куда укрылся по-кротиному Сталин (был слух, что поначалу он драпанул, но потом взял себя в руки и вернулся). На шоссе Энтузиастов (название — к месту) рабочие заслоны возвращали назад машины привилегированных беглецов, но они все равно удирали, цепляясь за вагонные поручни. Ненаселенные улицы были широки, чисты, будто разметены гигантскими метлами, горьковато пахли сухим кленовым и вязовым листом, просматривались из конца в конец. И как-то много было эмалево-голубого, прозрачного, дореволюционного неба — заводы, что ли, перестали дымить?

Мы с мамой приехали к Кате на метро, а от нее пошли пешком к Подколокольному переулку, избрав кружной путь по Чистопрудному и Яузскому бульварам. Нам некуда было спешить. Одна громадная ложь рухнула, другая еще не пришла, мы чувствовали себя в щемящей пустоте безвременья. Нам не о чем было говорить, мы выпали из мира привычных ценностей и забот, выпали из истории, растеряв все координаты и указатели. Как много значила прежняя всеохватная ложь! Она подсказывала слова и жесты, мысли и поступки, манеру поведения и выражение лица. Сейчас все предписанное было отнято, мы потеряли точку опоры, повисли в воздухе. Мы не умели черпать жизнь из реалий окружающего: домов, деревьев, тротуаров, проводов, палых листьев, неба, самих себя. Нам нужны были указатели, а их не стало. С четырьмя людьми, бредущими опустелым городом, оставалась лишь, давая силы, их высокая цель: поживиться чем-нибудь в брошенном спартанском жилье, а награбленное превратить в водку.

Я был не столь деморализован, как мои спутники, меня укрепляла гордость: впервые я на равных участвовал в настоящем русском деле.

Подколокольный переулок, спускающийся от Яузского бульвара к Хитрову рынку, был похож на театральную декорацию, ждущую выхода актеров, — ни души. Дома казались необитаемыми, а высоченный вяз возле дома отчима с нарочито золотой листвой — искусственным; низенькие здания бывших ночлежных домов в глубине — нарисованными на заднике. Быть может, из-за неестественности, сделанности, нарочитости этого городского пейзажа мне вдруг легко стало представить, как сюда входят вражеские солдаты. Не гитлеровские — в зеленом сукне и рогатых касках, потные, грязные, небритые, в скрежете движущегося металла, а нарядное, стройными рядами, с развевающимися знаменами, под музыку Штрауса, опереточное воинство.

Отчим всегда жил один. Считалось, что одиночество необходимо ему для размышлений, а был он глубоко и сильно думающим человеком. Вскоре после войны он создал концепцию гибели мира. Он считал: придет время, когда сделать атомную бомбу станет по силам одному человеку. С этого момента мир обречен. Как известно, американский студент смастерил атомную бомбу в лабораторных условиях. И то, что мы обречены, ни у кого не вызывает сомнений. Грустное это открытие принадлежит моему отчиму. Концепция — тоненькая тетрадка, вроде знаменитого «мемуара» Эйнштейна, не была опубликована, хотя отчим переслал рукопись своим родственникам в Финляндию. После его смерти я не нашел в немногочисленных бумагах копии этого труда.

Если верить газетам, немецкие ефрейторы (почему-то именно ефрейторы, а не рядовые, не унтер-офицеры, не фельдфебели) при поспешном отступлении забывают в окопах интимные дневники, позволяющие нашим остроумцам, вроде Эренбурга, предавать на всеобщее осмеяние духовное убожество гитлеровских вояк, а стало быть, и всего народа, живущего под знаком свастики. Отступление отчима на заранее подготовленные волжские рубежи не было столь поспешным, он имел время почистить за собой, но первое, что

мы обнаружили, проникнув в квартиру, был лежащий на столе дневник.

Мама взяла его, полистала и с брезгливой grimасой передала мне.

— Дневник немецкого ефрейтора, — сказала она. — Теперь ясно, каким высоким раздумьям предавался наш схимник в своей келье.

В голосе ее не звучало ни горечи, ни возмущения, ни разочарования, презрительно-насмешливая интонация была не лишена добродушия. Говорят, что ревность — это недостаток любви. Но и полное отсутствие ревности — тоже недостаток любви. Я подозревал, что мать не любила по-женски отчима. Ей надо было прикрыть меня, защитить после несчастья, случившегося с отцом, для этой цели отчим вполне годился. Он годился и на большее: руководил моим чтением, моим развитием, толкнул меня на писательский путь, навсегда став непререкаемым авторитетом во всем, что касалось литературы, да и культуры в целом. У него был — при полном отсутствии музыкального слуха — абсолютный слух на поэзию, прозу, изобразительные искусства, он был открыт и любому мышлению. Тут не было порабощения, я совпадал с ним во многом, но пришло время, когда я обрел необходимое пространство свободы. В преклонные годы мать и отчим наконец-то станут жить вместе в загородном доме, который я построил в середине пятидесятых годов. К тому времени накопленная матерью привязанность к нему стала почти любовью. Чувство отчима к матери было всегда гораздо живее, но и свободнее, в чем мы не преминули убедиться.

Дневничок был и впрямь хоть куда. Он содержал подробную историю увлечения отчима какой-то Ирешкой Дерен. Поначалу меня больше всего поразило, что возлюбленная отчима носит фамилию знаменитого французского фовиста, затем покорила стилистическая безвкусица и бытовая неценность записей. Отчим написал несколько неплохих исторических повестей, но он не был художником, его сила — в интеллектуальной прозе, поразившей некогда Горького и, как я совсем недавно узнал, Шаламова. А здесь отчим писал как бы не от себя, а стилизуясь под дневник житейского человека. Конечно, ефрейтору Задрипке так

было не написать, но интеллигентный обер-лейтенант, знакомый с творчеством немецких романистов двадцатых годов, мог бы сходным образом воспеть далекую возлюбленную. Томные вздохи: «Ах, Иришка!.. Иришка!» — чередовались с восторгами перед ее красотой, где главенствовало золото: золото волос, золотой загар, золотые искорки в глазах, вся золотая. Я подумал было, что отчим не так уж любит свою Иришку-фовистку, но затем вспомнил о другом. Хемингуэй говорил: беда Фолкнера в том, что он часто пишет, когда писать ему вовсе не хочется. Отчиму не хотелось писать этот дневник. Но в ту пору он был помешан на Толстом и считал себя обязанным наряду с «умственными» записями, подобно своему кумиру, поверять бумаге личное, интимное, бытовое. И тут мама подтвердила мою догадку. Среди прочих записей я наткнулся на такую: «Петя получил деньги и сразу охамел». Я спросил маму: неужели это было? «Грязный бред, — ответила она. — Придуманый дневник придуманного человека. Фальшивка». Разумеется, дневник не был весь высосан из пальца. Имелся в наличии я, имелась Иришка. Но я никогда не хамел от тех небольших денег, которые с некоторых пор стал регулярно зарабатывать и все отдавать маме. Иришка же состояла не только из золота, в ее состав входила и грубая порода, что получило неожиданное подтверждение.

В дневник было вложено письмо без конверта. Освобожденные предательством хозяина квартиры от излишней деликатности, мы с мамой вместе прочли эпистолу, подписанную уже близким нам именем Иришки Дерен. Хорошо монтировалось письмо с золотыми грезами сентиментального обер-лейтенанта. Оно представляло из себя яростную брань по поводу каких-то наручных часов, которые Иришка дала отчиму заложить в ломбарде — в трудную для него или для них обоих минуту — и которые он забыл выкупить, а может, перезаложил в другую трудную минуту, короче говоря, не вернул ни в должный, ни в пролонгированный срок. Разгневанная дама грозила покарать отчима собственной дланью, десницей брата, после чего востребовать «украденную вещь» — именно так характеризовала она действия возлюбленного — через советский суд. Ненужное

слово «советский» было привлечено для лучшего запугивания человека, уже дважды пострадавшего от советского правосудия. Об аресте его в тридцать шестом году я говорил, а до этого он отсидел три года за своего брата, обвиненного в халатном отношении к государственному имуществу. Тот заведовал книжной лавкой, которую под его рассеянным присмотром действительно разворовали. Брат только что женился, у него болела нога — позже это приведет к ампутации, — и отчим принял его вину на себя. Сидел он легко, написал в тюрьме свою первую серьезную повесть, пользовался отпускными днями, но все же сидел. Не знаю, многие ли способны на такую жертву.

— Этим и должно было кончиться, — сказала мать без тени торжества. — Он помешан на ломбарде. С тех пор как он появился в нашем доме, у нас заложено все, что принимают в заклад. Он заложил бы и нас с тобой, и самого себя, будь это возможно. Красивый финал романа. Интересно, успел ли он перед отъездом выкупить эти часы? А то они пропадут.

Этот вопрос мне ужасно хотелось задать седой сгорбленной старухе, навестившей нас на даче лет через тридцать после набега домушников на квартиру отчима. Я тщательно пытался найти в ней отсвет той светозарности, солнечности, которыми наделил ее отчим в злополучном дневнике. Она отдыхала в соседнем санатории и слышала, что мы живем поблизости. Старенькая Иришка обедала у нас, пила чай, добродушно болтая с мамой о всякой житейской чепухе. Отчим был не сказать смущен, но как-то не нашел тона. Может, часы все-таки пропали, но при его беспечности в отношении к чужой собственности это не могло его особенно волновать. Я не хочу сказать, что он был нечист на руку, боже упаси, но не отдать вовремя или вовсе замотать долг, не вернуть книгу, аванс, какую-нибудь хозяйственную вещь было вполне в его духе. Он без спроса брал мои вещи, использовал их, иногда терял или портил, но не испытывал от этого ни малейшего дискомфорта. Он успел до своего побега загнать мою библиотеку, мол, книги — это первое, что пропадает во время войны. Я собрал — не без его активного участия — почти все изданное «Академией», включая, разумеется, моих любимых «Мушкетеров», и много других хороших книг. Как ни странно, мать, сочетавшая своеволие с щепетильностью, в таких

делах шла на поводу у отчима. Быть может, присущий ей широкомасштабный эпатаж, не находя применения в суровой советской действительности, обернулся небрежением чужими вещами. Материальная бесцеремонность в сочетании с душевным изяществом и деликатностью делали для меня отчима — при всей нашей близости — фигурой загадочной. Я так и не разобрался в человеке, сквозь утонченную интеллигентность которого нет-нет да и прорывался босяк.

— Ох, дорогой ты наш человек! Святая душа! — послышался умиленный, плачущий голос Пети Богачева из прихожей.

Мы ринулись туда. Связной революции, подхлебывая носом, обнимал трясущимися руками бутылку «столичной» водки.

— Он еще и алкоголик? — сказала мать.

— А ты этого раньше не знала? — удивился я.

— Я не о Пете, — раздраженно сказала мать. — О нашем отшельнике.

— Бутылка непочатая.

— Отдай! Разобьешь! — Катя попыталась завладеть бутылкой.

— Цыть! — гаркнул Петя, и мы поняли, каким он был в дни революции: глаза сверкали из-под насупленных бровей, желваки играли на резко обозначившихся скулах, цыплячья грудь по-соколиному взбугрилась — сейчас Петя Маленький ринется в свой последний решительный бой.

И Катя оробела.

— Ты чего взъерепенился? Просто помочь хотела.

— Нечего мне помогать. Я тяжелше носил, не ронял. Неужто бутылку не удержу?

— У него, когда волнуется, руки дрожат, — пояснила нам Катя.

— Болтай, да знай меру! Когда это у Пети Маленького дрогнула рука?

Катя не ответила. Ее блекло-голубые глаза напряглись, неожиданно ловким, кошачьим прыжком она скакнула в угол и вытащила из-за помойного ведра темную бутылку с этикеткой «Мадера», в которой что-то плескалось. Не раздумывая, она всосалась в горлышко.

— Осторожнее, — сказала мама, — не отравитесь.

— Ты тут не одна, — жестко напомнил связной, успевший опустить «столичную» в карман своей тужурки.

— Не поймешь, — сказала Катя, отрываясь от бутылки. — То ли вино, то ли пиво, то ли моча.

— Что ты несешь? Зачем ему в бутылку мочиться?

Петя Маленький забрал у нее бутылку, обтер горлышко рукавом и сделал хороший глоток.

— Нормалек, — сказал он, но в голосе не было уверенности. Он рыгнул, пожевал губами, что-то соображая, и твердо заключил: — Градус, во всяком случае, есть.

— Дай-ка на глоточек, — попросила Катя.

Он отдал жене бутылку и с каким-то сомнамбулическим видом шагнул к стенному шкафчику над крошечной, в одну конфорку газовой плиткой, распахнул дверцы и достал липкую бутылку с остатками вкусного ликера «Какао-шуа».

— Господи! — сказала мама и прошла в комнату.

Я последовал за ней.

Мама закурила, села на тахту, но сразу пересела в кресло у письменного стола. На нем красовался «ундервуд» без футляра, от каретки тянулась веревка, спускавшаяся за край стола. Я потянул за нее и почувствовал тяжесть. Оказалось, на веревке висели подкова и половинка кирпича.

— Зачем это? — удивился я.

— Для тяги, — пояснила мама. — Я помню, он говорил в прошлом году, что лопнула пружина.

Вошли торжествующие Петя и Катя, они обнаружили в аптечке полпузырька медицинского спирта.

— Мне что-то надоело, — сказала мама. — Отбирай книги, и пойдем.

Катя шутливо попросила разрешения «пошукать по сусекам», а я стал нагружать чемодан разрозненными томами брукгаузовского словаря и другими приглянувшимися книгами: помню, там было что-то Розанова, «Замогильные записки» Печерина и несколько книг о Французской революции и Наполеоне — эта эпоха особенно интересовала отчима. Он был прав — война не щадит библиотеки.

Общим советом решили забрать весьма скромную кухонную утварь, две фарфоровые чашки с блюдами, две тарелки, вилки,

ножи, штопор, банку с какао, черную настольную лампу, пишущую машинку, освободив ее от кирпича и подковы. Катя обнаружила какой-то подозрительный ситцевый халатик, который мама разрешила ей взять. Пете Маленькому достались шлепанцы, брючный ремень и пиджак с кожаными латками на локтях. Петя нашел на окне за шторой какой-то странный каменный сосуд — не то старинная бутылка, не то ваза. Он стал встряхивать его, прикладывать к уху в надежде услышать заветный бульк. Но тут мама вспомнила, что это урна с прахом мачехи отчима, умершей пятнадцать лет назад. У отчима все как-то не доходило руки, чтобы предать земле дорогой прах. Разочарование связанного несколько компенсировали бычки в томате, извлеченные Катей из заливка. При такой закуси незачем было откладывать дело в долгий ящик, и мы прикончили «столичную» на месте. Затем при всеобщем согласии Петя выпил медицинский спирт, разбавив его в стаканчике для бритвы, а мы разлили по чашкам «Какао-шуа».

Петя Маленький все время плакал — то были слезы благодарности судьбе, сделавшей ему такой праздник. Но радость боролась в нем с раскаянием. Он представлял себе состояние беглеца, вернувшегося на родное пепелище и не нашедшего там ни «столичной», ни остатков «Какао-шуа», ни пузырька с медицинским спиртом, ни бутылки с загадочной крепленой жидкостью. «Война все спишет», — приговаривал он, самоутешаясь сквозь слезы.

Маме все это надоело. Мы быстро покончили со сборами и покинули гостеприимный кров. Я тащил чемодан с книгами, Катя — сумку с хозяйственными мелочами, Петя Маленький нес в одной руке пишущую машинку, футляр от которой мы обнаружили под кроватью, в другой — авоську с пустыми бутылками. Мама шла налегке.

На улице, еще дневной, хотя голубизна неба казалась усталой, я словно с высоты увидел наше шествие: хорошие, правильные, малость подвыпившие русские люди идут по осажденному городу, ничуть не озабоченные ни его, ни собственной судьбой. Никакой суеты, никакой тревоги, ибо во всеобщем подсознании нашего народа таится глубокая уверенность, что Россия все переделает, все переварит и в конечном счете обернет на свой лад.

Ей безразлично, кто над ней мудрует, напасти не страшны, в русском брюхе и долото сгниет. Жизнь — это выбор, но Россия не живет, а пропускает жизнь мимо себя, пассивно подчиняясь ее выкрутасам. Петя Маленький был связным революции, вывел в люди все Политбюро. Сейчас он стар, но, если понадобится, станет связным у новой власти и выведет в люди кучу гауляйтеров, не испытывая душевного дискомфорта. Власть, которой он присягал, не защитила его, бросила на произвол судьбы, ну и лад с ней! И ведь он был когда-то членом партии, а потом выпал из нее, как лишний гриб из кузовка. Он не выходил из рядов, боже упаси, и не был исключен, для этого надо его заметить, а он слишком ничтожен, мал, почти невидимка, — выпал, и все. Такое случалось и с более заметными людьми: Маяковский вступил, нет, ворвался, в партию в 1908 году, а после революции вдруг оказался беспартийным и вместо партбилета предъявлял «все сто томов своих партийных книжек». Петя даже этого не мог сделать. Сейчас он так же легко выпадет из числа советских граждан. Тут не было и тени цинизма, только смирение и безразличие. А вообще он изумительный переплетчик — руки трясутся, в глазах пьяный туман, а книгу обряжает, как невесту к венцу.

Я чувствовал величие Пети Маленького и мучился страхом, что не сумею быть на его высоте. Мы оба рабы, но он раб, плюющий на своих хозяев, я же раб преданный. Петя хочет переплетать, пить водку и петь про «бедное сэрце». А для этого ему вовсе не обязательно, чтобы вокруг пламенел алый цвет его республик, что требовалось — даже в любви — другому выпавшему из партийного кузовка. Я сумел избежать комсомола, что было неправдоподобно по тем временам, я ненавидел строй, уничтоживший моего отца, сломавший хребет отчиму, отказавший мне в праве умереть за него, но с алым цветом у меня обстояло не так просто. Я не мог принять Гитлера. Не мог, и все тут! Так меня воспитали. Ничего не могли втемяшить в мою башку, кроме лютой ненависти к свастике. А мне тогда казалось, что красный и коричневый цвета не сливаются, более того, что красный враг коричневому. Понадобился опыт целой жизни, чтобы убедиться в своей ошибке...

9

Вот я пишу о том времени, думаю о себе молодом, и мне многое остается непонятным. Если б я писал другую книгу, то, наверное, сумел бы придать цельность и убедительность картине своей тогдашней душевной жизни. Но я пишу эту книгу и не хочу быть умным сегодняшним умом. К тому же я не убежден, что понимаю себя тогдашнего. Почему в мои переживания, размышления, тревоги тех дней не вклинилась мысль о Маре, о любимых друзьях Павлике и Оське? Павлик воевал, Оська был призван. Мне кажется, с Марой я тогда мысленно простился, не верилось, что можно выжить в дни войны в лагере, к тому же попавшем в зону боевых действий. Но с Павликом и Оськой не прекращалась связь надежды. А ведь мой выбор раз и навсегда отрывал меня от них. Мы еще не знали о дыме бухенвальдских печей, растопивших свои топки, но хорошо знали, что евреям под знаком свастики не жить. Почему же я не думал об этом, почему вообще не старался представить себе будущее, когда Гитлер все ближе подползал к Москве? Я нахожу лишь единственный ответ, в который верю: моя тайная душа знала, что Гитлеру не видать Москвы. Иначе почему я так легко, без малейших гарантий принял предложение мамы остаться? Я даже не спросил: на что она рассчитывает? На свое дворянство и антисоветизм, за которые ей простится маленькое заблуждение в моем лице? Или надежду ей давала смешанная кровь Дальбергов, включавшая и немецкую, да ведь в таком решении нельзя руководствоваться надеждой, не могла же мать так легко поставить на карту мою жизнь? Остается третье и последнее: я не Марин сын. Я не думал об этом так четко, как пишу сейчас, но смутные образы подобных мыслей проплывали на

дальнем плане сознания, я их не задерживал, не пытался взглянуть в реюющие тени, а от последней — и самой вероятной — брезгливо шаркался.

Почему я не задал матери прямого и естественного вопроса? Не знаю. Не задал, и все. Быть может, мне отбил охоту касаться известных тем тот давний разговор, когда я получил по морде. И вообще я принадлежу к тем людям, которые не спрашивают. Такие бывают. Гарринча никогда не знал, против какой команды играет. Его это не интересовало, важно было играть. Да и зачем спрашивать? Правду люди говорят сами, а отвечая на вопросы, врут — больше или меньше. Не надо спрашивать, надо играть...

Некоторое время я жил беспечной русской жизнью в духе Пети Маленького, чему очень помогали ликеры Бачевского из реквизированного Клубом писателей погребка Алексея Толстого, бежавшего в Среднюю Азию. Клуб в это время захватили какие-то проходимцы, которые завели там бойкую торговлю прекрасными заграничными винами и ликерами, а также зеленой водкой «Тархун» — все из запасов советского графа. Москва жила нешумной уголовной жизнью: обчищали и захватывали оставленные квартиры, разворовывали склады, спекулировали и очень много пили.

В Москве было немало народа, который ждал немцев — не в смысле горячего желания их увидеть, а от усталости, безнадеги и веры, что с их приходом кончится проклятая, страшная война, уже принесшая неисчислимые потери и обнаружившая нашу неподготовленность, бездарность главного командования и жалкую растерянность того, кому верили, как богу. Обыватели хотели, чтобы скорее наступил конец, втихаря ругали Гитлера... и т.д.

Втихаря ругали Гитлера, расплескавшего весь наступательный пыл у стен Москвы, втихаря злились на трех полковников — Рокоссовского, Лизюкова, Доватора, продолжавших безнадежные бои с превосходящими силами противника, который это превосходство никак не мог реализовать. И чем дольше длилась эта непонятная нуда, тем хуже становились лица в свинцовом налете лжи и грязи — горячей воды не было, тем сильнее косили глаза, а уста несли

несусветную чушь, призванную объяснить и оправдать причину неотъезда.

И тут появилась Хайкина. Откуда она взялась, не помню. Во время войны то и дело возникали какие-то люди и, просуществовав для непонятной надобности малое время, исчезали навсегда. Пришел черед Хайкиной. Она была инструктором ЦК ВЛКСМ и входила в группу, которая должна была последней покинуть Москву. Маленькая, невзрачная, Хайкина носила полувоенное: китель, сатиновая юбка, сапоги, на тощей заднице болтался не то маузер, не то мой старый друг «монте-кристо», убивающий в десяти шагах человека. Голова ее была всегда опущена, а в редком выблиске серых глаз светилась мрачная решимость. Хайкина не ждала Гитлера, и Гитлер едва ли ждал встречи с Хайкиной в Москве.

Она предложила мне работать для отдела агитации и пропаганды, у них завал работы, а людей не хватает. Я сразу согласился. Так же легко и бездумно, как согласился на предложение матери остаться в Москве. А ведь одно согласие начисто исключало другое. Об этом мне напомнила теща, узнав, для кого я буду работать: «Геббельс сказал, что намыливает веревку для сталинских писак». И белозубо рассмеялась, представив ожидающую меня участь. Она меня ненавидела, считая, что я разбил жизнь ее дочери. Я принял это к сведению. Ну что ж, уйду последним, вместе с Хайкиной.

Конечно, мы все жили тогда, как в бреду. Мама не возражала против моей работы в комсомольском штабе, а ведь судьба Москвы еще не была решена. Ну, уйду я с Хайкиной в леса, а что будет с матерью кандидата на виселицу? Или она уйдет вместе с нами? Но она об этом не говорила. Она раскладывала пасьянс, курила и потягивала ликер Бачевского.

Нас заморочили войной только на чужой территории, крепостью брони и быстротой наших танков, точностью прицела наших артиллеристов и беззаветной отвагой сталинских соколов, а главное, полководческим гением Сталина, и чудовищная реальность войны, разгром, окружения, неис-

числимые потери и враг под стенами Москвы — все это не укладывалось в сознание, в душу, мы были полностью деморализованы и не отвечали ни за себя самих, ни за близких людей.

Я больше месяца таскался в пустынное здание ЦК комсомола, написал для них кучу всякой дряни, но о чем была эта писанина, убей бог, не помню. Мысленно перебираю всевозможные темы, но не слышу в себе ответного толчка узнавания. И для кого я писал, не помню. Для фронта или для тыла, или для жителей оккупированных территорий, чтобы их подбодрить, а может, для юных фронтовиков, обращаясь к горячему комсомольскому сердцу. Твердо убежден, что это было никому не нужно. Мне думается, мои материалы просматривались Хайкиной и ее начальством, визировались и выбрасывались. Но наверняка попадали в отчет о проделанной работе, с которым знакомились другие бездельники, скрепляли своей подписью и передавали выше. Склонен думать, что мой скорбный труд значился в отчетах, так же идущих с этажа на этаж в здании наискосок от комсомольской цитадели — в сером доме на Старой площади. До Верховного Главнокомандующего эти отчеты все же не доходили, успокаиваясь недалеко от вершины пирамиды в сейфе отдела пропаганды под кодом либо «хранить вечно», либо «совершенно секретно».

Денег мне не платили и даже указали на бестактность подписи под материалами. Надо было довольствоваться сознанием, что ты включен в большое конспиративное дело. Я понимаю, зачем это было нужно Хайкиной, ее начальнику, начальнику ее начальника и все выше и выше и выше, они получали за это оклад, паек, некомплектное обмундирование, личное оружие и боеприпас, но зачем это было нужно мне, так и осталось тайной.

Московская победа все расставила по своим местам. Если б не Хайкина, я бы считал, что холодное, мрачное, пустынное здание на Маросейке, мои походы туда с таинственной писаниной мне просто приснились в похмельном сне, но Хайкина объявилась через много-много лет в виде старой, седой, довольно благообразной, все время плачущей еврей-

ской бабушки, чтобы попрощаться в связи с ее отъездом на историческую родину в США. Антисемитизм доконал-таки эту комсомольскую Жанну д'Арк. Мне кажется, она отыскала меня, чтобы в моем лице проститься со своим героическим прошлым. Она должна была уйти последней из горящей Москвы с пистолетом на тощей ягодице, она уходила в общем потоке, безоружная, с обуглившимся сердцем...

Один наш знакомый порекомендовал меня отделу контрпропаганды ГлавПУРа. В это время формировались новые фронты со всеми полагающимися службами, газетами и т.п. Люди, владеющие немецким, шли нарасхват в седьмых отделах и газетах для войск противника. У меня даже не спросили документов, оформили с быстротой, невероятной для советских учреждений, особенно военных, где принято медленно поспешать — кутузовская стратегия, выдали обмундирование — офицерское, сапоги — кирзовые, бойцовские, дерматиновую сумку, из того же материала кобуру — без наполнения, и шапку-ушанку из поддельного ярко-рыжего демаскирующего меха, навесили кубари и вручили предписание со зловещим словом «убыть» на Волховский фронт, в распоряжение ПУ, что я незамедлительно выполнил.

И тут еврейская тема надолго закрылась для меня. Сталин ненавидел евреев, но, поскольку он разыгрывал в борьбе с Гитлером и еврейскую карту, приходилось маскировать свою жидофобию. Сталин всегда старался решать две задачи одновременно: блокадным Ленинградом он сдерживал значительные силы немцев и заодно изводил голодом ненавистный с революционных дней город. Страх перед Ленинградом питался памятью о Кронштадтском мятеже, зиновьевской самостоятельности, объявленной оппозицией, и — поразительная наивность в таком ушедом человеке — революционностью ленинградского пролетариата. Рафинированную интеллигенцию бывшей российской столицы он тоже не выносил.

Любопытно, что высокий замысел Сталина разгадали крысы, дружно покинувшие незадолго перед началом блокады Бадаевские склады. Крысы прошли Невским, остановив все уличное движение, и скрылись в портовых складских

помещениях и трюмах кораблей, а ночью запылали ни с того ни с сего гигантские Бадаевские склады, оставив Ленинград без продовольствия.

Конечно, Сталину хотелось бы под шумок войны разделаться с евреями, но он не мог стать дублером Гитлера. Адольф так далеко зашел на этом пути, что при всем старании Сталин обречен был оставаться его слабой тенью. Это унижительно. А главное, невыгодно политически. До поры Гитлер, отнюдь того не желая, спасал русских евреев.

Я читал в каких-то зарубежных изданиях, что подспудный антисемитизм начинался во время войны в армии. Но, очевидно, это касалось высших этажей командного состава, ни на передовой, ни во втором эшелоне я ничего подобного не наблюдал. В угоду союзникам и в пику Гитлеру в победных сталинских приказах — когда начались победы — неизменно звучали две-три еврейские фамилии, чаще других Драгунского и Крейзера. Думаю, что и лихой кавалерийский генерал, бывший бухгалтер Комитета кинематографии Осликовский был тоже грамотен по-еврейски. Хотя, как уверял один из персонажей Бабеля, еврей, севший на лошадь, уже не еврей.

Иосифу Виссарионовичу пришлось потерпеть еще несколько лет после окончания войны, хотя нервы были на пределе. Шесть миллионов уничтоженных евреев произвели впечатление даже на ледяное сердце мира, слово «геноцид» означало преступление против человечества, люди плакали над дневником девочки Анны Франк и подвигом учителя Корчака. Но подспудная работа уже велась, и руководящие кадры ориентировались должным образом...

10

В мою задачу не входит рассмотрение вопроса о положении евреев в Советском Союзе, мне это не по плечу, я пишу о себе, о судьбе и мировосприятии человека, прошедшего, по выражению остряка Губермана, «нелегкий путь из евреев в греки».

Поэтому о могучем антисемитском взрыве, произошедшем у нас в последние годы жизни Сталина, я скажу кратко, он меня не коснулся. То был взрыв замедленного, если так позволено сказать, действия. Не единая, все уничтожающая вспышка, как в Хиросиме, а некий постепенно нарастающий, с временными затуханиями, огневой вал.

Самые сильные взвеи: борьба с космополитизмом, дело Пролетарского района, дело «врачей-отравителей».

На Западе существует мнение, что Сталин видел в евреях «пятую» колонну. Он мог им полностью доверять во время войны с Гитлером, для евреев, в отличие от русских, не существовало плена, но не мог испытывать того же доверия, когда главным врагом стала насквозь проевреенная Америка. А на этот грунт накладывалось личное отношение. Воистину зоологическая ненависть не мешала ему держать в личном приближении омерзительного еврея Кагановича. Он был ему нужен? Наверное, но Сталин легко жертвовал и более нужными и куда более ценными людьми. Каганович удостоверял в глазах мира его лояльность к евреям. Да, Сталин умел, когда требовалось, наступать на горло собственной песне. А евреям он не доверял в той же мере, что и всем остальным народам советской державы, включая русских, не больше. Он не мог серьезно относиться к еврейской «пятой» колонне, ибо хорошо знал, что все заговоры и злоумышления против советской власти, равно вредительство и шпионаж, рождаются в его собственном воображении на предмет профилактической чистки и утверждения себя един-

ственного. Несмотря на трогательные усилия высоколобых Европы оправдывать любое злодейство страны социализма и ее лидера, антисемитизм влетал плевелы и тернии в венок из белых роз, которым увенчала Сталина победа над Гитлером. Паранойя Сталина сказывалась в чрезмерной, ненужной жестокости, кровавом перехлесте всех его деяний, извращенной подлости в отношении близких людей, но изначальный замысел был неизменно точен, логичен с позиции его цели — ни следа безумия. Он просчитался с Гитлером не потому, что свято верил ему или был по уши влюблен — это годится для сатиры, гротеска (Гитлер, конечно, импонировал ему, как и он Гитлеру), а потому, что случай нарушил точный расчет. Все было сделано безукоризненно: он запудрил мозги Адольфу договором о дружбе, дележом Польши, всемерной помощью сражающемуся рейху, одновременно заказал нашей промышленности танки на резиновом ходу — для гладких европейских дорог и самолеты-штурмовики без заднего прикрытия — все только на атаку, на мгновенный сокрушительный удар. Раздавить Гитлера и пройти, как нагретый нож сквозь масло, уже распотрошенную его временным другом и союзником Европу — вот в чем состоял сталинский план. Ему не хватило какого-то темпа, Гитлер опередил его себе на погибель. А ведь неизвестно, как бы повела себя наступательная машина Сталина, если бы оборонительная развалилась, словно трухлявый забор. Гитлер узнал о быстроходных танках и рискованных штурмовиках, понял все коварство Сталина и нанес превентивный удар. Историю сделали не главные действующие лица мировой трагедии, а шустрая немецкая разведка. Гитлер был слишком импульсивен — художественная натура, — он же видел в Финляндии, как воюет Сталин.

Не менее точен был и расчет Сталина в отношении евреев. Ненависть тут ни при чем — острая приправа к блюду, — он не истерик Гитлер. Но он уже понял до конца, что для его глобальных планов в отношении Европы и всего мира ему нужен только русский народ, самый большой, самый терпеливый, покорный, безответный, мягкая глина в руках Ваятеля истории. Все остальные народы, населяющие четырнадцать союзных республик, для этих целей непригодны, а держать их на привязи

можно с помощью уже действующей, отлаженной системы угнетения, ослабляя удавку лишь на «дни культуры» в Большом театре, когда непрерывный гопак, или удары локтем по бубну, или заунывный вздерг струны дутара, зурны, или протяжная дойна компенсируют колониальному народу утрату национальной самостоятельности. От русских дробцами не откупишься, надо что-то посуущественней. Но ничего существенного дать народу, предназначенному на непрерывное заклятие, Сталин не мог: ни земли, ни жилища, ни еды, ни одежды, ни предметов быта, ни тем паче свободы, да и кому она нужна? Но он мог дать нечто большее, довлеющее самой глубинной сути русского народа, такое желанное и сладкое, что с ним и водка становится крепче, и хлеб вкуснее, и душа горячее, — антисемитизм. То была воистину высокая плата за подвиг русского народа в Отечественную войну, за все неисчислимые потери, уже понесенные и предстоящие, за обреченность на дурную, нищую жизнь и новые чудовищные эксперименты. Параноиком был не Сталин, а все остальные, кто не верил в его антисемитизм, доказывал теоретическую невозможность расизма в социалистической и к тому же многонациональной стране. Сталин блистательно опроверг этих недоумков.

Вакханалия антисемитизма началась как будто бы с чепухи: с раскрытия псевдонима, что, кстати сказать, в стране с действующим авторским правом является противозаконным. Но поскольку в нашей стране никогда не было ни права, ни закона, новация лишь слегка встревожила интеллигентскую среду: зачем это сделали? В мрачной газете «Культура и жизнь», возглавляемой сталинской идеологической дубинкой Александровым, появилась разносная статья «Гнилая повесть и неразборчивая редакция». Тут была изящная игра слов, ибо «Редакцией» называлась сама гнилая повесть молодого писателя-фронтовика Н. Мельникова, опубликованная неразборчивой редакцией «Знамени». Почему прицепились к этой небольшой скромной талантливой повести, было бы вовсе непонятно, если б не одна маленькая подробность. Оклеветал фронтовую печать и военных журналистов не просто Н. Мельников, а Н. Мельников (Мельман). Пора было выступать в поход, сигнал был дан, труба сыграла, а ничего более подходящего, как на грех, в этот

исторический момент не оказалось. Для пользы дела пожертвовали высокопатриотическим журналом и сверхпреданным — до подлости, до предательства — главным редактором Всеволодом Вишневским, которого в свое время использовали для травли Булгакова. Упомяну как о курьезе, я тоже попал в эту статью. В том же номере «Знамени» был опубликован мой очерк о председателе колхоза Татьяне Дьяченко, фигуре изумительно колоритной. Очерк был вскользь назван «слабым» и противопоставлен «хорошему» очерку Галины Николаевой, напечатанному раньше. Кто помнит этот «хороший» очерк, а мой очерк стал много раз издававшейся киноповестью, известным фильмом «Бабье царство» (премия в Сан-Себастьян), пьесой, годы не сходившей со сцены Ленкома, оперой, в золотом фонде радиокомитета хранится трехчасовая запись великой артистки Турчаниновой, читавшей этот «слабый» очерк. Но я понадобился лишь для общей картины упадка журнала, больше обо мне не вспоминали, а моего друга Мельникова (Мельмана) принялись травить столь усердно, что, проснувшись однажды поутру, он обнаружил все свои красивые пепельные волосы на подушке. То было единственное, чем он отозвался на «партийную критику». Он не каялся, не писал жалких писем «наверх», не бил себя в грудь на собраниях. Он жил, как жил прежде, с друзьями, выпивкой, писал в стол, и, что крайне редко бывает, его волосы отросли, хотя цвет их стал как-то печальнее.

Между тем выяснилось, что его зять, известный критик Борис Рунин — вот умора! — Рубинштейн, и пошло обвалом раскрытие псевдонимов. Оказалось, что наша литература поражена смертельно опасным грибок, имя которому космополитизм — раболепное преклонение перед Западом, и распространяют этот грибок люди, прикрывшиеся русскими фамилиями. Есть, конечно, и вовсе бесстыжис, вроде театральных критиков Юзовского и Гурвича, но подавляющее большинство из трусости или коварства замаскировались под русских. Ну и веселились же, читая о Петрове (Рабиновиче), разом всплывшие из темных глубин уже сговорившиеся, организовавшие в крепкую команду черносотенцы. Семя упало на хорошо подготовленную и унавоженную почву — выступление «Культуры и жизни» было громом с ясного неба для таких лопухов, как мы, а в

эшелонах власти, в том числе литературных, все было давно известно. У них и своя поэмка имелась «Кому на Руси жить хорошо». Конечно, жидам, которые, «наевшись чеснока», собираются в «Арагви» для своих заговорщицких — против русского народа — дел. Подлы, но простодушны эти заговорщицки — избрали конспиративным штабом самый популярный в Москве ресторан, под боком у Моссовета. Но глупость в политике всегда желанная гостья. Ведь политика имеет целью не избранных, а массу, то есть стадо идиотов, для которых чем глупее, тем доходчивей и лучше.

Редкая кампания проходила с таким успехом и неподдельным энтузиазмом. Пародией на некрасовскую скорбь упивались. Космополитов ненавидели и презирали. Наконец-то русским людям открылось, почему они плохо живут, а как еще жить, когда безродные схватили за горло! Трудящиеся возмущались, коллективы требовали расправы. Низкопоклонников поносили едва ли не хлеще, чем в свое время инженеров-вредителей, троцкистов и всех осужденных по процессам тридцатых годов. С литературы перекинулось в кино, изобразительное искусство, науку, и пошло-поехало! И поднимался в темных душах извечный русский вопрос: уж не начать ли спасти Россию старым проверенным способом? Но для этого, видимо, еще не настал час. Сталин не спешил. Ему некуда было спешить. Он следил за реакцией Запада. Она, как всегда, была благоприятной. С чисто азиатской, примитивной, но безошибочно действующей на тех, кто хочет быть обманут, хитростью он позаботился, чтобы в первый и главный список безродных космополитов включили писателя с русской фамилией, которая была его собственной: в жертву принесли драматурга Малюгина. Его вина заключалась в том, что он сделал когда-то инсценировку «Ночного автобуса» — сценария нашумевшего фильма. Высоколобые Кембриджа, Оксфорда и всех других мест обитания высоколобых немедленно заглотали наживку жадными ротиками и принялись галдеть: «Какой еще антисемитизм? А мистер Малюгин?» Пройдет немного времени, и те же «быстрые разумом Невтоны» будут отрицать антисемитскую подоплеку дела «врачей-отравителей»: «Какой антисемитизм? А мистер Виноградов?» Боже, милый боже, покарай этих самодовольных и самоуверенных кретинов!..

Сталинский апокалипсис странно тяготел к комизму. Это его качество в полной мере проявилось в борьбе с безродными космополитами и низкопоклонством перед Западом. Отстаивая русский приоритет во всех областях человеческой деятельности, дошли до полного маразма. Атом первым расщепил Ивашка Хмырев в XII веке, когда колот дрова. СССР — родина слонов. Это ведь не анекдоты, а крошечный сдвиг вполне серьезных утверждений советской пропаганды тех лет. Наследство Сталина не разбазарили его преемники, сохранив и комическую окраску злодеяний. Чего стоили людоедские требования трудовых коллективов уничтожить Пастернака, начинающиеся стереотипно: «Мы Пастернака, конечно, не читали, но...» Хрущевские разборки породили самую длинную фамилию в мире: «Ипримкнувшийкнимшепилов».

Кампания борьбы с космополитизмом была глупа по изначальной формулировке, ведь космополит, космополитизм — от века высокие слова, означающие приятие мира в целом, свободу от узких национальных амбиций, в сущности, это тот же интернационализм — основа советской идеологии, которую Сталин предал. Но при всей глупости и смехотворности кампания эта была предельно, трагически серьезна, что тогда мало кто понял, ибо означала решительный поворот к фашизму. Отныне между идеологиями коммунизма и национал-социализма можно было поставить знак равенства. Как бы потом ни колебалась линия партии, какие бы оттепели и перестройки ни тревожили стоячих вод нашего бытия, лишенного действительности, отношение к евреям — лакмусовая бумажка любой политики — не менялось, ибо неизменным оставалась основа — русский шовинизм. И никакой другой эта страна быть не может, не следует обманываться.

Таковы сегодняшние рассуждения, а тогда рассуждали по-другому. Борьба с космополитизмом оказалась первым советским мероприятием, не затронувшим нашу семью, до этого мы регулярно приносили искупительную жертву, а то и две. Как я уже говорил, статья-затравка «Культуры и жизни» задела меня крыльшком, последствий это не имело, кроме того, что я долго не мог опубликовать «слабый» очерк в книге. Прогнозы отчима звучали оптимистически. Евреи и в самом деле зарвались, после

войны с ними носят во всем мире, как нищий с писаной торбой. Сталин обязан был сделать жест в сторону русского народа. Его цель не растоптать евреев, а поднять самосознание русских. Настоящий антисемитизм у нас невозможен. Никто не станет копаться в прошлом человека, у которого в паспорте стоит «русский» и русская фамилия. Грузин Сталин не может вести национальную русскую политику. Мать ему возражала. В настоящий махровый антисемитизм я тоже не верю, говорила она, гитлеризм у всех на памяти. Но насчет Сталина ты ошибаешься. Именно потому, что он грузин, он будет русопятствовать. Смотри, он хочет, чтобы забыли о его грузинском происхождении. Как его играли раньше в кино и как играют сейчас? Геловани играл грузина: внешность, акцент, интонация, характерный жест. Теперь играет Алешка Дикий, сырой русак, пьяница, играет без акцента, без всякой восточной специфики — умного русского мужика.

Я вспоминаю об этом разговоре, и он сразу переходит в другой — исхода пятьдесят второго года, словно мать и отчим продолжали его без перерыва. На этот раз отчим отвергал антисемитскую подоплеку дела «врачей-отравителей», потому что не допускал их невиновности.

И чего я ополчаюсь на высоколобых, сидящих в своих закупоренных кабинетах в разных Оксфордах и Гарвардах, лишенных объективной информации, зашоренных воспитанием и моралью и потому начисто неспособных судить о глухих советских делах, когда в нашей собственной измученной семье человек, на своей шкуре испытавший бред и ужас тридцать седьмого года, распрощавшийся с наивными интеллигентскими иллюзиями, с «запечатанным» ртом, никак не мог поверить в абсолютный уголовный цинизм этого строя и взглянуть в истинное лицо Сталина.

— Ведь это так понятно и так соблазнительно для людей, распоряжающихся здоровьем и жизнью Сталина, убрать его подтихую, — рассуждал отчим. — Никому бы и в голову не вспало, что дело нечисто. Удивляться надо другому, почему этого до сих пор не сделали. Не решались, тянули и попались. Неужели можно допустить, что в официальном сообщении будут называть разведки, заказавшие убийство, без достаточных оснований?

Тот же «Джойнт» немедленно опровергнет поклеп и осрамит нас перед всем миром. Так грубо никто не работает.

— Не работает? — Мать гладила белье электрическим утюгом. Она проверила пальцем жар утюга и болезненно сморщилась. — А процессы тридцатых годов? Там тоже были обвинения в связях с иностранными разведками.

— А ты думаешь, их не было?

— Боже мой! Ты так ничему не научился. Как был доверчивым дурнем, так и остался. Значит, Мара поджигал Бакшеевские торфоразработки, Мейерхольд шпионил, Верочка Прохорова готовила покушение на Сталина, певичка Разина возглавляла террористический центр, а вечно пьяный Леонид Соловьев — неуловимый разведчик «Интеллидженс сервис»?

— Не надо передергивать...

— Надо! — И мать запустила ему утюгом в голову.

Отчим уклонился, не столь ловко, как Федор Иванович Тютчев от утюга, посланного слабой рукой Денисьевой, ему задело надбровную дугу. Он плохо держал боль, закричал, стал метаться в поисках йода, ваты, бинта. Мать не сдвинулась с места, чтобы ему помочь. Свой жест в этом происшествии я не помню.

Залив ранку йодом и заклеив пластырем, отчим объявил мать сумасшедшей.

— Да, — печально согласилась мать, — я действительно сумасшедшая, если прожила четверть века с таким дебилом. Мне казалось, ты хоть чему-то научился, а ты застыл на том времени, когда хотел отдать руку за Сталина.

— Когда это было? — смутился отчим.

— Когда я тебя чуть не убила в первый раз. Но в третий — я не промахнусь.

— Оставь утюг в покое! — закричал отчим...

Мне захотелось соединить два разговора между мамой и отчимом в одну дискуссию, и я пропустил целый период жизни. О нем стоит вспомнить, он имеет отношение к моей теме...

11

За годы, предшествовавшие бескровному еврейскому погрому... Стоп! Я написал эти слова, как бы провалившись в те далекие дни, когда мы и знать не знали, что в подвалах НКВД расстреляны ни в чем не повинные крупнейшие еврейские писатели: Ицик Фефер, Перец Маркиш, Лев Квитко... Словом, в эти годы я чрезвычайно укрепился в своей русской сути, чему способствовала вторая жена, приведшая меня в истинно русский и высокосоветский номенклатурный дом. Тут к евреям было двоякое отношение. Если они просто появлялись в доме, что случалось нечасто, к ним относились как к иностранцам — предупредительно и вежливо-отчужденно. Если же они оказывались в родне, то как к больным стыдной и неизлечимой болезнью. Этой болезнью страдал близкий родственник моего тестя, инженер-полковник Александр Иванович Артюхин, пьяница, хулиган, сорвиголова, по матери еврей.

Круглолицый, курносый, правда, черноволосый, но брюнетов русских не меньше, чем блондинов-евреев, Артюхин и внешне, и внутренне был русским вахлаком. Он, как говорят в психиатрии, еще и огравировал свою сермяжность, тщательно следя, чтобы не проскользнула чужеродная — от мамочки — тонкость. В светло-карих грустных глазах его порой мелькал далекий свет разума, не подходившего к кабацким речам и разнузданному поведению. Его принимали, им не брезговали, но не было случая, чтобы новому гостю не сообщили двусмысленным шепотком: а знаете, Артюхин еврей! И это звучало так: не доверяйте видимости, у него спинная сухотка.

До сих пор не понимаю, почему этот дом не споткнулся на моем отчестве, меня сразу и навсегда приняли как своего, русского без сучка и задоринки и даже с юдофобским душком.

Это льстило. Я подмечал порой на себе недоуменно-завистливый взгляд грустных глаз Артюхина, его томили подозрения и ранила моя полная ангажированность в доме, где он ходит с незримой шестиконечной звездой. Я всем обязан моей матери, в которой они, люди простые, взволнованно почувствовали барыню — из т е х. И так этим пленились, что не могли заподозрить ее в мезальянсе. Они легко поверили бы, что я принц или сын губернатора, но никак не одноделец Артюхина.

Новая семья сильно русифицировала меня. Я научился не пить, а осаживаться водкой, научился опохмеляться так основательно, что нередко это переходило в новую пьянку. Раньше я покорно мучился разрывной головной болью и думать не мог о водке, а теперь освоил разные способы опохмелки: водкой, пивом, огуречным рассолом. Научился — при полном отсутствии слуха и чувства ритма — плясать русскую и польку-бабочку; стал пользоваться матом не только для ругани, но и для дружеского общения (странно, что армия не научила меня всем этим полезным вещам). Были важные открытия. Одно из них: пьяный русский человек не отвечает за свое поведение во хмелю, и никто не вправе предъявлять ему претензий. Некоторые промахи гостей обсуждались на кухне за опохмелкой: один пукнул в лицо домработнице, помогавшей ему надеть ботинки; другой кончил на единственное выходное платье нашей приятельницы, когда та позволила ему ночью прилечь к ней на диван; третий наблевал в ванну, потому что в уборной блевал другой гость; кто-то вынул член за столом и пытался всучить малознакомой соседке; сестра тещи обмочилась во время пляски; старая ее подруга танцевала шуточный канкан, забыв, что на ней нет штанишек, но эти «бетизы», как говаривал Лесков, вызывали скорее усмешливое удивление, нежели осуждение. Если же и был укор, то касался он не самого проступка, а побочных обстоятельств. Например: какой молодой мужчина носит сейчас ботинки? Или: когда член с наперсток, неудобно его даже своим предлагать, не то что незнакомой даме.

Тут жили и гуляли бурно: со слезами, скандалами, иногда мордобитием, все это служило хорошей подпиткой моей расцветающей русской душе.

Я не оскотинился вконец, потому что меня поддерживал нравственно другой дом, с которым я был связан едва ли не теснее, чем с домом моей жены. Я имею в виду не семейную нашу коробочку в писательском доме по улице Фурманова, там было нехорошо и печально: долго болел отчим тромбофлебитом — эта болезнь стоила ноги его брату; мама умудрилась подхватить сыпнотифозную вошь в электричке (первый раз она болела сыпным тифом в гражданскую войну); тяжело недужила переходящими из одной в другую хворостями старая Вероня, — а дом напротив, где в квартире первого этажа жила семья Надежды Николаевны Прохоровой, вдовы наследника хозяина «Трех гор». Могучий старец, создавший самую мощную мануфактуру в Москве, был любимцем рабочих, но это ничуть не расположило советскую власть к его потомкам. Прохоров-сын успел умереть своей смертью, оставив семью в благородной бедности, чтобы не сказать — нищете. Быть может, холодность властей объяснялась тем, что по отцу Надежда Николаевна была Гучкова, дочь министра Временного правительства. Ее не посадили, и на том спасибо. Посадили ее сестру, которая изображена рядом с ней на очаровательном рисунке В. Серова «Сестры Гучковы». Дочь этой Гучковой находилась на попечении Надежды Николаевны.

После контузии и возвращения в Москву меня направили в страшную психушку Кащенко, откуда я бежал в тот же день. Мне стали восстанавливать душу в домашних условиях с помощью психиатра Маргулиса и невропатолога Минора. Чтобы занять мой день, мне взяли учительницу английского языка Надежду Николаевну Прохорову. Так познакомился я с ней, затем с ее дочерью Верочкой и племянницей Любочкой, буду называть их милыми именами нашей молодости. Вошел я в их дом уже после внезапной кончины Надежды Николаевны и тогда познакомился, а там и сдружился еще с одним членом семьи — худющим, длинновязым рыжим гением Святославом Рихтером. Он был другом Верочки и, бездомный, жил у них.

Встретился я там с личностью куда менее привлекательной — Игорем Шапаревичем, другом Любочки. Профессор

и доктор математических наук в двадцать лет, он решал задачу Галуа, завещанную поколениям математиков юным французским гением, погибшим на дуэли. Шапаревич эту задачу блистательно решил, за что был увенчан академическими лаврами, высшей премией, после чего, устав от формул и вычислений, на какое-то время стал активным участником правозащитного движения, сподвижником и другом Солженицына, автором замечательной книги «Социализм как воля к смерти». Но завершил свои духовные искания самым неожиданным образом, превратившись в теоретика еврейского погрома и одного из самых яростных юдофобов страны. Вот чем успокоилось его сердце, как говорят в карточном гадании. Прохоровы объясняли падение их друга, отца Любочкиной дочери, тем, что он был учеником слепого математика Понтрягина, зоологического антисемита, а тот прошел науку у академика Виноградова, отца новой математической школы и дедушки нового антисемитизма. Игорь (в доме Прохоровых его звали ласково — Ирочка) подхватил эстафету своих учителей. Почему в России математический гений переплетен с жидоедством, мне непонятно. Шапаревичу евреи обязаны прозвищем «малый народ». Он создал теорию, согласно которой малый народ проник в утробу большому народу, как хорек в медведя, и выгрызает его изнутри. Если медведь — Россия не спохватится и не задушит в своем чреве хорька — жида, ей конец.

Шапаревич, чернявый, темноглазый и смугловатый, выдает себя за белоруса, но мне кажется, он является типичным подтверждением закона Вейнингера: антисемитами обычно бывают люди, несущие еврея в себе. Если даже так, то «Память» и все черносотенное движение закрывают на это глаза, счастливые иметь в своих непросвещенных рядах такого теоретика.

Но в ту пору Ирочка таился — совсем по-тютчевски: «Молчи, скрывайся и таи /И мысли и мечты свои», или еще не проникся святой верой своих учителей, да его бы в два счета выгнали из дома, как навонявшего конюха, здесь молились на Пастернака, здесь царил чистый дух всемирности. И казалось, он дышит тем же воздухом.

Одно настораживало: в нем не было присущих всем нам естественности и открытости. Он играл в человека другой эпохи, случайно заброшенного в нашу грубую действительность, от которой он защищался старомодной, чуть отстраняющей, нелюбезной вежливостью, словоерсами, высвистываемыми в зубные щели, рассеянным прищуром человека, разбуженного среди ночи. Позже он добавил к этому некоторую сумасшедшинку.

Налет безумия появился, когда Любочка захотела ребенка. Эгоист и эгоцентрик до мозга костей, безобразно забалованный родителями, видевшими в нем гения из гениев, Ирочка не хотел никакой ответственности, не хотел становиться взрослым. Он предупредил Любочку, что не увидит лица своего ребенка. Но разве может что-нибудь остановить женщину, когда разыграл инстинкт материнства? Со второго захода Любочке удалось выносить дитя, родилась девочка. Ирочка сдержал слово: он давал деньги на ребенка, но отказался его видеть. Однажды — это было годы спустя, когда гнездо распалось: Слава Рихтер женился, Вера находилась в лагере, — дочь Шапаревича Олечка вбежала в комнату, где находился отец-невидимка. С воплем боли и ужаса Шапаревич выпрыгнул в окно. Он не слишком рисковал, квартира находилась на первом этаже.

Унаследовав способности отца, Оля поступила на математическое отделение МГУ. Однажды в университетском коридоре она столкнулась нос к носу с отцом, сделавшим вид, что он ее не знает. Оля заступила ему дорогу: «Знаешь, папа, хватит валять дурака».

Казалось, Шапаревич смирился. Оля делала ему честь: живая, одаренная, очень умная, она была похожа на обоих родителей, сумев растворить в материнской, но юной, свежей милоте непривлекательность отцовских черт. Летом все вместе поехали на дачу. Усталая, измотанная неблагодарной жизнью Любочка думала, что наконец-то ей засветило солнце. Она плохо знала характер своего долговременного спутника. Вскоре он привел в дом некрасивую, скучную, не нужную самой себе женщину и представил как свою жену. Не заставил себя ждать и ребенок. Растоптав преданное сердце безответного человека, унизив

собственную дочь, Шапаревич великодушно разрешил им оставаться при нем.

Это хладнокровный негодяй. Недавно Американская академия, нерасчетливо принявшая Шапаревича в свои ряды, попросила его эти ряды добровольно оставить. Выгнать его по статусу нельзя, но расизм, антисемитизм несовместимы со званием американского академика. Любой человек, обладающий хоть элементарным чувством приличия, немедленно вернул бы билет, но только не Шапаревич. Он ответил, что не видит оснований для своего ухода. Бесстыдство — неперемнная черта антисемита. В математике гений и злодейство вполне совместимы.

В ту пору дом Прохоровых служил мне противоядием от моей новой семьи. Я сбрасывал личину разухабистого, свойского малого и становился самим собой. Мы с Рихтером почти одновременно вышли на Пруста и поселились на круче Сен-Жерменского предместья. Когда я шел с улицы Горького в Нащокинский переулок, то как бы проделывал путь от Васьки Буслаева к Шарлю Свану.

Прекрасные лица сияли вокруг меня; если исключить Шапаревича, завсегдатаями дома были последние могикане той духовности, интеллигентности, веселой доброты, что вызрели в московском предреволюционном обществе на почве щедрого меценатства Морозовых, Мамонтовых, Третьяковых, Щукиных, Бахрушиных, Солдатенковых, Прохоровых. Многие из них смотрели на меня с бледно-порыжелых фотографий в резных деревянных рамочках, развешенных по залоснившимся от старости обоям. Пушкина вскормил крестьянский оброк, а скольким обязана русская культура щедрой мощне российских предпринимателей! Из их бездонной суммы время черпало новую живопись и скульптуру, стили и манеры, музыку и стихи, издательства, журналы, газеты, музеи, выставки — все богатство серебряного века и очень много тучного зерна, на котором жировала несытая от века русская интеллигенция. И сами толстосумы, Кит Китычи темного царства, раскрывались талантами Саввы Мамонтова, дивной неврастенией Саввы Морозова, сильной и нежной красотой своих жен. Буквально на глазах возникал новый,

безмерно привлекательный тип русского человека, но все рухнуло, и место Мамонтовых и Морозовых за пиршественным столом заняла моя новая родня. В их салонах замолк рахманиновский романс и зазвучало: «Гоп, стоп, Зоя, кому давала стоя?..»

Но с этой раздвоенностью я еще мог бы жить. Вскоре произошел куда более страшный разлом. Из лагеря вернулся «активированный по состоянию здоровья», что значит: опущенный из-за колючей проволоки для скорой смерти, — мой отец. Ему определили и место для умирания — городок Кохму, под боком у текстильного Иванова. Я стал ездить к нему и вытягивать из смерти. Мы тщательно скрывали его существование от моей новой семьи и от всех, кто мог нас заложить. Это было унижительно, мерзко с точки зрения естественной морали, но никто по такой морали не жил. Все жили по уставу: лишь бы уцелеть. Разница лишь в том, что одни согласны были уцелеть любой ценой, другие повышали эту цену лишь до определенного предела, за которым им уцелеть уже не хотелось. Первые — кто беззаботно, а кто мучительно — переходили от устного доноса к письменному, от предательства к клевете, хотя даже это не гарантировало спасения, другие являли собой мышей-героев. Им все равно приходилось поступаться совестью на каждом шагу, ведь и молчание перед злом — грех, да и нельзя было всегда молчать, жить следовало вслух, а значит, врать.

Я ездил к отцу, придумывая себе командировки от разных газет, иначе не достанешь билета, а без билета ездили лишь слепцы и поездные солисты, возил ему баулы и мешки с продовольствием, а в доме жены подшучивали, что фронт проходит через Иваново. Я ездил к нему и после войны, а в доме стали подозревать, что у меня в Иваново любовница-ткачиха, возможно, с ребенком. Все это было оскорбительно, противно, глупо, но я боялся своего сановного тестя, боялся и за себя, и за Мару. Ведь срок наказания еще не истек и формально он оставался политическим преступником. Тесть не спустит сыну врага народа, обманом проникшему в его дом, его длинная рука может дотянуться и до Кохмы. Ведь он сгноил в тюрьме младшего брата, пошедшего по дурной дорожке.

Но еще сильнее меня угнетало другое. Приезжая в Кохму, я из русака становился евреем. Тут уже не открутишься, не забьешь баки, — отец рядом, он смотрит на меня снизу вверх, такой он маленький, ведь я тоже не гигант, любящими бедными глазами, он все время держит меня за руку, словно боясь, что я убегу. И я убегаю через три-четыре дня, потому что мне нужно назад, в мою фальшивую, искусственную и такую ненадежную жизнь.

Но я еще не убежал. Мы гуляем по улицам Кохмы, и слово «жид» преследует меня. Жид!.. Жид!.. Жид!.. — кричат прохожие, уличные мальчишки, собаки с потными, грязными языками, козы в огородах, пыльные кусты акаций, рослые вязы, кирпичные стены Ясюнинской фабрики, где служит отец. Конечно, никто не кричит, но что мне до этого, если слово кричит внутри меня.

Мы выходим на главную площадь с розовой каланчой. Площадь носит имя Заменгофа, создателя языка эсперанто. Какое отношение имеет он к Кохме и какое отношение имеет Кохма к искусственному, никому не нужному языку и его изобретателю, непонятно. Никто здесь не знает, кто такой Заменгоф. Но площадь не переименовывают. Может быть, кохмомчане любят евреев, единственные на всю Россию, души в них не чают и ничего не могут с собой поделаться? Не исключено, что они составляют секту, вроде мормонов или молокан, секту жидовствующих, и готовы распахнуть мне объятия, если я сделаю хоть шаг им навстречу. Но я не сделаю. Я не верю в их любовь. Я боюсь их, смертельно боюсь свидетелей моего позора.

Мы покупаем водку в ларьке возле каланчи. Медленно бредем домой, у отца все время прихватывает сердце. И я напиваюсь. И плачу. Плачу от горя, что стыжусь того, что дано мне отцом. Ведь я люблю его. Я восхищаюсь им. Вот человек, который уцелел, в отличие от меня, хотя прошел ад. Все его осталось при нем. Эта удивительная незлобивость при полном понимании низости окружающих. И он вовсе не стесняется быть евреем. Ведь он не был им до революции, но стал им по собственному выбору. Он выбрал то, что хуже, другой выбор был бы для него унизителен. Боже мой, почему я не могу быть евреем, как все?!

Я думал о том, сколько времени мы с ним потеряли, ведь в детстве я видел его так мало, он жил какой-то своей жизнью и не давал себя любить. Потом, когда он вернулся из ссылки на короткое время, отпущенное ему до паспортизации, у нас не склеилось. Он чуть натужно и запоздало начал играть в отца: пытался помогать мне по математике, дававшейся мне с трудом, но легко раздражался, а это верный способ оттолкнуть меня. Я обидчив и злопамятен — приятный характер! — при этом добр и немстителен, так что злопамятство доставляет неудобство лишь мне самому. Ты вроде бы простил человеку свою обиду, вернулся к дружеским, доверчивым отношениям, а заноза в душе сидит и колется. Во мне нет свойственной многим людям настороженности, боязни обнаружить мягкое подбрюшье, может, поэтому я и нарываюсь чаще других, и вошедший в меня шип, как бы ни сложились отношения, уже не упадет. Конечно, отцу я простил маленькие давние обиды, он был слишком несчастен, и жалость перекрывала все, но мы не сблизились за тот без малого год, что жили вместе. Нас соединила навсегда колючая проволока Пинозерского лагеря, куда я к нему ездил перед войной.

Теперь я понимаю, откуда шли его нервность и нетерпимость, столь несвойственные ему, в доме была двусмысленная обстановка, ведь фактически мать уже имела другого мужа, который стал моим отчимом, как только Маре отказали в московском паспорте и возникла опасность, что мать ждет та же участь. Тогда они мгновенно развелись, и в тот же день, в том же загсе мать расписалась с отчимом — это делалось с идиллической простотой. Она получила чистый паспорт, тот самый «серпастый, молоткастый», которым так гордился на страх и зависть врагам Маяковский, и я был в него вписан. Мы остались в Москве. У отца с Рогачевым всегда были отношения взаимоуважения и живой приязни. Они нравились друг другу. Отец наивно поблагодарил его за оперативную помощь. Потом были грустные проводы отца в новый круг ада.

Совки, исповедующие героическую мораль, но лишённые обычной, на каждый день, могут строго спросить: почему моя

мать не последовала за мужем в его изгнание? Ведь декабристки через всю огромную, грязную и снежную Россию устремились на Нерчинские рудники к своим мужьям и суженым. Обладатель «гордого взора иноплеменного» с удивлением добавит: разве в Бакшееве нельзя было жить? Отвечу сперва на второй вопрос: нельзя, и Мária судьба это доказала. Случайный сброд, осевший на болотистой, смрадно дышащей подземным тлением почве, исходил скукой, злобой, завистью и доношением — в тщетной надежде такой ценой выгадать у судьбы. Мать скорее наложила бы на себя руки, чем обрекла меня на жизнь в Бакшееве. Не надо думать, что Бакшеево являлось каким-то монстром, вся страна сплошное Бакшеево, но в Москве и Ленинграде можно было создать себе непрочную изоляцию.

Отвечаю поклонникам декабристок. Мать давно уже была с другим, но ради Мары сохраняла видимость брака и семьи, чтобы ему было куда вернуться, сберегла его место. И не ее вина, что это оказалось гнездо кукушки...

Мара умер в канун моего дня рождения в 1952 году, он хотел сделать мне подарок: освободить от излишней низости. К тому времени моя московская география изменилась: в ней не стало престижного дома на улице Горького. Я не сказал бы, что «была без радости любовь», но вот разлука обошлась без печали. К этому времени мы с женой слишком далеко ушли друг от друга. К сожалению, не стало и милого дома в Нащокинском. Разумеется, физически не исчез этот крепкий дореволюционный доходный дом, но стал для меня чужим. Из него ушла душа — Верочка, которую посадили на десять лет по доносу ее нового друга, заменившего ей... сама пишет рука, нет, не заменившего Рихтера. А Любочка была занята своим молодым материнством, тяжелой борьбой за существование и за Шапаревича — расчетливого безумца.

Последние два года приезды отца (по истечении срока наказания ему разрешили проводить отпуск в Москве) стали чуть менее унижительны. Он познакомился с моей новой женой, близкой подругой матери, не было уже поспешных прятаний в ванную комнату при внезапном стуке в дверь. Если же кто-то непрошенный являлся, его выставляли вон, не

слишком затрудняясь предлогом. Мы устали бояться. Хотя время было страшное: уже разделились с Пролетарским районом, где сосредоточена чуть не вся московская промышленность; это смутное дело так и не попало на страницы газет (ходили слухи о шпионаже, вредительстве, все старые, знакомые мотивы, но звучали они как-то приглушенно). Когда же смрадные волны улеглись и можно было подсчитать потери, то оказалось, что пострадали, за редчайшим исключением, одни евреи: многих расстреляли, в том числе любимого помощника моего тестя и врачей из заводской поликлиники. Самого тестя за потерю бдительности понизили до директора небольшого авиационного завода. Другие получили предельно крупные сроки. Непонятное дело, в котором смешались директор завода «Динамо» и зубной врач, знаменитый конструктор автомобильного гиганта — да еще с женой — и заведующий заводским клубом. Состав был очень пестрый, объединяло одно — жида. Литературные евреи, еще не оправившиеся от борьбы с космополитизмом, упорно не хотели видеть в трагедии Пролетарского района антиеврейской подкладки. А уже зрело в страшном лоне власти дело «врачей-отравителей». И в то же время, повторяю, наш привычный страх полинял.

Сейчас тяжело и стыдно писать о надругательствах над отцом. Но тогда вся наша конспирация была так же естественна, как ночной ужас, холодный пот при резком автомобильном гудке под утро, как двоемыслие: что для дома, что на вынос, как участие в комедии выборов. Я вел рубрику в сельскохозяйственной газете «В Сталинском избирательном округе», и мне не только не плевали в лицо, но еще завидовали, что я нашел такую кормушку. При появлении очередного опуса Мара с доброй улыбкой говорил: «Еще одно достижение социалистического реализма».

Но на эту тему равное собеседование может быть лишь с теми, кто сам прошел все крути ада. И все-таки самым позорным воспоминанием тех лет во мне осталось то, что мы и Москву сделали для отца зоной...

12

Женщина, которую я назвал своей женой и которая была мне прекрасной женой, официально ею так и не стала. Поначалу этому помешало то, что она не была разведена со своим первым мужем, севшим еще в тридцать седьмом году, через месяц после женитьбы. Ко времени, о котором идет речь, он был отпущен на поселение, где женился вторично. А был указ: за двоеженство — два года тюрьмы, по году за каждую жену. Леля боялась привлечь к нему внимание заочным разводом, она и со вторым мужем, от которого имела ребенка, прожила нерасписанной. В дальнейшем нам помешали узаконить наши отношения другие причины, о них — ниже.

Леля ездила в Кохму хоронить Мару, я в ту пору надолго вышел из строя — рецидив контузии. Она была мне всем: лучшей из любовниц, самым верным и надежным другом, защитой от всех напастей, удивительно умела проникаться всеми моими интересами, будь это Лемешев, бега, грибная охота, балет, волейбол, автомобиль; она помогала мне собирать материал для идиотских статей о Сталинском избирательном участке, позднее — переводить прелестного «Бэмби» с немецкого. Я могу еще много говорить о ней: о ее поразительной ручной умелости, она умела руками все — шить, вышивать, делать шляпы, починить любой испорченный прибор, о ее уме и остроумии, собачьем нюхе на людей. Но и это еще не все. Она была чудовищной врушкой — и для дела, и совершенно бескорыстно. Последнее преобладало. Приведу один лишь пример. Я приехал поздравить Лелю с днем рождения, она ждала к ужину школьных подруг. Я спросил об одной из них, с чудными ореховыми волосами и странным именем: Марыся. Леля на мгновение задумалась,

лицо ее опечалилось, на ресницу набежала слеза. «Очень плохо. Не спрашивайте. Она в сумасшедшем доме». — «Боже мой, а есть надежда?» — «Увы... Она ест собственный кал». Леля чуть не плакала. Дернула же меня нелегкая завести этот разговор в день ее рождения! Я подыскивал слова для утешения, но тут в дверь позвонили, пришла Марыся. Оживленная, радостная, вокруг румяного лица метались легкие ореховые волосы. «Надеюсь, она не переела, у вас же ужин», — прошипел я в лицо Леле. Та сделала губами — пр! — и развела руками: мол, бывает. Зачем она наврала? Ей показалось, что наша короткая встреча слишком пресна, не останется в памяти. Возможно, она недавно читала о Мопассане в сумасшедшем доме. У него есть запись: «Господин Мопассан превратился в свинью», сделанная в коротком просветлении, когда несчастный обнаружил, что он делает то самое, в чем Леля обвинила Марысю. Леля казалась смущенной, но не пристыженной. Никто ведь не пострадал, но какой-то миг бытия наполнился ужасом, болью, состраданием, значит, он не скользнул мимо, а был пережит.

Сама Леля называла себя выдумщицей, фантазеркой, врунью — отвергала. Она зарабатывала на жизнь тем, что делала шляпки (по образованию историк) и постоянно обманывала заказчиц — умело и вдохновенно; она развила в себе воображение, как развивают мускулы, ее распирала потребность разнообразить рутинную жизнь.

Все перечисленные мною качества Лели, которые в таком сборе могут быть утомительны, были растворены в стихии женственности. Ни одна женщина не вызывала во мне такого желания, как Леля, и ни одна не шла навстречу с такой охотой. Мы занимались любовью там, где нас застало желание: в подворотнях, подъездах, на снежном сугробе у нее во дворе, на угольной куче в моем дворе, на крыше, на дереве, в реке, в машине, в лесу, на лугу, в городском саду, где всегда играет духовой оркестр, просто на улице, у водосточной трубы под шум дождя.

В старости она растолстела, перестала следить за собой, но в ту пору являла собой мой любимый тип «бельфам». Чуть выше среднего женского роста, она казалась высокой,

статная, с красивыми ногами, добрым, мягким лицом, носом уточкой, кареглазая, с пухлым ртом, она воплощала в себе ту скромную, уютную русскую милоту, лучше которой нет ничего на свете. И каково же было мое потрясение, когда оказалось, что она еврейка. У меня уже возникали подозрения на ее счет после знакомства с ее матерью — та же Леля, но осдобневшая, с чертами очень схожими, но как бы сместившимися в сторону Ближнего Востока. Леля со снисходительной улыбкой завятой вруньи уверила меня, что это бред. Мне хотелось верить, я знал ее дядю по отцу (черту лысому он был дядей), актера Малого театра Ивана Петровича Поварского (Поварешкина), и это укрепляло меня в желанном заблуждении. А потом все открылось, почти так же наивно и некрасиво, как в случае с сумасшедшей Марысей. Леля издала губами «пр!» и развела руками — номер не удался. На этот раз трагически для нее. Я сказал прямо и твердо, что никогда не свяжу с ней судьбу. Хватит мне мучений с самим собой, еще корчиться из-за жены-еврейки у меня нет душевных сил. Самое удивительное, что она со мной согласилась, до такой степени понимала меня.

У нас ничего не изменилось. Она меня так же любила, и я ее, и она оставалась для меня не менее желанной, старея, дурнея, это уже ничего не значило в той физиологической тайне, какой она для меня была. Ни с кем никогда не достигал я такой благостной исчерпанности, как с ней. Так длилось до моей последней женитьбы двадцать пять лет назад. Но душевную мою близость с ней не прервала и ее ранняя смерть.

Не так давно я узнал, что она говорила близким людям о моей жестокости. Наверное, она права, хотя я этой жестокости в себе не ощущал. И все же я предал ее, как предал отца, как предал самого себя. Но если б весь мир заорал на меня голосом во сто крат мощнее иерихонской трубы: опомнись, устыдись, это же фашизм наизнанку, — я не дрогнул бы. Мне не вышагнуть из самого себя, как, впрочем, и любому другому человеку. Мне понятно отчаяние Валтасара, хотя на моей стене начертаны другие огненные письмена: жид... жид... жид...

13

В иной исторической действительности, лет через десять после нашего объяснения с Лелей, в один из тех доверительных разговоров, что у нас сохранились с дней моей юности, я рассказал матери о том, что ныне поведал «городу и миру».

— Как странно, — сказала мать, покусывая губы, что было признаком волнения и озабоченности. — Я не знала, что это для тебя так серьезно.

Интонация искренности не могла ввести меня в заблуждение, она множество раз, с той неправдоподобной поры Армянского переуллка, когда слово «жид» впервые обожгло мне душу, могла убедиться, как остро и болезненно отношусь я к своему нерусскому происхождению. Но ведь человек слышит лишь то, что слышит, видит лишь то, что видит, угадывает лишь то, что хочет угадать, всяк служит только своему нраву, и ничего с этим не поделает. Думаю, что мать и сама за истекшие мрачные годы пересмотрела свое беспечное отношение к национальному вопросу, говоря языком газет. Ее фраза означала совсем другое, нежели сообщение о неосведомленности, — попытку самооправдания, сожаление...

Этот разговор происходил в исходе хрущевской оттепели, когда все перестали верить, что выдохшийся, отяжелевший Никита Сергеевич приведет нас из сопливой, насморочной поры, в которой мы безнадежно застряли, к пышному расцвету настоящей примаверы. Но мы привыкли к нему, к его хамству, пьянству, негубительным разносам и угрозам, к его честной некомпетентности и наивности, и все как-то устроились посреди квело́й социальной бестолочи.

Мы вели наш разговор на даче, которую построили из моего первого киношного заработка, кругом были наши

деревья и кусты, наши цветы и трава, наши клубника, малина, яблони, сливы, все это было для нас с отчимом ново и непривычно, а для матери наоборот — возвращение к старому, к собственности, пусть в очень скромном виде. И теперь у нее было главное — челядь: шофер, две домработницы, садовник, их можно считать дворовыми, а были еще оброчные: молочница, электрик, газовщик и «навсеруки» — он брался починить часы, сложить печь, принять ребенка, ни о чем, естественно, не имея понятия. Мама могла с полным правом повторить слова летописца Пимена: «На старости я сызнова живу». И жизнь эта казалась гарантированной. Никто не ждал ночного визита и гудка «черного воронка», даже доносы не слишком заботили. Люди потихоньку, полегоньку возвращались к себе, к своей истинной сути. Возможно, мать решила, что пора и мне узнать печальную быль своего начала.

Она посоветовалась с отчимом, потому что и он присутствовал при ее рассказе. Моим отцом был Кирилл Александрович Калитин, расстрелянный на реке, увековеченной Тургеневым, Красивой Мече, и для верности утопленный в ней в одно время с моим появлением на свет. Точная дата его гибели неизвестна. Это были те места, которые вскоре оказались плацдармом «антоновщины», как зловеще называли власти всплеск крестьянского отчаяния. Движение было беспощадно, с невероятной жестокостью подавлено крупным соединением молодой Красной Армии под командованием Тухачевского. Крестьяне просто хотели получить обещанную Лениным землю. Человек с ружьем, крестьянин в солдатской шинели, для того и пошел в революцию. А студенту Калитину, уроженцу Ефремова, под боком которого находилось именье его родителей, хотелось помочь землякам.

— Если б не Мара, неизвестно, остались бы мы с тобой живы, — сказала в заключение мать слова, определявшие все ее поведение. Она не хотела, чтобы кто-то потеснил его в моей душе. Но когда я рассказал о Леле, она решилась.

— За что его расстреляли? — спросил я.

— И утопили, — уточнил отчим.

— Он это уже знает, — холодно сказала мать. — Да ни за что. Война там еще не началась.

— За язык, — сказал отчим. — Как всех интеллигентов.

Было бы куда лучше, если б он стрелял. Мать напрасно опасалась, что романтический образ отца-жертвы вытеснит из моей души Мару. Узнавание прибавило мне ненависти, омерзения, но не любви.

Когда-то мне подарили изданный в Англии альбом с фотографиями, посвященными исходу старой России и революции. Там был ужасающий снимок. На длинный острый сук дерева нанизан через зад голый польский (почему-то) офицер, а вокруг лыбится красная солдатня, все те же крестьяне с ружьем. Насадив пленного на вертел, они потопают дальше убивать и умирать за землю и за волю. Эта отвратительная фотография мгновенно впечаталась мне в мозг, едва я услышал о расправе над ефремовским студентом. Конечно, на Красивой Мече было опрятнее: пуля и вода, еще подернутая вешним ледком. Наверное, ледок потрескивал, когда просовывали в воду тело мальчика, полюбившего больше жизни русского мужика. А в Москве его ждала женщина, которая так и не смогла выкурить из чрева нежеланный, никому не нужный плод, то есть меня. Чего бы я ни отдал, если б хоть один из моих многочисленных отцов был виноват перед этой проклятой властью. Они все страдали ни за что, даже студент, которому так дорог русский мужик, но помочь ему он пытался языком.

Получив от судьбы столь ошеломляющий подарок, я повел себя как хищник, перед которым внезапно распахнули дверцу клетки. Известно, что ни один хищник не совершает прыжка в долгожданную свободу, а довольно долго снует челноком возле отверстой дыры, как-то негодуяще рыча, утробно ворча, и уж затем не прыжком, а мелко семеня, выходит наружу, чтобы приняться за дело. Я, правда, не рычал, не ходил взад-вперед на мягких лапах, но укрылся на даче, целыми днями валялся на диване в кабинете и прокатывал через душу прожитую жизнь. Делал я это удивительно неэнергично, то и дело обрывая течение мысли и начиная сначала, и не понять, выверял ли я ход воспоминаний или

терял нить. Конечно, я очень устал душевно, неся свой груз, но привык к нему и, сбросив, испытывал не облегчение, а утрату державшего меня стержня. Я обвалился, запал в самого себя. Мне надо было разобраться в себе, прежде чем начать жить дальше, с новым знанием своей сути.

Теперь я понимал те странности в поведении матери, которые не раз озадачивали, а порой тяжело ошеломляли... Когда мы выбирали мне литературный псевдоним и отчим забраковал мамины родовые фамилии, она, будто решившись, но неуверенно предложила: Калитин, и я сразу согласился, прозвучала странная фраза: отчество ты, надеюсь, не станешь менять? Она понимала, что первый шаг прочь от Мары сделан, и не хотела, чтобы он выбыл из моей биографии. Она честно отслуживала ему свой долг и хотела от меня такой же преданности человеку, которому я обязан жизнью больше, чем случаю, неосмотрительности и несостоявшемуся убийству.

Понятно было, и почему она с легкостью предложила остаться в обреченной, как тогда казалось, Москве, мне в самом деле ничего не грозило. А моей безымянной деятельности у Хайкиной она не придала значения, уже поняв, что смены диктатора не будет.

Но мне надо было разобраться не только с этим. Почему-то лезут ассоциации из мира животных. Что почувствует павлин, если ему разом — без боли — выдрать хвост? Наверное, ужасный дискомфорт, стыд и горе, что лишился такой красоты. У меня тоже вырвали хвост, стыда я не чувствовал, скорее наоборот, но дискомфорт и сожаление были. Мамин род был для меня эфемерен. Я не знал ни дедушки, ни бабушки, покончивших самоубийством задолго до моего рождения, о тех же, кто им предшествовал, не имел никакого понятия, кроме того, что иные подвизались при дворе. А за Марой были живые лица: едва-едва мерцающий, дискретный, но милый образ бабушки и — весь плоть и жизнь, тепло и любовь — мой чудесный дед; через эту семью я был связан с историей вплоть до Петра, когда геройствовал ревельский, в пороховом дыму, генерал-майор Дальберг, но особенно жаль мне было лишиться генерал-лейтенанта

Дальберга, повернутого к мужичкам совсем иной стороной, чем бедный ефремовский студент, и немецкого чемпиона, игравшего с гениальным Морфи. Не хотелось терять — из другого рукава — знаменитого Герберта Маркузе и пианиста Блуменфельда, тут были личности, одолевшие время и безмолвие, а сейчас за мной зияла пустота, сбоку припека маячили — плохой художник Мясоедов да пушкинский дурак.

А почему я должен отказываться от тех, кто за Марой, в нем наша нерасторжимая связь...

14

Наконец я очухался, до конца осознав случившееся. Итак, я сын России, а не гость нежеланный. И я не обременен излишней благодарностью к стране березового ситца, ибо видел ее изнаночью, нет, истинную суть. Я в отличной физической форме и не боюсь драк, в том числе с применением вспомогательных режущих, колющих и дробящих кость предметов. Я могу дать кому угодно в морду, не опасаясь, что за плечами обиженного встанет вся страна огромная, готовая на смертный бой, ибо та же страна за моими плечами. Так что разборка пойдет один на один. Думалось об этом со сладостью и зубовным скрежетом. Почему-то иного способа реализовать обретенное богатство я не видел.

Лекарство, полученное от мамы, было сугубо внутреннего, но никак не наружного применения. Уточнениями в моей биографии я не мог ни украсить личное дело в отделе кадров Союза писателей, ни поделиться с друзьями. Среди преступлений коммунистического режима было два, которыми этот режим особенно дорожил: разгром Кронштадтского мятежа и ликвидация антоновщины. Быть может, потому, что здесь имелся не вымышленный, а реальный враг. С мятежными матросами и взбунтовавшимися крестьянами не надо иметь никаких связей.

Боясь разворошить много боли, я ни о чем не спрашивал мать. Но любопытство мое было все же растревожено. Меня не устраивала причина гибели студента, которая с подсазки отчима прозвучала: за язык. И что значит «за язык»? Если он просто болтал — это одно, если вел агитацию среди крестьян — другое. Надо было бы съездить в Ефремов, но ведь у нас невозможны нецелевые поездки. В гостиницу без командировочного удостоверения не попадешь, да и бдитель-

ность в райцентрах ничуть не уступает столичной. Если я буду мотаться по городу и расспрашивать встречных людей о человеке, чье имя может быть здесь одиозным, это плохо кончится. И тут мне повезло. Журнал «Знамя», членом редколлегии и постоянным автором которого я был, отправился в Ефремов для выступления на химическом комбинате имени Лебедева.

На подъезде к Ефремову мы миновали Красивую Мечу, узенькую невзрачную речушку, никак не отвечающую своему названию. Дело было ранней весной, речка то ли вскрылась, то ли не замерзала — угольно-черная полоска воды меж белых от снега плоских голых берегов как-то не связывалась со злодейством.

После выступления я все ждал, что кто-то из старых производственников пришлет мне записку или подойдет по окончании вечера с вопросом, не в родстве ли я с живущими в Ефремове Калитиными или проживавшими здесь раньше, но не дождался. Надежда не оставляла меня и во время затяжного банкета и на другой день, когда мы осматривали предприятие. Я уже смирился с неудачей, и вдруг что-то засветило. По существующей традиции нас водили по городу, хотя смотреть не на что, но пришлось подчиняться кропотливому энтузиазму гида-добровольца, учителя-пенсионера, основателя краевого музея. Завершив свою нудную экскурсию, он подошел ко мне и спросил, не в родстве ли я с ефремовскими старожилами Калитиными, последний из которых умер в глубокой старости два года назад. Это было до того похоже на то, что я придумал, что у меня слегка закружилась голова — нельзя предвидеть настолько буквально. Я ответил, что нахожусь в дальнем родстве с Калитиными, у которых под городом было имение. Он задумался. Да, он слышал об этих Калитиных, но спрашивал о других. Они не дворянского звания, из купцов. «Нет, к этим я отношения не имею. А вот подгородние меня интересуют». — «Вам надо поговорить с Буниным. Может, он знает». — «Это что — прозвище?» — спросил я. Он засмеялся. «Да нет, самый настоящий Бунин, сын младшего брата писателя. Он оказался единственным наследником

Ивана Алексеевича, но ни за что не хотел принять наследство, мол, никакого отношения он к этой семье не имеет». — «Боялся родственников за границей?» — «Нет, он ужасно стыдился, что незаконнорожденный. Родители не были повенчаны». — «Вы это серьезно?» — «Честное, благородное слово. Он так ничего и не взял, все передали в орловский дом Лескова». — «А что там было?» — «Что-то из мебели, книги, ничего ценного, если не знать, что это бунинское. Но еще деньги следовали». — «Какая странная гордость! Другой бы помер от счастья быть племянником автора «Лики». — «А он не читал. Он имени Бунина слышать не может. Но вам стоит с ним повидаться. Он старше вас и помнит прежнее время».

Этот славный человек устроил мне встречу с незаконным племянником моего любимого писателя. Наученный им, я словом не обмолвился о Бунине, просто спросил как старожилка, не знал ли он студента Калитина, пропавшего в годы гражданской войны.

Он долго молчал, жуя губами, и, как мне показалось, не только не пытался вспомнить, а, похоже, изгонял из сознания все воспоминания. Его мыслительный аппарат был направлен на разгадку подвоха, содержащегося в моем желании увидеть его и в заданном ему невинном вопросе. Одно неосторожное слово, и я, хитрая московская рожа, тут же приплету сюда Бунина и нанесу удар в самое больное место тонкой души бастарда.

Тогда я ему сказал, что это мой отец, которого я в глаза не видал и лишь недавно узнал о его существовании. Я не боялся этого совестливого и замкнутого человека. Возможно, ему привиделось тут что-то схожее с его бедой, но устричные створки разомкнулись и бесцветным голосом он сказал, что фамилия ему знакома.

— Тут были две семьи. Вы, очевидно, говорите о хуторянах... Кирилл Александрович... Был такой, носил студенческую тужурку... А где учился, не помню... В Москве? Он, похоже, учение бросил...

— Его расстреляли? — спросил я в упор.

— Не знаю! — Племянник Бунина чуть отстранился. — Он пропал.

— Его расстреляли на Красивой Мече.

— В те годы многих... прекратили.

— За что?

Он как-то странно посмотрел на меня.

— За сочувствие мужику. А подробностей не знаю. Я тогда мальчонкой был. — Он улыбнулся, показав кариозные зубы. — У него, как у вас, уши были прижаты к голове. А так не похож. Высокий, худой, лицо мягкое... Вы простите.

Когда мы возвращались в Москву и переезжали по мосту, уже в сумерках, Красивую Мечу, мы увидели голого человека, он стоял на берегу у самой кромки черной воды, спиной к реке, лицом в поле, прикрывая руками низ живота. Кругом ни души.

— Смотрите, морж! — воскликнул Катинев, ответственный секретарь журнала.

— Нет, это мой отец, — сказал я...

15

Может ли человек чувствовать происходящую в нем перемену? Мне кажется, нет. Во всяком случае, я этого никогда не чувствовал, хотя на протяжении долгой жизни такие перемены со мной происходили. Из дали лет их можно увидеть, особенно если тебя что-то подтолкнет. Когда-то одна известная писательница прислала мне письмо, где вспоминала свою литературную молодость. Я имел некоторое отношение к самому началу ее пути. «Почему-то в ту пору, — пишет она, — Вы очень много дрались». Так оно и было, я расквитывался за того несчастного мальчика, который безреспотно принял столько побоев и унижений. Никогда не был он трусом и слабаком, но каждый нанесенный ему удар подкреплялся авторитетом и мощью великой страны, простиравшейся от океана до океана, от южных гор до северных морей, где человек проходит, как хозяин, если он, конечно, не еврей. Теперь пришла пора расплаты, страна тоже возвращала мне должок. Я бил в нос и в Уральский хребет, в скулу и в горный Алтай, в зубы и в волжские утесы, по уху и по Средне-Русской возвышенности.

Я не только дрался, но и безобразно много пил, курил как оглашенный, не пропускал ни одной бабы, учинял дебоши, постоянно окруженный друзьями, собутыльниками, прихлебателями, и был противен себе самому гораздо чаще, нежели окружающим. Людям вообще не противно чужое разложение, если им перепадает кусок, а я сорил деньгами, много зарабатывая в кино. Моя квартира попеременно была то кабаком, то бардаком, а нередко совмещала в себе эти институции.

Славная история разыгралась на глазах всего ЦДЛ. Она так показательна для моего тогдашнего стиля жизни, что стоит рассказать о ней подробнее. Однажды после затяжной

попойки, пресыщенный писательским клубом, фальшивой сердечностью его завсегдатаев, ласковым жульничеством официанток, однообразием подгорелых блюд, я возжаждал перемены мест. И тут же вспомнил, что меня ждут в съемочной группе «Братьев Кошаровых», раскинувшей свои шатры на окраине Тарусы. Я никогда не был в этом литературном окском городке, вотчине Паустовского, где все время с шумом, преодолевая сопротивление властей, закладывают камень в память Марины Цветаевой, где издали талантливый альманах, открывший Окуджаву-прозаика. Я объявил сидящим за моим столиком Мише Чернову, прекрасному водителю и верному собутыльнику, сопровождавшему меня на все охоты, рыбалки и попойки, и работнику Иностранной комиссии, переводчику с французского Владу Челнокову, что еду в Тарусу немедленно и предлагаю им сопутствовать мне. Мишина рука рванулась к бутылке. «'Мукузку' хочешь?» — предложение выпить было для него формулой согласия, радости и признательности. Влад мило покраснел, представив себе гомерическое застолье, которым группа отметит приезд автора (за его, разумеется, счет), но ехать он не мог — вечером встреча с Симоной де Бовуар, он должен переводить. А Влад при всей очаровательной беспечности и вопиющей трудовой необязательности боялся связываться со старушкой, известной крутым нравом. Но коли я еду, он попросит о дружеской услуге: захватить с собой его приятельницу, которая мечтает показать свои рассказы Паустовскому. Пропустив мимо ушей слова о Паустовском, я сказал, что после затяжного кутежа едва ли окажусь достойным партнером этой новеллистке. «А это и не требуется, — сказал Влад. — Она вроде вообще не дает. Ей бы рассказы показать. А девка заводная, компанейская, хорошо пьет, любит природу, словом, не будет в тягость». Владу никто не мог отказать, он производил впечатление человека, который за друга готов хоть в воду. И не делает этого единственно по причине, что с воды его рвет, как бетховенского пьяницу.

Мы захватили знакомую Влада на Зубовской площади, возле ее дома. «Марина», — назвала она себя. Первое

впечатление было довольно неважным: неопрятная, с густыми невымытыми волосами, маленьким бледным лицом и чуть кривоватыми ногами, с которых она, едва сев в машину, скинула босоножки, положив грязные ступни на спинку переднего сиденья. Второе впечатление было не лучше: развязная без натуги, самоуверенная, наготове и хамство, но сквозь все это сквозило что-то жалкое, неустроенное. В шестидесятых годах таких было много: сознательное пренебрежение внешностью и правилами гигиены, гонористость, натренированное остроумие и острословие, обманчивое впечатление легкодоступности. Но Влад был умный парень, он ее хвалил, так что не стоит спешить с выводами.

Вскоре я перестал жалеть, что мы взяли ее с собой. Она легко и не банально говорила, едко характеризовала людей, у нас оказалась куча общих знакомых, много читала и в литературных оценках была точна и неожиданно скромна. Достаточно долгий и нудный из-за пробок на переездах путь в Тарусу летел незаметно.

Была лишь одна накладка. Тревожась о впечатлении, которое ее рассказы произведут на Паустовского, она решила проверить их на мне. Я чувствовал, что мое мнение не больно ее интересует, и, прочтя коротенькие рассказы, которые мне резко не понравились — не люблю вычурную, нарочито современную и не поддающуюся проверке прозу, я не счел нужным деликатничать, выложил, что думаю, без обиняков. Она, понятное дело, разозлилась и долго молчала, надменно вскинув голову, — поза, означавшая презрение к моей литературной отсталости. Я сразу зажалел ее и стал думать, как бы загладить свой промах.

— Кто поцелует меня в пятку, — раздался стекляннорезкий голос, — дам прямо в машине.

Миша притормозил.

— Вымой ноги в канаве, я подумаю.

— Заткнись, недоносок! — взорвалась она истерической злобой.

— Можно, я дам ей по хлебалу? — спросил меня Миша.

Тут нас сильно подбросило на колдобине.

— Лучше за дорогой следи, — посоветовал я.

Миша самолюбиво относился к своей шоферской репутации и сосредоточился на разбитой бетонке.

Доехали мы благополучно и вроде бы помирились, чему способствовала распитая из горлышка бутылка «Мукузани».

В Тарусе мы расстались на время с Мариной, она пошла искать Паустовского, а мы поехали на съемочную площадку в ближайший березовый лесок. Встречу назначили в пустыющей по летнему времени школе, где разместилась киногруппа.

Марина вернулась неожиданно скоро, застав нас еще на съемках. У Паустовского разыгралась астма, и его отправили в Москву. Она была меньше разочарована, чем можно было ожидать, наверное, в ней возникли сомнения, что «фигуративный абстракционизм» — так она определяла стиль своих рассказов — придется по душе прозаику-традиционалисту. Мне понравилось, с какой легкостью она пережила неудачу и включилась в киноигры. Она впервые попала на съемки, и ее захватила царящая на площадке взволнованная бестолковщина. Часов в семь мы уже сидели в палисаднике школы за столами, щедро заставленными бутылками и нехитрой снедью: малосольные огурцы, помидоры, жареные грибы, крутые яйца, сметана — все рыночное, и дары местного сельпо — серая колбаса и тюлька в томате.

Застолье получилось выдающееся, чему в немалой мере способствовала Марина. Я даже начал гордиться, что привез такое чудо. Она оказалась не только речевиком, но и певуньей, репертуар ее отличался разнообразием жанров и цельностью наполнения — сплошной мат. Я запомнил две попевки: про Дуньку, едущую на пароходе без билета в надежде расплатиться натурой, и про девок, услышавших в лесу жутковатое «чирик-пиздык-хуяк-куку».

В последующие часы застолья, продолжавшегося до рассвета, мы хором исполнили эти полюбившиеся нам песенки не меньше ста раз. Наконец директор картины напомнил, что скоро на съемочную площадку, а режиссеру и автору надо еще решить несколько творческих (в кино, которое не искусство, ужасно любят это слово) задач. Гости разошлись, первой исчезла Марина. Я уже заметил, что она

стала стремительно выдыхаться, словно из нее разом вылилось горячее.

Мы довольно быстро решили наши проблемы, и директор погнал меня спать, предупредив, что поместил нас с Мариной вместе. Милый человек, он, наверное, думал сделать приятное. Судьба его оказалась печальна. Он все острил, что мы не получим за эту картину венецианского Золотого льва, вышло еще хуже: он получил два года лагерей за разбазаривание государственных средств. Маленький, спесивый, но беззлобный киношный человечек вышел из лагеря религиозно-нравственным мыслителем в духе о. Булгакова. Он держал себя и рассуждал так, будто провел время не на лесоповале, а в Оптиной пустыни. Но величие открывшихся ему истин оказалось непосильным для его легкокрылой души, и вскоре после возвращения он сгинул: то ли вознесся, то ли ушел в глухой скит, то ли умер.

Марина заняла лучшую из двух кроватей, которая была явно велика ее цыплячьему телу. Пожалев ее убожество, неудачу с Паустовским и огонь тщеславия, отпылавший впустую, а может, и раздраженный бесцеремонностью, я тронул ее за плечо и спросил: собирается ли она в одиночку пользоваться двухспальным ложем?

Жест мой носил чисто символический характер, я не думал, что он проникнет в ее сознание сквозь наволочь тяжелого хмельного сна, но она вскочила с дико горящими глазами, с искаженным ненавистью лицом.

— Только тронь! Я выброшусь в окно!

Этот прыжок был бы столь же неопасен по своим последствиям, как прыжок Шапаревича из квартиры Прохоровых, и по той же причине — малая удаленность оконницы от земли.

— Ты что, сказалась?

— Только посмей!.. Только тронь!.. — Она лязгала зубами, маленькое лицо ее стало мордочкой какого-то хищного, остервенело-злобного зверька.

— Да кому ты нужна!.. — И я поплелся к своему лежаку.

Утром об этом происшествии не вспоминали. Марина была усталой, разбитой, опустошенной, не ела, не пила, но держалась

довольно приветливо. А мне вспомнился рассказ моего друга-ленинградца. Он познакомился в московском Доме кино с бабой, которая пригласила его к себе в гости. Они пили, болтали, смеялись, баба оказалась при внешней ничтожности острой, умной, даже обаятельной. У них все шло путем, но, когда он пожелал остаться на ночь, она без разбега, не переводя дух, учинила чудовищную истерику и выгнала его вон. Он полночи слонялся по Москве в поисках ночлега. Кажется, он упоминал Садовое кольцо, похоже, это была Марина. Мой друг решил, что имел дело с динамисткой, но, по-моему, тут другое: какой-то психический сдвиг. В нашей среде в ласках отказывают столь же спокойно, как и соглашаются на них. Так вести себя, как Марина, могла какая-нибудь закосневшая в своем девстве монашка-фанатичка.

Я ничего не сказал ей о своей догадке, у меня были заботы поважнее. Как я понял, проблемы, возникшие у режиссера, объяснялись тем, что он никак не мог выйти из запоя, начавшегося еще во время павильонных съемок. Мне предстоял тяжелый разговор, а Марина путалась под ногами. И тут она сама сказала, что ей надо вернуться в Москву. Я попросил Мишу отвезти ее на станцию. Туда было километров пятьдесят, а Миша настолько проспиртовался, что потел водкой. Ехать ему, естественно, не хотелось. Пришлось пообещать «Мукузани» — под завязку.

— А где ты его возьмешь? — спросил он хмуро, но с ноткой пробуждающегося интереса.

— Мое дело. — Я заметил бутылки «Мукузани» в витрине винной лавочки, когда мы ехали сюда, слабое винцо, видать, не пользовалось успехом в этом поэтичном городке. Уточнять адреса я не стал, опасаясь, что у Миши может оказаться завалящая бумажка в заглашнике.

Марина сердечно попрощалась с теми, кто был под рукой, поблагодарила меня, приняла деньги на поездной билет с усмешкой светской дамы, забывшей дома мелочь, и отбыла.

Жизнь продолжалась, и я не вспоминал о существовании Марины вплоть до рокового вечера в ЦДЛ, где я играл на бильярде, а моя жена Гелла вздумала пригласить на ужин кучу милых, но каких-то неожиданных в таком сборе людей:

здесь оказалась Леля с уже взрослым сыном Пашей, сценарист и прозаик Николай Садкович с женой и мой друг по литературе, жизни и охоте, чудесный Георгий Семенов. Была суббота, и ЦДЛ гудел, как в последний день.

Я пришел к столу, когда все уже были в сборе, успели сделать заказ и выпить по рюмке-другой. Я поспешил их нагнать, заказал бифштекс по-гамбургски и пришел в то отменное настроение, каким меня награждает согласие между действующей женой и хотя бы одной из предшественниц. Я долгое время мечтал справить золотую свадьбу по совокупности своих браков, но преждевременная смерть Лели все разрушила. Я чувствую, что многовато жен для небольшой повести, и сократил бы их число, если б писал другую книгу.

Я не успел включиться в ритм застолья, когда ко мне подошли два высоких, приятных молодых человека и, вежливо извинившись, попросили на «пару слов». Я поднялся и вышел в проход между столиками.

— Петр Маркович, — сказал один из них, сероглазый блондин, широкогрудый и плечистый, самый любимый мною мужской тип. — Вы знаете Марину Дмитриевну?

— Нет, — ответил я с сожалением, мне хотелось быть полезным этим славным молодым людям.

— Вы знаете ее, — мягко сказал другой, тоже видный парень, но очкарик, что сообщало ему некоторую ущербность в сравнении с его другом.

— Кто она? И откуда я могу ее знать?

— Молодая писательница. Она ездила с вами в Тарусу, — с укором, чуть излишне суровым, сказал блондин.

Они из радиокомитета! — осенило меня, и я не ошибся. Видимо, она дала им свои фигуративно-абстракционистские рассказы, и они хотят знать мое мнение. Я тут же подтвердил, что мы с Мариной знакомы, просто я не знал ее полного имени.

Их интересовало не мое мнение, а мнение Паустовского. Боясь ее подвести, я ответил уклончиво:

— Думаю, что ему понравилось. Подробностей не знаю. Она ходила без меня. Я был на съемках.

Они обменялись странным взглядом. Я перестал понимать, что им от меня нужно. Если Марина наврала, что

Паустовский в восторге от ее творчества, то мой ответ вполне корректен. Если же она сказала правду, то зачем вообще было спрашивать.

— Петр Маркович, — как-то очень значительно и тягуче произнес блондин. — А сколько от Тарусы до станции?

Совершенно сбитый с толку, я пробормотал, что километров пятьдесят.

— Ага. Пятьдесят километров, — повторил блондин и снова переглянулся с очкариком. — Совершенно верно. Так же верно, как и то, что вы, Петр Маркович, подлец и негодяй.

Это настолько не соответствовало моему ожиданию, что я растерялся самым жалким образом. Тем более что не понимал, как связано расстояние от Тарусы до железнодорожной станции с моим нравственным обликом. Суть этой истории и сейчас, по прошествии стольких лет, темна для меня. Но уже тогда я понял сквозь все свое обалдение, что Марина зачем-то наврала, будто ей пришлось проделать пешком эти пятьдесят километров. Может быть, я поступил с ней так варварски из-за того, что она отвергла мои домогательства? Для чего понадобилась ей эта ложь?

— Мне кажется, здесь не место для таких объяснений, — как-то пришибленно промямлил я и хотел вернуться за свой столик.

Два не очень сильных, но звучных, как и всегда, когда бьют по околоушной кости, удара обрушились на меня сзади.

Дешевых лавров захотелось этому дураку-блондину. Как же, на глазах всего ЦДЛ набил морду известному писателю! За честь женщины, на глазах его жены и друзей, на глазах всего писательского сборища дал предметный урок негодяю. А то, что наказуемый лет на двадцать старше, роли не играет. Нет, играет, именно поэтому он не посмеет ответить, утрется или будет жалко звать к администрации. Было мгновение странной грезы, когда передо мной проплыла косая смуглая скула то ли Алеши Поповича, то ли Чурилы Оепенковича, то ли другого какого богатыря, а в груди мощно зазвучала увертюра 1812 года, и сразу я стал весь в сборе и восторге: вот оно, долгожданное!

Я, конечно, понял, что ударил меня блондин, но первый удар я нанес не ему, а его другу — по очкам, чтобы вырубить

его из дальнейшего. Слабоглазые больше всего опасаются за свои очки. Расчет был верен, больше я его не видел. Потом я занялся блондином. Тот, видимо, посчитал, что дело сделано, и был настроен на увенчание лаврами, а не на продолжение драки. Он стоял, опустив руки, и улыбался расслабленно-горделивой улыбкой. Я сразу разрушил эту его улыбку, окровавив рот. Он попятился, оступился на ковровой дорожке и упал навзничь на чей-то столик, передавив посуду и сбросив на пол бутылки и блюда. Я стал рубить в песок, крушить в хузары, как призывает русский боевой клич, пока меня не оторвали от него какие-то доброхоты. Вмешательство посторонних не понравилось Лелиному сыну Паше, здоровенному малому, занимающемуся каратэ. Он освободил меня, а блондина ударил в солнечное сплетение. Я не заметил удара, видел только, что блондин сложился, и нанес ему снизу несколько сильных ударов в лицо. Он упал на пол, а я вернулся за столик, куда только что подали мой бифштекс. Я, конечно, запыхался, но был совершенно спокоен, налил себе водки, с удовольствием выпил и принялся за бифштекс. Над блондином уже хлопотали клубные служители, его подняли и увели.

Гелла едва успела расплатиться за побитую посуду и прочий урон, нанесенный соседям по столику, когда возле нас возникло гофманское существо, но не из добрых фей, а из отрицательной нежити: костляво-зеленое, с чудовищной копной волос, острым личиком насекомого, мокрым от слез, и оглушительно горластое. Ей-богу, грязнулька злосчастной тарусской поездки была куда привлекательней. Но ей, верно, казалось, что она нарядна, ухоженна и вполне достойна высокого места и торжественного акта возмездия.

— Там милиция! Спасите моего мужа!

И опять я проявил поразительную тупость. Что-то не везло мне с ней.

— А разве вы замужем?

— Видали! — завопила она. — Мой муж набил ему морду, а он его не знает. Муж защитил мою честь!

Гелла звонко расхохоталась.

— Еще одна такая защита, и вы останетесь вдовой.

Тут в Марине иссякли и пафос, и чувство юмора, ответ прозвучал по-босаяцки:

— А ты вообще молчи, курва!

Наша официантка Тania, кустодиевская красавица с железными мышцами, взяла Марину за волосы у загривка, другой рукой ухватила за тощий зад, подняла, странно замолкшую, не сопротивляющуюся, отнесла к двери и вышвырнула вон.

Мы выпили за здоровье Тани, но расслабиться нам не дал ходивший на разведку Коля Садкович.

— Всем быстро смываться. Я с машиной. Выходите на Воровского. Продолжим у нас дома.

— Почему мы должны бежать? — возмутился я. — Он же на меня напал!

— Он исходит кровью. Твои дружки тебя заложили, говорят, что его били скопом.

— Но это брехня!

— Я не бил его, — сказал Паша, — только применил прием.

— Администрация на твоей стороне. Они все уладят. Но нам надо делать ноги.

Он был не на шутку встревожен, и мы послушались. Семь человек набились в «Волгу», просевшую до земли.

— Дай бог, чтоб выдержали рессоры, — сказал Садкович.

Они выдержали. И мы долго гуляли в его гостеприимном доме.

На другой день я пошел в ЦДЛ узнать, чем кончилось дело. Администрация клуба переусердствовала, защищая своего; о дебоше мнимого мужа Марины, оказавшегося и впрямь работником радиокомитета, сообщили его начальству. Мне это было неприятно, хотя симпатии к пострадавшему я не испытывал. Мне куда жальче было бедную, расфуфырившуюся, как на бал, истеричку Марину.

Я остался обедать в ресторане и услышал о своем подвиге в чеканной формулировке легенды: «Трахнул жену, избил мужа и доел бифштекс».

16

Упоенный своей победой, я мечтал о новых лаврах. И они не заставили себя ждать. Но я никак не думал, что полем битвы снова окажется ЦДЛ. Здесь-то, горделиво и наивно думал я, меня будут опасаться. Да ведь чужой опыт всегда пропадает втуне. А возможно, мой будущий противник даже не слышал, что я самый страшный аллигатор в мутных водах ЦДЛ.

Однажды после затяжного обеда (появлялись все новые друзья, и обед начинался сначала), перешедшего в неторопливый ужин, по пути к выходу мы с Геллой обнаружили в пивном зале, украшенном шуточной стеной росписью, группу молодых грузинских поэтов, возглавляемых мэтром, грузином московского разлива Коберидзе. Гелла с ее блистательными переводами из Галактиона Табидзе и Симона Чиковани была для грузин чем-то вроде священной коровы. Ее сразу окружили, потащили за столик. После велеречивого тоста в ее честь все возжаждали стихов, и Гелла с величайшей охотой откликнулась на призыв.

Она читала своим поющим голосом, грузины восхищались, рыдали, целовали ей руки, вино лилось рекой, и Гелла начала распадаться. При этом она читала все равно прекрасно, но между стихами ее речи напоминали бульканье, словно из бочки с портвейном, в которой топили несчастного герцога Кларенса. Но в отличие от брата коварного Ричарда, она выныривала, быстро налаживала дыхание, и снова лилось расплавленное серебро:

*Мир состоит из гор,
Из неба и лесов.
Мир — это только спор
Двух детских голосов...*

Но тут грузин попросили на сцену — был их вечер, — мы остались одни, к нам тут же кто-то подсел, вернулся мой

Лепорелло — Миша, относивший в машину картонный ящик с неизбежной «мукузкой», Гелла продолжала читать, не заметив смены аудитории. Она читала не для нас, даже не для себя, а для внимающих ей из вечности Галактиона и слепого Симона. И тут я обратил внимание, что ее голос отдается каким-то уродливым эхом. За соседним столиком, залитым пивной пеной, резвилась компания молодых литинститутских поэтов. Один из них, с доверчивой внешностью пионера из стихов Агнии Барто, но с тухлыми, дурными глазами, издевательски копировал Геллу. Там, где у нее нежный стон, он выл, ее потерянным междометием «О!» насмешник давился, как перед блевом, порой она чуть вскидывала рыжую голову, оборот делал вид, что его шею захлестнула удавка, и вываливал мерзкий обметанный язык. Представление шло под гомерический хохот собутыльников.

Его ломанье не осталось незамеченным и другими посетителями. В пивном зале чистая публика задерживалась редко, тут обычно гуляли студенты литвуза, члены каких-то литературных кружков при ЦДЛ, просто всякая уличная протерь, обманувшая близорукую бдительность стареньких вахтерш. И эта нечисть в контраверзе поэта и хулигана, конечно, предпочла последнего. Чернь всегда милует разбойника и казнит Христа.

— Ладно, — сказал я громко. — Пошли. Тут не место стихам. Хватит метать бисер перед свиньями.

Гелла покорно, уже отключенная от действительности, поднялась. Миша подхватил ее и повел к выходу. Я задержался, чтобы расплатиться с официанткой. Весельчак выскочил из-за стола, с ним еще двое. Что и требовалось. Надо было отколоть их от коды, забившей пивной зал, с ней не справиться и самому страшному аллигатору мутных вод ЦДЛ.

Я нагнал медленно продвигающихся к выходу Геллу и Мишу возле вестибюля. Пародист продолжал резвиться, теперь он передразнивал неверную походку Геллы, спотыкался, вис на руке воображаемого спутника. Его болельщики держались немного в стороне.

— Подержи Геллу, — сказал Миша. — Я ему врежу.

— Держи сам Геллу, без тебя обойдется, — ответил я и остановил мгновение, уже ставшее прекрасным.

Теперь я разглядел студента. На свету он не был похож на примерного пионера из Агнии Барто — плохой, совсем плохой мальчик, к тому же и не русский: нос приплюснут, плоское лицо, желток в узковатых глазах. Господи, с кем он связался, этот метис! За меня были сибирские реки, тайга, Жигули и астраханские плавни, за меня был Алтай, черт поберит, Чусовая, Кама, медные уральские горы. За него были лишь молодость, несытая литинститутская молодость, а за меня орловский чернозем, Северная Двина, кишашая сигами, Палех, Мстера и Федоскино, за меня вятская игрушка и новосибирские черносотенцы, Люберцы, Петергоф и Теплый Стан!

Сколько прошло времени с той поры, вся жизнь прошла, забылись старые дружбы, забылась моя любовь к Гелле, но я до сих пор помню блаженную тяжесть удара, столкновение кулака с мордой хама. Как много в жизни неоплаченных счетов, как много безответных унижений, неотмщенных ударов, издевательств, и какое счастье, когда ты можешь вколотить назад в тупую, вздорную, злую башку извергаемую ею мерзость. Ведь этот гад был уверен в своей безнаказанности, а как же — их больше, они молоды, решительны, не знают табу приличий. Когда он упал, я врезал ему каблуком в ребро. Мне потом говорили: лежачего не бьют. Чепуха! Достойного человека не надо бить ни стоячего, ни сидячего, ни лежачего, а негодяя — круши во всех позициях. Почитатели этого артиста почему-то не воспользовались численным преимуществом...

Следующей жертвой вечерней был таинственный человек, которого приняли за дачного вора, теперь я склонен думать, что если он и хотел украсть, то разве что георгины.

Мы приехали из Москвы на машине переводчика Ромашина. Он подвез нас к дому, уже посмерклось, мы ехали с зажженными фарами. Когда Ромашин переключил свет на ближний и отсекались долгие сиреневые лучи, через наш забор со стороны сада перемахнул какой-то мужчина и быстрыми шагами направился к воротам поселка.

— Держи вора! — заорал я и выскочил из машины.

Человек перешел на рысь без паники, даже с изяществом.

— Ромашин, гони вперед! — крикнул я и припустил за нарушителем.

Странно, но он не убыстрил бега. Я нагнал его и ударил наотмашь по уху. Он дернул головой и так же неспешно продолжал бежать. Я ударил его снова. Это был плотный, выше среднего роста человек лет тридцати пяти, хорошо, модно одетый. Я ударил еще и вдруг разом потерял охоту к продолжению. Он не отвечал мне из моральной подавленности, что усугублялось страхом (совершенно напрасным) перед сидящими в машине. А он мог бы ответить, я бил по тугой плоти.

В первый и в последний раз, когда я поднял руку на человека, мне стало не по себе. Я оставил его в покое и вернулся к машине. Ромашин накинулся на меня: как можно бить человека, который хотел подарить цветок любимой девушке? Гелла молчала, она тоже осуждала меня за поступок, враждебный поэзии.

Их дружное осуждение — визгливое со стороны Ромашина, прикрывавшего трусость лицемерной добротой, молчаливое со стороны Геллы, ей и вообще перестала импонировать моя воинственность, — привело совсем к иному результату, чем можно было ждать. Вместо того чтобы выкинуть из головы чепуховое происшествие, я снова прокатил его через себя и понял, что поступил не по-русски. На ярмарке цыгана, еще только собравшегося украсть кобылу, бьют насмерть, несовершеннолетнему воришке отбивают почки, легкие, печень, заупрямившуюся на вздыме ломовую лошадь хлещут кнутом по глазам. Я слишком долго носил отравленную ядом жидовского мягкосердия шкуру и потерял категоричный настрой моих смиренных и беспощадных соплеменников. Надо взять себя в руки...

Случай проверить свою решимость не заставил себя ждать. В Доме кино состоялась премьера фильма Виталия Шурпина «Такая вот жизнь», в котором Гелла играла небольшую, но важную роль журналистки. С этого блистательного дебюта началось головокружительное восхождение этого необыкновен-

ного человека, равно талантливого во всех своих ипостасях: режиссера, писателя, актера. И был то, наверное, последний день бедности Шурпина, он не мог даже устроить положенного после премьеры банкета. Но чествование Шурпина все же состоялось, об этом позаботились мы с Геллой.

В конце хорошего вечера появился мой старый друг режиссер Шредель, он приехал из Ленинграда и остановился у нас. Он был в восторге от шурпинской картины и взволнованно говорил ему об этом. Вышли мы вместе, я был без машины, и мы пошли на стоянку такси. Геллу пошатывало, Шурпин печатал шаг по-солдатски, но был еще пьянее ее.

На стоянке грудилась толпа, пытающаяся стать очередью, но, поскольку она состояла в основном из киношников, порядок был невозможен. И все-таки джентльменство не вовсе угасло в косматых душах — при виде шатающейся Геллы толпа расступилась. Такси как раз подъехало, я распахнул дверцу, и Гелла рухнула на заднее сиденье. Я убрал ее ноги, чтобы сесть рядом, оставив переднее место Шределю. Но мы и оглянуться не успели, как рядом с шофером плюхнулся Шурпин.

— Вас отвезти? — спросил я, прикидывая, как бы сдвинуть Геллу, чтобы сзади поместился тучный Шредель.

— Куда еще везти? — слишком саркастично для пьяного спросил Шурпин. — Едем к вам.

— К нам нельзя. Гелле плохо. Праздник кончился.

— Жиду можно, а мне нельзя? — едко сказал дебютант о своем старшем собрате.

— Ну вот, — устало произнес Шредель, — я так и знал, что этим кончится.

И меня охватила тоска: вечно одно и то же. Какая во всем этом безнадега, невыносимая, рвотная духота! Еще не будучи знаком с Шурпиным, я прочел его рассказы — с подачи Геллы, — написал ему восторженное письмо и помог их напечатать. Мы устроили сегодня ему праздник, наговорили столько добрых слов (я еще не знал в тот момент, что он куда комплекснее обслужен нашей семьей), но вот подвернулась возможность — и полезла смрадная черная пена.

Я взял его за ворот, под коленки и вынул из машины. «Садись!» — сказал я Шределю. И тут, за какие-то мгновения, во мне разыгралось сложное драматическое действо. Я держал на руках маленькое, легкое тело притихшего и будто враз постаревшего человечка, и это походило на «Снятие с креста» одного старого немецкого художника: человек, держащий тело Христа — я не удосужился узнать, кто это, благочестивый Симон или апостол Иоанн, — выглядит растерянным, словно не знает, что ему делать с бесценной и горестной ношей. Я тоже не знал, ибо в моем обостренном и сбитом алкоголем сознании происходила стремительная смена образов: еврей истинный, которым я признавал себя некогда, требовал прислонить его бережно к стене, русский, которым я и тогда был, не зная о том, хотел размозжить его об эту стену, еврей, которого я, воспитанный в долгом рабстве, тайно нес в себе и сейчас, просил о пощаде, русский, каким я грозил стать, толкал под руку размозжить Шределя, а сородича взять с собой и уложить в постель. И тут легкую тяжесть его тела я почувствовал как бы через ощущение моей жены и все понял про него и Геллу. И сразу исчезла гнусная муть, остались человек против человека. И тот человек, который истинно был во мне, мог бы прикончить Шурпина, если б не понял каким-то счастливым, освобождающим чувством, что уже не любит Геллу страстью. Это сняло с души много тяжелого, освободило от собственной вины и обязанности играть в то, чего уж нет. Я с какой-то нежностью ощущал кошачий вес Шурпина на своих руках. Тут я увидел испуганное лицо моего старшего друга, режиссера Донского, что-то, видать, ухватившего в происходящем. В молодости он играл в футбол — вратарем, я крикнул ему: «Держите!» — и метнул тело Шурпина. Он поступил вполне профессионально: пружинно присев, выбросив вперед согнутые в локтях руки, принял послание в гнездо между ляжками и грудобрюшной преградой.

Я сел в машину, и мы уехали.

В толпе на стоянке находился Валерий Зилов, злой карлик. Он стал распространять слухи, что я избил пьяного, беспомощного Шурпина. А что же он не вмешался, что же не вмешались многочисленные свидетели этой сцены?..

Я встретился с Шурпиным через много лет на заседании редколлегии журнала «Наш сотрапезник», тогда еще честного и талантливое. Это была совсем другая жизнь, из которой ушла Гелла и многие другие, обременявшие мне душу. Главный редактор журнала Дикулов представлял нам нового члена редколлегии. Шурпин, знаменитый, вознесенный выше неба, трезвый как стеклышко — он бросил пить и сейчас добивал свой разрушенный организм крепчайшим черным кофе, курением и бессонной работой, — обходил всех нас, с искусственным актерским радушием пожимая руки. Дошло дело до меня.

— Калитин, — неуверенным голосом произнес Дикулов, видимо, проинформированный Зиловым о моем зверском поступке.

— Не надо, — улыбнулся Шурпин своей прекрасной улыбкой. — Это мой литературный крестный.

И поскольку я сидел, он наклонился и поцеловал меня в голову...

17

Все вышеизложенное — детский лепет перед боем с танком, который я провел примерно в то же время на съемках фильма «Предшественник» на опаленной многими войнами можайской земле.

Я приехал туда, как считалось, для работы. По обыкновению, бледное, но сейчас непривычно серьезное, озабоченное лицо режиссера Калмыкова подсказало мне, что в группе неблагополучно. Мне уже надо было бы привыкнуть к неизбежности и негибельности киноужасов: советское кино живет катастрофами, но я, мгновенно никнувший даже перед малыми бытовыми трудностями, расстроился и пожалел, что приехал.

Киногруппа нашла себе странное прибежище, что-то вроде монастырского подворья. Правда, монастыря тут не было, но небольшая нарядная церковка с золотыми луковичками имелась, примыкая к сараевидному зданию странноприимного дома с высокими потолками, толстыми стенами, в которых прорублены узенькие окошки. Возможно, тут когда-то был монастырь, от него остались переоборудованные хозяйственные постройки. Это загадочное, давящее помещение усугубило мое невеселое настроение.

— Ну, что тут у вас? — спросил я Калмыкова, проходя следом за ним в отведенный мне номер-келью.

— Матушка, — мимо моего вопроса болезненным голосом сказал Калмыков. — Вы не представляете, какое это чудо!

Калмыков недавно начал делиться со мной гаремом, именуемым съемочной группой и состоящим, за исключением второго режиссера и директора — евнухов, сплошь из женщин. В материальном плане Калмыков был болезненно скуп, но в сексуальном — меценат. Незадолго до отъезда в экспедицию он прислал мне на дом — в мою одинокую

минуту — костюмершу с такой сенсационной грудью, что в Америке она была бы миллионершей, а здесь радовалась бутылке водки с неприхотливой закуской и по-советски торопливому объятию на незастланном шершавом диване. Почему-то мы, не обремененные ни делом, ни ответственностью, ни заботой о помещении денег или укрывании доходов, ни поиском хоть какой-то выгоды, все время спешим. Может, это идет от ощущения неподлинности нашей жизни и надежды, что настоящая жизнь притаилась где-то рядом, за углом.

В нашу первую и пока что единственную встречу ничто не мешало нам: ее никто не ждал, и я был соломенным вдовцом, но она вдруг панически заторопилась, и я, тоже охваченный бессмысленным нетерпением, не только не удерживал ее, но принялся лихорадочно помогать сборам, уминая волшебные холмы в изнемогающий от постоянного напряжения лифчик. Мы расстались, уговорившись встретиться в экспедиции. Собственно говоря, я и ехал сюда «по груди». А Калмыков сбивает меня с толка, предлагая услуги собственной матушки. Такого цинизма я не ожидал даже от него. И к тому же она старуха. Но оказалось, Калмыков неповинен в эдиповом комплексе навыворот. Речь шла о матушке — жене здешнего священника. Он — старый хрыч, развалина, а она юная, прекрасная, с огненными глазами и вечно рдеющими скулами. Если уж Калмыков заговорил о женщине в столь возвышенном стиле вместо обычных полублатных банальностей, значит, матушка была и впрямь чудо.

Калмыкова всего трясло, ноздри его красиво раздувались, оттуда валил сухой жар. К этому времени он уже дал волю сладострастию, предав единственную — как окажется — за всю жизнь настоящую любовь, очаровательную, нежную Соню. Сейчас он был охвачен неподдельным пылом и все же в необъяснимой щедрости отдавал свою мечту. Как это по-русски!.. Вот оно то, что не понять умом, не измерить общим аршином. Сколько таинственного смирения в этом жесте, какая жертвенность! И сколько чисто русского безобразия: он же считает себя верующим, даже церковным человеком — внук сельского попа, но без малейшего колебания готов

превратить храм в бардак. Что-то жало меня в этой истории, но как русский я не мог отказаться.

— Веди меня, искуситель!

Путь до матушки был таинствен, как до катакомбной церкви. Мы то опускались в подземелье по изъеденным временем ступеням, то возносились в глухие коридоры, то протискивались в сырые щели, чтобы оказаться в каменной западне, но мой Вергилий с уверенностью шел вперед, неизменно находя лаз, нужный поворот, и мы влеклись дальше сквозь завалы неразличимой в полутьме рухляди, из прохода в проход, из клетки в клетку, где воздуха не хватало на глоток, и не понять было, как мы очутились в прохладной свежести деревянных сеней и в пугающей близости увидели Ее — высокую, статную, с гордо посаженной головой и матово-бледным лицом. Она стояла посреди комнаты и смотрела в нашу сторону, но почему-то не видела нас. Я помню каждую черточку ее благодатного облика, но память не удержала, во что она была одета. Она видится мне то в изумрудном штофном платье брюлловской красавицы, то в строго черном, облегающем одеянии, как на матери «Безутешного горя» Крамского, то в белом подвенечном, как на печальной невесте в «Неравном браке». Наверное, она была в чем-то простом, скромном, вполне современном, а на плечах шаль. Незаметно, без малейшего шелоха осыпался песок вечности, время в нас остановилось. Я уверен, что мой спутник разделял это чувство. Мы даже не таились, но она нас не видела, поглощенная собственной самоуглубленной жизнью. Она стояла неподвижно, вперив черный горящий взор в какую-то бесконечно далекую цель, надевая прозрачностью пустоты все, что оказывалось между нею и этой целью. Вдруг она резко повернулась, прошла по комнате, остановилась, закинув голову, подняла руки и положила их под затылок, словно голова стала тяжела ее шее. Может быть, все дело в том, что мы жили в разных ритмах, мы выпали из времени, она же пребывала в обычных временных координатах. Весьма вероятно, она сделала всего два-три быстрых движения, вполне безотчетных, какими человек, находящийся в одиночестве, предвояет несложный целевой

поступок. Она опустила руки и решительным шагом покинула комнату.

— Пошли, — сказал я Калмыкову. — Нельзя разрушать.

— Чего разрушать? — мгновенно спустившись с горних высей, насмешливо спросил он. — Семью?

— Нет, того, чего мы не знаем. Ее ауру.

Калмыков был обормот, Стенька Разин, но с какой-то пицалкой в груди. Беспечно относясь к земному существованию, он побаивался запредельного. Сколько раз слышал я его произвольный, детски испуганный бормот: а чего я сделал? Он отзывался неслышному голосу, нездешнему укору. Калмыков не знал, что такое «аура» (я — тоже), но чувствовал, что это принадлежит тому ряду, который он старался не задевать, находя достаточно увлекательного в зримых, земных очевидностях.

День завершился тусклой, проходной пьянкой. Ночевье было мучительным. Мне снились ужасные горные обвалы, я задыхался, погибал, кричал и просыпался как раз вовремя, чтобы впрямь не задохнуться под громоздом упавшей на меня груди костюмерши. Все это было так ужасно после дневного видения, что я чуть было не уехал на другой день в Москву. Но, конечно, не уехал, а отправился в деревню на съемки.

Калмыкову хотелось снять сцену, которая давно уже тревожила его творческое воображение, он не раз просил меня дописать ее, но я так этого и не сделал. На каком-то съезде Сталин рассказал о своей встрече с колхозниками только что созданной артели. Темная и воинственная баба, не понимавшая преимуществ коллективного труда, задрала подол и, выставив свое непомерное женское естество, гаркнула: «Вот тебе твой колхоз!» Помня о ночном кошмаре, я предложил Калмыкову заменить «сад пыток и страстей» грудью костюмерши, эффект будет еще сильнее. Но Калмыков, нутрянной реалист, хотел быть ближе к жизненной правде. После долгих препирательств мы решили поручить сцену хорошей и правдивой актрисе Варе Владимировой. Она отнеслась с пониманием к режиссерской задумке, но в реквизите не оказалось больших крестьянских женских штанов, а на Варе были деликатные мосторговские трусишки. «Зритель в них не поверит!» — горевал Калмыков. Я

вспомнил, что в деревне бабы в страду вообще штанов не носят. Калмыков приободрился, напряг мысль, прикидывая эту сцену. «Нет, не вижу, — сказал он сокрушенно. — Нужна поэтапность. Задрала подол — удар, сдернула штаны — второй, смертельный».

Но тут произошло два события, которые отвлекли ищущую мысль режиссера. Первое — бухгалтерша привезла мне положенную авторскую зарплату за два месяца, в связи с чем был объявлен банкет для всей съемочной группы, и деньги, не коснувшись моих рук, ушли к организаторам пиршества. Второе — Калмыкову подали танк. Мне предстояло оценить его водительское умение.

Никаких танков в моем сценарии не было в помине, но появление мощной «тридцатьчетверки» меня не слишком удивило. С таким же успехом мог возникнуть паровоз, самолет, порталный кран, омулевый невод, водолаз в скафандре, понтонный мост или кордебалет в пачках — в зависимости от пристрастий режиссера. Калмыков по годам не мог участвовать в Отечественной войне, в нем остался неизжитый мальчишеский героизм: обожал ножи, стрелковое оружие, военные песни. На «Мосфильме» находился в простое тяжелый танк, Калмыков затребовал его к себе. Танк прибыл и замер на краю вязкой пашни, а танкист включился в напряженную жизнь группы с ежевечерним пьянством и ухаживанием за красавицей гримершей. Эта молодая женщина, избалованная вниманием кинограндов, не хотела задержать ленивый взгляд своих серо-голубых с поволокой на скромной фигуре танкиста. Он страдал и завивал горе веревочкой. Калмыкова осенило: чтоб не ржавела даром военная техника, научиться водить танк.

Он за неделю овладел этой не очень хитрой наукой — водить танк куда легче, чем машину, и с блеском продемонстрировал мне свое умение. К сожалению, он перестарался и, заехав слишком далеко в набухшее дождевой влагой поле, застрял. Пришлось уступить штурвал сержанту, а самому возвращаться пешим ходом по колено в грязи.

Радужное настроение режиссера было подпорчено, это обернулось яркой дракой между ним и директором картины

в финале застолья. Банкет проходил посреди пустого скотного двора, заброшенного после очередной перестройки громадного нищего колхоза, тут же разыгралась и битва.

Спровоцировав драку, Калмыков вскоре спохватился и, будучи моложе и сильнее своего противника, стремился не отлупить его, а утихомирить. Но директор Захаров с серебряным клапаном в пробитом пулей горле был бесстрашным бойцом и, получив урон в начале схватки, яростно пер на рожон. Он разорвал в клочья рубашку на Калмыкове, и тот сбросил мешающие лохмотья. При полной луне, ставшей над опустевшим скотным двором (второй режиссер увел группу за ворота потанцевать под баян, на котором играл влюбленный танкист), шла эта полуантичная схватка, где Калмыков с обнаженным, молочно светящимся торсом уклонялся от ударов седовласого воина — глубокие лицевые морщины казались рассеками меча, а в горле звездой сверкала серебряная кнопка. Это было энергическое и на редкость пластичное зрелище, а недвижимое тело пьяного осветителя посреди двора придавало ему величие боя над телом Патрокла.

Наконец Калмыкову удалось скрутить противника, повалить на землю и придавить коленом.

— Может, хватит? Что вы, шуток не понимаете? Предлагаю разойтись.

— Ладно, — прохрипел Захаров из своей серебряной кнопки.

И как-то без перехода мы опять оказались за столом: полутолый Калмыков, суровый Захаров и вся остальная группа, мгновенно прекратившая танцы, как только услышала слабый звон бокалов. Только за воротами не столь душевно подвижный танкист доигрывал «Дунайские волны».

Захарова усадили возле меня. Это было сделано не случайно. Калмыков наклонился к моему уху:

— Скажите, что он здорово дрался. Ему будет приятно.

Мне понравилось его великодушие, и я поздравил директора с победой.

— Надоело терпеть хамство, — небрежно бросил изрядно помятый победитель.

Я провозгласил тост за его здоровье. Все выпили. После чего довольно странный тост предложил за меня второй режиссер:

— Своим сценарием автор всем нам поставил пистон. Выпьем за нашего пистонного папу!

Тост был принят с энтузиазмом.

— Ой, как здорово сказано! — воскликнула гримерша.

Я посмотрел в ее серо-голубые с поволокой и дал себе слово оправдать высокое звание...

То ли я на какое-то время отключился, то ли часть вечера ушла из памяти. Я снова помню себя уже за пустым грязным столом, луну выключили, и двор погружен в темень, никого нет, меня бросили на произвол судьбы. Следующая ступень опаматования: я обнаруживаю, что не брошен — со мной Калмыков, гримерша и мой шофер. Остальные отправлены на квартиры, в том числе бывшая фаворитка. Умница Калмыков догадался, что время Лавальер кончилось, начинается эпоха госпожи де Монтеспан. Мы все не заметили, что остался еще один человек, который вскоре дал о себе знать.

Мы тронулись в обратный путь. Калмыков сидел рядом с шофером, мы с милой сзади; опустив пушистые ресницы на серо-голубые с поволокой, она дремала на моем плече. Была классическая ситуация для кровавого дорожного происшествия: тяжелый рассветный час после бессонной пьяной ночи, усталый и не очень крепкий к вину водитель, перебравшие, сонные, утратившие бдительность пассажиры, плохая дорога.

Собственно, дороги вообще не было. Шоссе от колхозного уголья, где мы сеяли неразумное, недоброе и невечное, почти до самого Можайска было перекрыто в связи с ремонтом, который никогда не кончится и вроде бы даже не начинался, и весь транспорт корячился на глинистой, будто гофрированной полосе, тянущейся между обочиной и опушкой леса, на ней было ни разъехаться, ни развить скорости.

Все, находящиеся в машине, как-то очень быстро сморились и задремали, включая водителя. Первым очнулся я. Увидел впереди показавшееся оранжевым небо — этот дикий оттенок сообщили нежной розовости восхода мои проспиртованные

глаза, испытал знакомую всем пьяницам ознобливую дрожь, от которой не спрячешься, ибо она идет изнутри, попытался смочить наждачным языком пересохшую полость рта, ощутил что-то милое у левого плеча и в нем возможность возрождения, умилился круглому затылку Калмыкова, прикорнувшего на плече дремлющего шофера, и тут, словно пробки вылетели из ушей, я услышал грозный, наступающий рев тяжелого мотора позади нашей машины.

Я оглянулся и увидел в заднем стекле преследующий нас танк. Рассвет еще не достиг запада, в бредовой полумгле танк, и без того большой, казался громадным, как собор, и этот металлический, иссиня-стальной — такой тон обрел сейчас защитный цвет — собор неудержимо надвигался, чтобы раздавить жалкую коробочку нашей машины, сжевать ее гусеницами со всей начинкой.

Я растолкал Калмыкова, попутно помешав сну шофера. С упорством идиотического благодушия Калмыков, посмеиваясь, уверял, что нам ничего не грозит: Вася-танкист — чудный парень, телок, аккордеонист, золотая душа.

— Он раздавит нас! — вдруг дико закричала гримерша.

Она глядела в заднее стекло, выгаражив от ужаса свои серо-голубые с поволокой. Ее крик отрезвил Калмыкова, он мгновенно просчитал ситуацию и понял, что дело пахнет керосином.

— Прибавь, — нарочито небрежно бросил он водителю.

Испуганный Батурин газанул. Нас повело, колеса пробуксовывали на мокром песке. Он справился с заносом, но прибавить скорость не удалось.

Танк приближался, он грохотал над ухом.

— Спишь, твою мать! — выдав свой страх, заорал Калмыков. — Пусти меня за баранку!

— Не надо пьянь в танк сажать, — огрызнулся Батурин.

Он был хороший, опытный шофер, но на этой дороге быстрее не поедешь. Калмыков распахнул дверцу, вывалился из машины, вскочил и кинулся навстречу танку, размахивая крест-накрест руками. Танк не остановился, и Калмыков едва успел отскочить в сторону. И тут у нас появился шанс: справа к шоссе подходила бетонка, если мы успеем свернуть, уйдем от танка.

Не успели. Он настиг нас сразу за поворотом, куда вписался с пронзительным скрежетом, и ударил в зад машины. Мы взлетели на воздух. Вокруг было только небо, и мы унеслись в оранжевый отсвет золотого чертога вечности. Мы не попали туда, не одолев земного притяжения. Теперь повсюду был зеленый ворс травы, и мы мягко врезались в болотистую топь. Это нас и спасло. Чтобы выбраться наружу, мне пришлось перелезть через лежащую кулем гримершу.

Танк стоял, вид у него был удовлетворенный. К нему, хромая, приближался Калмыков. Я опередил его. Когда я взобрался на гусеницу, крышка башни приподнялась и показалась макушка, а там и ошалелое лицо танкиста. Несколькими ударами я вогнал его назад, но, успев ухватить за шиворот, вытащил наружу и повторил обработку. На этот раз я его упустил, отвлеченный криками Калмыкова.

— Это мой человек, — вопил режиссер. — Я должен его кончить!

Я боялся, что танкист больше не появится, но он вынырнул, как будто что-то выталкивало его оттуда. Экзекуция повторилась. Он успел опереться о край люка и выпростать верхнюю часть туловища. Это дало ему некоторую свободу, но сопротивления не получилось, я был в лучшем положении и слишком разъярен. Прикрыв руками разбитое лицо, он снова провалился в нутро танка, как в преисподнюю.

Тут только я сообразил, что надо было выпустить его и продолжить разборку на земле, ибо ничто не мешает ему сейчас повторить нападение и додавить беспомощную машину. Правда, его целью были люди, а не техника. Калмыков казался встревоженным. Он тоже влез на танк, заглянул внутрь, долго всматривался и вслушивался.

— Плачет, — сказал успокоенно.

Танкист так и не показался, пока мы ждали проезжий грузовик, чтобы вытащить машину. Потери оказались не столь велики, как можно было ждать по силе удара: перерублен ровно посередине задний бампер, там же вмятина, погнуто крыло, поцарапана дверь. Мотор и ходовая часть уцелели, мы самосто-

ательно добрались до гостиницы, я даже успел воспользоваться последним усталым светом серо-голубых с поволокой.

А наутро обнаружил, что потерял в бою часы. Они были на кожаном ремешке и сорваться не могли, очевидно, я перерезал ремешок об острый край люка.

Я так расстроился, что тут же собрался в отъезд. Поездка оказалась слишком накладной: двухмесячная зарплата, часы «Омега», бампер, жестяные работы и моральное потрясение. Калмыков был безутешен.

Вечером он взял «козла» и поехал искать мои часы; то был рискованный поступок, поскольку он обладал опытом вождения лишь танка. Тем не менее он благополучно добрался до места происшествия, увидел развороченную землю, траву, еще хранящую след машины, выщербины от гусеничных траков. Он завел «козла» в кусты, чтобы не привлекать внимания дорожной инспекции, и занялся поисками. Ошаривая засохшую грязь, он с ужасом слышал знакомый, слишком хорошо знакомый, грохот приближающегося танка. Его не было ни на съёмочной площадке, ни на можайской базе, но Калмыков не тревожился, полагая, что танкист зализывает раны. Сейчас он сильно перетрусил: не иначе, танкист его выследил, чтобы покарать за сводничество. Но откуда тот мог знать, что он поедет искать часы? Значит, это звуковая галлюцинация, а Калмыков, как уже говорилось, терял всю свою смелость в близости потусторонних сил. Тут он почуял вонь солярки и немного успокоился — слишком много реальности для видения. Но береженого бог бережет, и он спрятался в придорожных кустах.

Танк, огромный, горячий, вонький, подъехал к перекрестку, свернул по-давешнему резко, со скрежетом и остановился. Крышка люка откинулась, вылез танкист с опухшим лицом, огляделся и прыгнул на землю. Он повел себя точно так же, как Калмыков, стал обшаривать землю вокруг танка, откидывая сухие комья грязи, разгребая прах. И в какой-то миг острым звериным чутьем уловил присутствие постороннего. Калмыков, явив не меньшую чуткость, догадался о его угадке и вышел из укрытия. Он боялся танкиста, лишь пока тот сжимал штурвал или был духом.

— Вы что тут делаете? — испуганно спросил танкист.

— А ты что тут делаешь? — властным режиссерским голосом спросил Калмыков.

— Ищу фиксу, которую сшиб Петр Маркович.

— А я ищу часы, которые потерял Петр Маркович.

Удостоверившись во взаимной неопасности, режиссер и танкист продолжали искать до наступления темноты и даже позже, под свет фар, но так ничего и не нашли.

— Ты особо не переживай, — обормот в Калмыкове пожалел хулигана в танкисте. — Петр Маркович капать не будет.

Я и не капал, но скрыть происшествие не удалось. Не знаю, кто протрепался: Калмыков, гримерша или сам танкист по пьянке, но на «Мосфильм» пришла «телега». Славную «тридцатьчетверку» отозвали в Москву. Танкист покинул базу, но далеко не уехал. В первые две ночи слышалось отдаленное рычание мотора, словно тигр вызывал самку, а затем горестные взвои прекратились. Но в Москву танк не пришел, он пропал. Те, кто читал «Взятие Великошумска» Леонида Леонова, помнят рейды нашего танка по тылам врага. Здесь эта история повторилась, только шуровал танк в собственном тылу, но был так же дерзок и неуловим. А уловить его пытались. После неудач местных властей из «Мосфильма» выступил конный полк. Эта привилегированная часть предназначалась для съемок, а кроме того, в ней комфортно отбывали действительную дети и родственники видных кинематографистов, которых не удалось почему-либо освободить от военной службы.

Войско повел однофамилец героя 1812 года старший лейтенант Голенищев-Кутузов. Командующего привязали к седлу, поскольку за делами и заботами многими — он по-суворовски брал пробу из солдатского котла, а также тех разносолов, которые присылали кавалергардам из дома, «Арагви» или «Узбекистана», — не пренебрегал и солдатской чаркой. Голенищеву-Кутузову предстояло обогатить военную науку новаторским боем кавалерии с танком, но он никак не мог обнаружить противника в грустных подмосковных просторах.

Обезумевший танк метался по можайской земле: сегодня его видели возле закуской на Бородинском поле, завтра у

новоружской пельменной, целые сутки он курсировал между лесным баром под Тучковым и рестораном станции Дорохово; он уже приближался к пивному ларьку в Одинцове и вдруг сделал резкий бросок на запад, к «Голубому Дунаю» Верей. Здесь его и взяли хитрым маневром: пока танкистпил свои боевые сто граммов под сардельку, спешившиеся конники Голенищева-Кутузова отрезали его от танка, спрятанного за кухонной помойкой. После ожесточенного сопротивления сержанта скрутили и доставили в Москву. Танк пригнали позже. Танкист не попал под трибунал, ибо оказался внучатым племянником домработницы режиссера Ивана Пырьева. О его дальнейшей судьбе мне ничего не известно, а танк до сих пор ржавеет на машинном дворе студии.

О часах «Омега». Оказывается, я зря грешил на танковый люк. Часы сняла с меня, спящего, на память, одарив поцелуем и прощальным взглядом серо-голубых с поволокой, гримерша-изменница...

18

Были еще боевые эпизоды в моей практике, хотя и не столь яркие, но мне рукоприкладство порядком надоело. Я по душе не бойцовый человек, и, сколько бы ни хорохорился, мне всегда жалко пострадавшего: даже дурака танкиста, даже радиокомитетчика, обманутого скверной бабой (ее тоже жалко), не говоря уже о романтическом дачном воре.

Было и более существенное. Я понял, что в драке побеждает не сильнейший, а более нахрапистый и внутренне защищенный. Результат драки можно предсказать заранее. Мои вздорные соотечественники легко заводятся, но душонка дрожит боязнью последствий; кто меньше боится, тот и возьмет верх. Наши жалкие советские разборки не имеют ничего общего с мушкетерскими поединками: сила против силы, ловкость против ловкости, храбрость против храбрости. Физические расправы стали мне противны, да и сам себе я стал противен. Моя русификация пошла по дурному пути, я оскотинивался на глазах. В пору своей раздвоенности я не был таким хамом, во мне шла тонкая душевная жизнь. Неужели я для того рвался в русские, чтобы стать свиньей?

Противоядием послужили рыбалка и охота, особенно последняя. Я очень много писал о своей мещерской охоте и не стану повторяться. Конечно, лучшей порой мещерских зорек была деревенская охота с кострами на берегу озера, с промозглыми ночевками в стог сена, с неспешными, тихими разговорами в кругу местных мужиков. Все опоганилось с созданием на Великом охотничьей базы: хлынул поток номенклатурных горлопанов, пьяных, хвастливых, пошлых. Охота превратилась в необязательное добавление к застолью. Я продолжал ездить туда из привязанности к егерю

Анатолию Ивановичу, другу по старым охотам, и мудреным подсвятыньским обитателям.

И еще я соприкасался с русской идеей, сам глубоко проникаясь ею, в журнале «Наш сотрапезник», ставшем средоточием прекрасной прозы, преимущественно деревенской. Его ждала печальная метаморфоза: в восьмидесятых годах пшенично-лазорево́й цвет сменился на густо-коричневый — обычная судьба тех, кто слишком заласкивает национальную идею.

Я вошел в редколлегию «Нашего сотрапезника» еще при даровитом и милом Борисе Зубилове, здесь царила чистая и сердечная атмосфера, но журнал не мог обрести своего лица. Задуман он был как принят малой прозы, а по объему стоял между тонким и толстым журналом. Объемом лимитировался отбор: приходилось отказываться от хороших вещей, если они не вмещались в малое пространство. Держать высокий уровень только на чистой новеллистике не удавалось, приходилось хвататься за повести, но критерием служило не столько качество, сколько «вместимость». В результате «Наш сотрапезник» выглядел недоноском толстого журнала.

Зубилов, не защищенный ни литературной группировкой, ни покровительством руководителей Союза писателей — эти лепилы толстых сырых кирпичей рассказов писать не умели, — конечно, лишился редакторского места. Назначили — довольно неожиданно — поэта Егора Дикулова. Он был из числа тогда еще полуподпольных квасных патриотов. Косоглавый лысый поэт, в отличие от Бориса Зубилова, не отличался ни дарованием, ни симпатичностью, тем не менее в короткий срок вывел журнал в первачи. «Наш сотрапезник» подравняли по объему с толстыми журналами, он получил возможность печатать большие повести и даже романы с продолжением. Приоритетом пользовалась деревенская тематика. Журнал этот породило само время. Русская деревня погибала на глазах. Из всплеска боли по ней родилась великолепная проза семидесятых, для которой «Наш сотрапезник» стал родным домом. Умный и гибкий редактор, Дикулов не отказывался от хорошей прозы и на другие темы,

что избавляло журнал от зашоренности. И непременно в каждом номере было два-три хороших рассказа.

В редакции царил истинно русский дух. «Здесь русский дух, здесь Русью пахнет» — это о «Нашем сотрапезнике», и дух этот был вполне материален.

Как пленительно воняло на долгих наших редколлегиях, в конце которых появлялись бутерброды и, словно контрабандой, бутылка-другая водки. Главный редактор как бы не замечал наших подстольных манипуляций с бутылкой из сочувствия к приезжим членам редколлегии, сильно промерзшим в дороге. Подразумевалось, что они добирались до столицы из своих медвежьих углов — Вологды, Курска, Иркутска — на перекладных или на розвальнях по санному пути, а не поездом или самолетом. Эти странники нуждались в угреве, даже если являлись на редколлегию цветущим маем, теплым бабьим летом. Бедолаги всегда казались замерзшими, красные носы сочились, они потирали руки и охлопывали по-ямщицки бока крест-накрест.

У нас воняло грязными носками, немытым телом, селедкой, перегаром, чем-то прелым, кислым, устоявшимся, как плотный избяной дух, который нельзя вытравить, вывести, заглушить никакими способами. В основе избяного запаха — кислое тесто, такие растения, как лук, паслен, капуста. Околевшая под полом крыса и старая одежда вносят свою струю.

Наши корифеи отправлялись в Москву, напялив на себя все, что имелось в доме: на подштанники — лыжные штаны, а сверху брюки; так же многослойно был укутан торс: нательная рубашка, шерстяная и верхняя, какой-нибудь свитерок, на все это натягивался пиджак, который топорщился, не застегивался и так жал в проймах, что руки становились ластами; не менее заботливо утеплены ноги: портянки, носки домашней вязки, тонкие носки, обухоженные таким образом ступни вколачивались либо в бурки, либо в войлочные ботики, реже в шнурованные ботинки с калошами. Мать говорила, что на бедных людях всегда много надето. Отчасти из-за холода, отчасти из желания придать себе хоть какой-то вид. Мои друзья по редколлегии не были так уж бедны,

чтобы не укрыться от стужи более цивилизованным способом, и в изобилии их одежд не проглядывало франтовство, причина была в дикости, в полном отсутствии бытовой культуры.

Распадов называл меня «барин», не вкладывая в это чего-либо осудительного, но в других я замечал открытое недоброжелательство.

Главная причина нелюбви: фильм «Предшественник» по моему сценарию. Так уж получилось, что первое правдивое произведение о деревне, вызвавшее бурный резонанс, появилось не в литературе, а в кино. Фильм сильно пострадал от идеологических крутохватов: около четверти картины было вырезано, убраны острые реплики и целые диалоги, переснят финал, и все равно успех фильма был воистину народен. Этого не могли простить мне деревенщики, чье правдивое, горестное слово, чей плач о деревне уже зазвучали, но еще не были услышаны. Это придет несколько позже. Им было и досадно, и больно, что поток бессовестной лжи о деревне остановили не они своими тихими песнями, а городские люди, не имевшие, по их мнению, никакого отношения к деревне. Они отказывали в праве говорить о деревне равно мне и сибиряку Ульянову, и внуку сельского попа Калмыкову.

На вопросы интервьюеров всех мастей, когда и как вышел я на сельскую тему, я отвечал, что очень давно — восьмилетним; я жил в деревне Акуловке, у Верониной старшей сестры Саши, и видел, как раскулачивали прекрасную трудовую семью, которая только выбивалась в средний достаток. Той страшной ночью, под голошенье баб, рев скотины, матерную брань мужиков, стеснявшихся чинить насилие над своими соседями. Вот когда крестьянская боль стала и моей болью.

Я как-то умудрялся вычленить злобу на «Предшественника» из отношения к себе, которое считал добрым хотя бы в силу нашего союзничества, участия в едином деле. Искренне восхищаясь их литературой, твердостью жизненной позиции, даже внешней непрезентабельностью, в которой виделось презрение к материальным благам жизни, я любил их так же восторженно и преданно, как Вовку-Ковбоя, Юрку Лукина, братьев-воров Архаровых и прочих героев моего раннего

детства. Я полагал, что и они видят во мне хотя бы... дальнего родственника. То было глубокое заблуждение, и открыл мне глаза не злобный Зилов или двуликий Рогов, а человек, в чем добром отношении я не сомневался.

Помню тот вечер во всех подробностях. Мы встретились после редколлегии в ЦДЛ, взяли столик и запретили официанткам подсаживать к нам настырных друзей, не ждущих приглашения.

Отчего случаются провалы странной тишины, успокоения, умиротворения даже в самых бурных и шумных структурах: ресторанах, бардаках, парламентах? Усталость, перебор страстей, какое-то особенно бурное действо накануне, выжавшее людей, как лимон, расположение планет, укрощающее или парализующее воздействие космоса, игры антимиров — не знаю, но набитый, пусть не битком, Дубовый зал был тих, задумчив, созерцателен: каждый сосредоточен на самом себе, никто не мотался по залу, не подсаживался к чужим столикам, не просил взаймы, не орал, не скандалил, и подавальщицы не терлись возле любимых посетителей в надежде — не тщетной, — что те полезут под юбку, шлепнут по заду и поднесут рюмочку. О мгновении тишины говорят: тихий ангел пролетел. А тут тихий ангел парил под дымными сводами, и ЦДЛ напоминал налитую доверху чашу, которую несет без малого шелоха на вытянутых руках небожитель. Тих, молчалив, сумрачен был и мой собутыльник.

— Что с тобой? — спросил я после третьей молчаливой рюмки.

— Можаяев, — проговорил он с усилием. — Представляешь, я не знал, что такое давление. А врач говорит: гипертонический криз.

— Выпей, и все пройдет.

— А я что делаю?

Разговор происходил в дни, когда деревенская литература праздновала свой лучший праздник, авторы «Нашего сотрапезника», кроме, разумеется, меня, были награждены, увенчаны всеми существующими лаврами, гордую стаю победно вели два вожака: Астафьев и Распутин. Но именно в эту пору наивысшего преуспевания выяснилось, что их кряжистость,

независимость духа, земляная силушка — не более чем личина, все оказались невероятно чувствительны, ранимы, нетерпимы даже к самой слабой критике. Их и не трогали, пока за дело не взялся тоже деревенщик Можаяев, почему-то оставленный на обочине славы. Он, кстати, не был автором «Нашего сотрапезника». Из зависти к избяным сомученикам, так хорошо нажившимся на своих муках, он пошел на них войной. В первой большой статье, опубликованной «Литературной газетой», удар пришелся по Евгению Носову и поверг того в длительный запой. Можаяев поступил очень хитро и неожиданно: не касаясь художественной стороны дела, он убедительно доказал, что Носов ни черта не смыслит в сельском хозяйстве. Оказывается, курский соловей фальшивит, когда касается в песне крестьянской страды. Меня это не удивило, Носов не настоящий мужик, он художник-график, в войну — солдат, после войны — писатель. Кстати, любой писатель все знает приблизительно, по памяти детства, понаслышке, по летучим наездам; если же он захочет узнать что-то досконально, глубоко и профессионально, то не сможет писать, времени не останется. Да ведь писание — это не фиксация жизненных явлений, а переживание их. И с переживанием деревенских забот у Носова все в порядке, и так ли уж важно, если он что напутал с глубинной запашкой или навозом-сыпцом. Кстати, все деревенщики давно обжились в городах, столь ими презираемых, а в деревню заглядывали на свадьбу, крестины или похороны родственников.

Сейчас стало известно, что Можаяев готовит второй удар. Никто толком не знал, по кому именно этот удар придется, но певцы деревни заметались, затосковали, обнаружили у себя загадочное кровяное давление, да еще подскочившее. Вот ужас!.. Вчера еще небо было в алмазах, а сегодня?..

Гипертоник нарушил молчание после пятой рюмки. Все дерьмо, нет ни людей, ни литературы, торжествуют бездарность, конформизм, кругом интриги, заговоры, надо скорее бежать из этой клоаки, сиречь Москвы.

Я молчал, давая ему выговориться. Все более мрачней, он сказал, что никому нельзя верить, кругом вранье и обман. «Вот и ты тоже... О тебе говорят, что ты жид».

Национальный вопрос никогда не возникал между нами. Я думал, что его вполне устраивает мой официальный статус и то, что в моем поведении нет ничего, этот статус опровергающего. Да и вообще мне в голову не приходило, что черносотенные мотивы могут быть ему близки.

Ненавистное слово в его устах ошеломило меня. Прокапались через душу двор в Армянском переулке, Агапеша с его советами «отмыливать в Бердич», вся старая, полузабытая духота заложила грудь. Господи, воистину все течет, но ничего не изменяется.

А почему он об этом заговорил? Его собираются долбануть в газете, при его репутации это ровным счетом ничего не значит. Я — битый-перебитый, не защищенный ни журналом, ни соратниками, плюю на подобные разносы, а ему-то что? «Наш сотрапезник» или «Литературная Россия» отбредутся за него, оскорбят ответно Можаяева, и весь сказ. Но этот крепыш, забалованный и тонкокожий, морально развалился, едва противник занес руку. Можаяева в еврействе никак не заподозришь, да и вообще он свой, не узнавший своих, а душе нужен супостат, «истинный» виновник нападения, прочный объект ненависти. Не иначе, тут заговор, Можаяев — игрушка в руках исконных врагов русского народа, подлинно русской литературы.

У него стало темное и далекое лицо. Оно вскоре отойдет, высветится, вернет привычные краски и выражение, но фраза, брошенная им, и скрытая работа подсознания, ее породившая, — не случайность, а проговор уже начавшегося в нем процесса, который через годы и годы приведет его в черносотенный стан. Он быстро одумается, почувствуется и порвет с новоявленным союзом Михаила Архангела — ранним детищем едва начавшейся демократической перестройки. Все первые яйца, снесенные российским обновлением, которое до поры само не ведало своей разрушительной силы, были сплошь тухлые, из них вылупились антисемитизм, национализм, общество «Память» и ярая сталинистка Нина Андреева. Это были сильные, жилистые, сразу взрослые и задиристые цыпляки; последующий помет, в котором были свобода слова, выборы взамен голосования, многопартий-

ность и другие бледные копии западных свобод, оказался хилым, слабосильным, маложизнеспособным...

Вскоре я ушел из «Нашего соотрапезника». Дикулов перестал считаться с мнением членов редколлегии и даже формально привлекать нас к формированию журнального портфеля. Ни с кем не посоветовавшись, кроме тех лиц, которые начали глубоко вникать в дела журнала, не будучи с ним формально связанными (они и определяют дальнейшее его коммуно-фашистское лицо), он напечатал в нескольких номерах толстый бездарный и откровенно юдофобский роман. Мне этот роман на ознакомление не давали, а когда он появился, я его читать не стал, как и все другие писания советского Дюма. Но стали приходить читательские письма: «Мы считали Вас порядочным человеком, как Вы могли напечатать такую мерзость?» Читатели наивно считали, что член редколлегии обладает решающими правами в журнале. Я оставил «Наш соотрапезник» тихо, без шума, сославшись на свою загруженность в кино. Конечно, это не могло никого обмануть, прежде всего такого пронизательного человека, как Дикулов, и я был отпущен «без мундира», то есть без полагающейся в таких случаях благодарности. Это меня не волновало, я сам был благодарен журналу за годы работы в нем, за то, что я варился в сытных и духовитых щах тогдашней деревенской прозы, за общение с интересными людьми, за умные и проникновенные речи, которые звучали на редколлегиях, за новый душевный опыт. И я не хотел осложнять жизнь журналу, который уже попал под прицел недружественных сил. Люди пронизательные отчетливо видели, куда ведет выбранный журналом прямой курс...

19

Теперь о главном обстоятельстве, перевернувшем всю мою душевную жизнь. Слишком долго шел до меня голос настоящего отца.

Я не собирался трезвонить о своем открытии, размахивать его письмом, как патентом на равноправие, да это и не было заверенным в домоуправлении и тем обретшим официальную непреложность документом (вроде той справки о порядочности, которую носит в наплечной сумке один итальянский журналист-проходимец). Мне необходимо было для самого себя подтверждение, без которого Кирилл Александрович оставался чем-то вроде рабочей предпосылки.

Может показаться странным, но когда окончательно отпало то, что было кошмаром всей моей жизни, я начал как-то глухо сопротивляться столь желанному дару. Материализовавшийся виновник (воистину виновник) моего появления на свет — я и сейчас избегаю называть отцом обмолвившегося мною незнакомца — оказался третьим лишним. Были Мара и отчим, которых — каждого по-своему — я любил. Но отчим меня не беспокоил, его статус остался без изменения, а как быть с Марой, которого я в глубине души и вопреки всему считал своим отцом? Очень трудно объяснить двойственность моего отношения к нашей семейной ситуации. Обрести свою национальность значило для меня потерять Мару как отца. Не знаю, выжили бы мы с матерью, если б не он. Я обязан ему жизнью в силу его сознательного великодушного решения, а не по физиологическому разгильдяйству. И он опять спас нас с мамой, когда посадили отчима и мы остались без хлеба и друзей. Наверное, все эти рассуждения излишни, я любил его не из благодарности. Любил и сейчас люблю.

Стало ясным, почему мать с такой неохотой, натужностью приближала меня к правде моего рождения. Ей виделось в этом предательство Мары. На последнее и окончательное предательство она так и не решилась, но и уничтожить письмо не могла, не считая себя вправе решать мою судьбу за меня. Она предоставила мне самому разобраться в этой тонкой материи, когда ее уже не будет. Значит, она не была уверена в качестве моего нравственного чувства.

Я не испытывал ни малейшего подъема, ничего похожего на то буйство чувств, которое владело мною прежде — при первооткрытии. Я был в смуте, самое отчетливое ощущение — убыток любви к трудовому крестьянству, за которое отдал жизнь Кирилл Александрович. Расстреляли и утопили его те же мужички, тот человек с ружьем, который делал революцию. И когда я думал о бездарной судьбе прекраснодушного студента, в густом тумане возникал и — с расцеживанием марева — насыщался веществом жизни и красками всадник — генерал-лейтенант Дальберг, бунташных дел усмиритель. Не дожил он до окаянных дней и оставил Россию беззащитной...

Прилив русскости неизменно ожесточал меня, только теперь это стало куда серьезней, не изливаясь в мальчишеское рукоприкладство. Во мне происходил душевный переворот.

Как ночь обнажает мироздание, скрытое за голубой завесой дня, так восемьдесят пятый год сдернул «ткань благодатную покровов» с нашей страны, народа, общества, с каждого отдельного человека. Обнажилась истинная сущность власти, институций, всего нашего тщательно замаскированного бытия.

Из-под всеразъедающей фальши стали проступать подлинность, всамделишность обстоятельств и лиц. Было немало открытий, самое удивительное то, что русский народ — фикция, его не существует. Это особенно ясно стало, когда на останках рухнувшей коммунистической империи возникли самостоятельные республики и высветились задавленные народы: украинцы, казахи, грузины, азербайджанцы, армяне, татары и прочие, не видно и не слышно лишь русского народа,

ибо он не определил себя ни целью — пусть ошибочной, ни замахом — хоть на что-то, ни объединяющим чувством. Есть население, жители, а народа нет.

Социальный пейзаж страны уже не оживлен многомиллионным крестьянством. Сеятели и хранители попрятались, как тараканы, в какие-то таинственные щели. А от их лица витийствуют никем не уполномоченные хитрые и нахрапистые горлопаны (преимущественно колхозной ориентации); сельские жители ни в чем не участвуют, ничего не хотят и по-прежнему ничего не делают: хлеб, картошку и капусту все так же убирают силами армии, студенчества и других посланцев города. Даже на экране телевидения не мелькнет трудовое крестьянское лицо. Изредка показывают каких-то замшелых дедов или изморщиненных парок, прекративших трудовую деятельность еще в прошлом веке, в их маразматическом шамканье — предсказания конца света, как будто он когда-то начинался в России, от огненного змея и тому подобная тарабарщина. А я-то думал, что с отменой социалистического крепостного права колхозники кинутся врассыпную — по своим дворам и личным наделам, но двинулось лишь жалкое меньшинство. Их потуги беспощадно гасятся верной колхозам пьянью и бездельниками. Сельское население живет вне политики, вне истории, вне дискуссии о будущем, вне надежд, не участвует в выборах, референдумах. На устах его печать.

Есть еще рабочие, но их так же неприметно. Активность — и немалую — проявляют лишь шахтеры, словно вся страна — сплошная угольная шахта, но их добрый пример не вдохновляет остальной пролетариат, пребывающий в летаргическом сне.

Ну, а где самый многочисленный слой населения — городской обыватель: инженеры, техники, служащие, работники торговли, транспорта, почты и телеграфа, пенсионеры, те скромные и необходимые люди, которых Сталин ласково-убийственно окрестил винтиками? От забитости и неверия в лучшее они тоже самоустраились, выпали из общественной жизни: достают еду, ходят на службу или в парк, торчат у говорливых деревянных ящиков, злобствуют на всех и вся, не проявляя никакой гражданской активности.

Есть еще студенты, школьники. Вместе с лучшей частью рабочей и служащей молодежи они в решительную минуту делегируют сколько-то тысяч человек (в Москве до тридцати, даже более) и помогают отстоять надежду на демократию, а если быть определеннее, не пустить фашизм. Честь им и хвала, у них прекрасные, легкие и гибельные лица. В их крови на московской мостовой — единственный залог спасения России. Но их слишком мало, этих светлых и чистых, чтобы считаться народом.

Я ничего не говорю об армии и милиции: слегка поколебавшись во время октябрьских событий, они выполнили свой долг на высшем профессиональном уровне. Но они не народ. Когда тележурналист спрашивал, что ими двигало в те решающие минуты, одни отмалчивались, другие иронично улыбались, третьи говорили: верность приказу или верность командиру. Этого достаточно для солдата, но мало для гражданина. Американец вспомнил бы о своем звездно-полосатом флаге. Наш солдат делегировал гражданское чувство, долг и право командиру. Мирное же население либо вовсе самоустранилось, либо равнодушно сдало свои полномочия трибунам-добровольцам, преследующим лишь собственные корыстные цели — власть и обогащение.

Но ведь есть и весьма активная часть населения, та, которая устраивала многочисленные митинги и демонстрации, превращала Останкинскую площадь в гигантский сортир, штурмовала телевидение и мэрию, обороняла Белый дом со всей его коммуно-фашистской начинкой. Это антинарод, фашиствующие и откровенные национал-социалисты, они держали над головой символы — серп и молот и свастика, портреты Ленина, Сталина и Гитлера; одни из них хотят генсека, другие — монарха, третьи — генерал-диктатора, но всех троих — в охотнорядском исполнении.

Их фюреры претендуют говорить от лица народа, но идущие за ними пока что не так многочисленны, чтобы считаться народом или хотя бы частью его, это люмпены, бомжи, пьянь, наркоманы, городские отбросы, которые по свистку появляются и по свистку разбегаются по смрадным укрытиям, что подтвердили октябрьские дни. Корявые руки

жадно потянулись за оружием, в затуманенных мозгах нет сдерживающих центров, а в косматых сердцах — жалости.

Я не очень верю в национальный характер. Постоянные эпитеты, определяющие суть француза, англичанина, немца, испанца, японца, — просто пошлость. На крутых поворотах истории — революции, большие войны — флегматичные англичане, легкомысленные французы, импульсивные итальянцы, добродушные голландцы ведут себя одинаково, и все привычные эпитеты съезживаются перед одним: кровожадный. В русских удивляет сплав расслабленной доброты с крайней жестокостью, причем переход от одного к другому молниеносен. Но в известной степени это относится и к испанцам, и к японцам.

И все же есть одно общее свойство, которое превращает население России в некое целое, я не произношу слова «народ», ибо, повторяю, народ без демократии — чернь. Это свойство — антисемитизм. Только не надо говорить: позвольте, а такой-то?! Это ничего не означает, кроме того, что такой-то по причинам, не ведомым ему самому, не антисемит. Есть негры альбиносы, в Америке они встречаются сплошь да рядом, но это не отменяет того факта, что негр черен. Случаются волки, настолько привыкающие к человеку, что едят из его рук, но остается справедливым утверждение, что волки не поддаются ни приручению, ни дрессировке. Антисемитизму не препятствует ни высокий интеллектуальный, духовный и душевный уровень — антисемитами были Достоевский, Чехов, Э. Гиппиус, ни искреннее отвращение к черносотенцам, погромам и слову «жид», такому же короткому и общеупотребительному, как самое любимое слово русского народа.

Два заветных трехбуквенных слова да боевой клич, нечто вроде «Кирие элейсон!» — родимое «... твою мать!» — объединяют разбросанное по огромному пространству население в целостность, единственную в мире, которая может считаться народом. Таким образом, мы приходим к выводу, прямо противоположному тому, с чего начались наши рассуждения.

И скажу прямо, народ, к которому я принадлежу, мне не нравится. Не по душе мне тупой, непоколебимый в своей

бессмысленной ненависти охотнорядец. Как с ним непродышно и безнадежно! С него, как с гуся вода, стекли все ужасы века: кровавая война, печи гитлеровских лагерей, Бабий Яр и варшавское гетто, Колыма и Воркута и... стоп, надоело брызгать слюной, всем и так хорошо известны грязь и кровь гитлеризма и сталинщины. Но вот разрядилась мгла, «встала молодая с перстами пурпурными Эос», продрал очи народ после тяжелого похмельного сна, потянулся и... начал расчищать поле для строительства другой, разумной, опрятной, достаточной жизни — ничуть не бывало, — потянулся богатырь и кинулся добивать евреев. А надо бы, перекреститься, признаться в соучастии в великом преступлении и покаяться перед всем миром. Но он же вечно безвинен, мой народ, младенчик-убийца. А виноватые — вот они. На свет извлекается старое, дореволюционное, давно иступившееся, проржавевшее — да иного нету! — оружие: жандармская липа — протоколы сионских мудрецов, мировой жидомасонский заговор, ритуальные убийства... Все это было, было, но не прошло. Черносотенец-охотнорядец поднимается во весь свой исполинский рост. Тот, что возник в конце сороковых — начале пятидесятых, был карликом в сравнении с ним.

Послеперестроечный антисемитизм взял на вооружение весь тухлый бред из своих затхлых закромов: давно разоблаченные фальшивки, поддельные документы, лжесвидетельства, — ничем не брезгуя, ничего не стесняясь, ибо все это не очень-то и нужно. Истинная вера не требует доказательств. А что может быть истиннее, чище и незыблее веры антисемита: все зло от евреев. Даже непонятно, зачем черносотенцам понадобились такие крупные теоретики погрома, как Шапаревич и иже с ним. Быть может, для солидности, для западных идиотов, чтобы те поверили в глубокие, научно обоснованные корни примитивной зоологической ненависти и страсти к душегубству.

Возникнув как государство и народ на берегу Днепра, под ласковым солнцем Киева, Древняя Русь удивительно быстро взамен самопознания и самоуглубления, плодотворной разработки собственных духовных и физических ресурсов стала

зариться на окружающие земли, обуянная страстью к расширению. И стала московской Русью, еще более агрессивной. Ведь расширяться, захватывая то, что тебе не принадлежит, куда веселее, вольготнее и слаще, нежели достигать преуспевания на ограниченном материале собственных возможностей.

Уйдя от места своего рождения и пересидев татарское нашествие, Русь с освеженной силой ринулась во все стороны света, но мощнее всего на восток, покоряя, истребляя, развращая другие народы, дорвалась до океана и сменила направление главного удара: бросок на юг, в «рынь-пески» и Кавказские горы. Менее удачным было продвижение на запад, но и тут достигнуты немалые успехи: Россия присоединила Финляндию, Прибалтику, вторглась в сердце Польши.

За всеми этими делами почти забыли о первородине, но потом вспомнили, пристегнули к стремени и нарекли Малороссией, или Украиной, то бишь малой окраиной великой Руси. И стали великороссами, сами так себя назвав. Заодно обзавелись предками — славянами, исконными обитателями тех земель, где зачалась Русь. Никаких славян в помине не было, а были словенские племена, пришедшие из Центральной Европы. Патриотическая смекалка двух братьев духовного звания, живших в семнадцатом веке, буква «о» в заветном слове была заменена на «а» («он» на «аз»), так возникли первожителю бескрайних пространств будущей Руси славяне, а засим великая троица: славяне, слава, православие...

Трудно любить тех, кого ты подчинил мечом и пулей, обездолил, ограбил. Не приходится ждать и любви от них, надо все время быть начеку («Не спи, казак...»), во всеоружии, в не отпускающем напряжении. Оттого и приучились русские видеть в каждом иноземце врага, непримиримого, хитрого, подлого. «Злой чечен ползет на берег, точит свой кинжал». А почему этот берег оказался так далек от славянских полей и лугов и так близок к чеченским горам? И как вознегодовали москвичи, когда чечен приполз на берег Москвы-реки!

При таком отношении к инородцам легко представить себе гнев, ярость, недоумение, растерянность великороссов, когда они обнаружили, что инородная нечисть пробралась в их собственный дом, пока они помогали другим народам избавиться от своей независимости. Без выстрелов и крови, со скрипачкой, с коробом разного товара, да и с водочкой в шинке — будто своих кабаков, трактиров, кружал, пивных не хватало, — с аршином портного, «козьей ножкой» зубодера прокрался супостат. Это мирное и поначалу малочисленное нашествие ничем не грозило, скорее помогало бытовому комфорту коренного населения, но разве думает о выгоде русский человек! Эти вкрадчивые длинноносые и картавые пришельцы распяли нашего... нет, ихнего... нет, нашего-ихнего Христа и, мало того, не могут произнести слово «кукуруза», и нельзя их ни завоевать, ни покорить мирным путем, ибо нет у них своей земли, своего угла, тогда остается одно: гаркнуть во всю могучую великоросскую глотку: «Ату его!» И гаркнули... А он все лезет, и черта оседлости ему не указ. А как пала корона, то и вовсе никакой жизни не стало.

Тяжело обидели евреи Россию, да только ли они? А неблагодарная окраина, Хохландия, забыла, кто ее от ляхов спас? Кто в тридцатые годы помог голодом повальным извести под корень кулака, а с ним и еще несколько миллионов несознательного крестьянства? Мощный удар по идиотизму деревенской жизни поддержали химики и мелиораторы, прикончившие чернозем. На окисленных почвах исчез хвастливый украинский урожай. А теперь, порвав договор, скрепленный подписью народного героя Хмельницкого Богдана — воистину Богом был он дан, — Украина-мати заводит склоку вокруг груды ржавого железа, колышащего воды черноморского пруда, и вульгарный спор об атомных бомбах, истекающих в почву ядовитым гноем, да и других бесстыжих претензий хватает.

Русский народ никому ничего не должен. Напротив, это ему все должны за то зло, которое он мог причинить миру — и сейчас еще может, — но не причинил. А если и причинил — Чернобыль, то не по злу, а по простоте своей технической. Кто

защитил Европу от Чингисхана и Батыги ценой двухсотлетнего ига, кто спас ее от Тамерлана, вовремя перенес в Москву из Владимира чудотворную икону Божьей матери, кто Наполеона окоротил, кто своим мясом забил стволы гитлеровских орудий? Забыли? А надо бы помнить и дать отдохнуть русскому народу от всех переживаний, обеспечивая его колбасой, тушенкой, крупами, картошкой, хлебом, капустой, кефиром, минтаем, детским питанием, табаком, водкой, закуской, кедами, джинсами, спортивным инвентарем, лекарствами, ватой. И баснословно дешевыми поддержанными автомобилями. И жвачкой.

Но никто нас не любит, кроме евреев, которые, даже оказавшись в безопасности, на земле своих предков, продолжают изнывать от неразделенной любви к России. Эта преданная, до стона и до бормотания, не то бабья, не то рабья любовь была единственным, что меня раздражало в Израиле.

20

Со мной произошло странное, а может, вполне естественное превращение. Как только я окончательно и бесповоротно установил свою национальную принадлеж-

ность, сразу началось резкое охлаждение к тому, что было мне вождедено с самых ранних лет. Теперь я плевать хотел, за кого меня принимают, мне важно самому это знать. Я не горжусь и не радуюсь и вместо ожидаемого чувства полноценности испытываю чаще всего стыд. Мое окончательное вхождение в русскую семью пришлось на крайне неблагоприятное для морального тонаса этой семьи время. Почему-то падение тоталитарного режима пробудило в моих соотечественниках все самое темное и дурное, что таилось в укромьях их пришибленных душ.

Народ, считавшийся интернационалистом, обернулся черносотенцем-охотнорядцем. Провозгласив демократию, он всем существом своим потянулся к фашизму. Получив свободу, он спит и видит задушить ее хилые ростки: независимую прессу и другие средства информации, шумную музыку молодежи, отказ от тошнотворных сексуальных табу. Телевидение завалено требованиями: прекратить, запретить, не пускать, посадить, расстрелять — рок-певцов, художников-концептуалистов, композиторов авангарда, поэтов-заумщиков, всех, кто не соответствует нормам старого, доброго соцреализма. И больше жизни возлюбил мой странный народ несчастного придурка Николая II, принявшего мученическую смерть. Но ведь недаром же последнего царя называли в старой России «кровавым». При нем пролилось много невинной крови, стреляли по мирным гражданам. «Патронов не жалеть!» — дворец не отменил приказа Трепова. Великий поэт Мандельштам, великий режиссер Мейерхольд, великий

ученый и религиозный мыслитель о. Флоренский приняли еще более мученическую смерть, сами не повинные ни в единой кровиночке, одарившие страну и мир великими дарами души и ума, но о них народ не рыдал. Этот липовый монархизм можно сравнить лишь с внезапной и такой же липовой религиозностью. Едва ли найдется на свете другой народ, столь чуждый истинному религиозному чувству, как русский. Тепло верующих всю жизнь искал Лесков и находил лишь в бедных чудаках, теперь бы он и таких не нашел. Вместо веры какая-то холодная, остервенелая церковность, сухая страсть к обряду, без бога в душе. Неверующие люди, выламываясь друг перед другом, крестят детей, освящают все, что можно и нельзя: магазины, клубы, конторы, жульнические банки, блудодейные сауны, кабаки, игорные дома. Русские всегда были сильны в ересях, сектантстве, их нынешнее усердие в православии отдает сектантским вызовом и перехлестом.

Я не был молчаливым свидетелем фашистского разгула, начавшегося с первым веем свободы, и, кажется, единственный из всех пишущих ввел тему национал-шовинизма в беллетристику. И тут произошло странное: фашиствующие осыпали меня злобой бранью в своих дурно пахнущих листках, телефон с завидным упорством обещал мне что-то «оторвать», если я не перестану жидовствовать, а интернационалисты застенчиво помалкивали. Равно как и те, кого я взялся защищать. При личных встречах я слышал немало прямо-таки захлебных слов: мол, выдал по первое число черносотенной банде! Но на страницах газет — ни упоминания, будто этих моих рассказов и повестей не существует. Они не сговаривались, у единомышленников и единочувствующих (в данном случае общее чувство — страх, нежелание дразнить медведя) есть таинственный, неслышный и невидный код, позволяющий держать единую линию поведения; здесь она состояла в том, чтобы не считать это литературой. Любопытно, что в нескольких отзывах, прорвавшихся на страницы пристойных газет, как раз подчеркивалось, что, хоть в сатирическом жанре Калитин не похож на себя прежнего, это настоящая и хорошая литература. То был

прямой ответ — опять же без сговора — на фальшиво-брезгливую гримасу мнимых ревнителей изящной словесности. Один из сатирических рассказов перепечатали в Америке, два других в Израиле, но пугливо, словно боясь испортить с кем-то отношения. А моя бывшая соотечественница, талантливая новеллистка и прекрасный человек, говорила мне укоризненно: я никогда не поверю, что все так плохо, вы преувеличиваете, это слишком страшно. Мы встретились недавно в Париже, где издана в двух книжках моя сатира, она уныло признала, что я ничего не преувеличиваю.

У совкового гиганта — вся таблица Менделеева в недрах, самый мощный на свете пласт чернозема и самые обширные леса, все климатические пояса — от Арктики до субтропиков, а люди нищенствуют, разлагаются, злобствуют друг на друга, скопом — на весь остальной мир.

Затем случилось то, что заставило было поверить: не все пропало, есть народ, есть, он просто сбился с пути, потерялся, но вот он — горячие лица, сверкающие глаза, упругие движения, чистые шеи. Я говорю об августе девяносто первого года.

Как ни усердствовали сторонники проигравшей стороны в попытках скомпрометировать это событие, оно навсегда останется золотым взблеском в черной мгле проклятой нашей жизни. Бездарность, нерешительность и несостоятельность бунтовщиков ничуть не снижают героического порыва москвичей, в первую очередь молодежи, ставших в буквальном смысле слова, а не в агитационном, грудью против танков. То был ужасный и подлый лозунг начала Отечественной войны, когда население, принесшее неисчислимые жертвы ради боеспособности своей армии, недоедавшее и недосыпавшее, чтобы боевая техника соответствовала хвастливой песне «Броня крепка, и танки наши быстры», призвали подставить немецкому бронированному кулаку свое бедное нагое тело. Сейчас все было не так: по своему почину мальчики и девочки Москвы пошли грудью на танковые колонны своей армии, и молодые парни, сидящие в танках, пожалели сверстников и в эти святые часы стали н а р о д о м . Впервые столкнувшись с непонятным, необъяснимым для них явлением народа,

организаторы путча, люди тертые, опытные, безжалостные, растерялись, пали духом. Они испугались не в житейском смысле слова, чего им бояться безоружных сосунков, они испытали мистический ужас перед неведомой им силой. Этим, а не чем иным объясняется воистину смехотворный провал затеянного отнюдь не в шутку переворота. Слишком быстрый провал путча дал повод противникам демократии назвать его опереточным. Их презрение к августовским событиям подкрепляется малым числом жертв: несколько раненых и всего трое убитых — разве это серьезно для России, привыкшей каждый виток своего исторического бытия оплачивать потоками крови? Да и сама Россия, похоже, так считает...

Моя очарованность вскоре минула. Возникший неведь откуда народ снова исчез. Его дыхание, его тепло, легшие на стекла вечности, смыло без следа.

Исчез, растаял народ в осенней сырости и тумане, лишь въевшаяся в асфальт близ тоннеля на Садовой кровь напоминала, что он был.

Зато появился другой народ, ведомый косомордым трибуном Анпиловым, не народ, конечно, а чернь, довольно многочисленная, смердящая пьянь, отключенная от сети мирового сознания, готовая на любое зло. Люмпены — да, быдло — да, бомжи — да, охлос — да, тина, поднявшаяся со дна взбаламученного российского пруда, называйте как хотите, но они не дискретны, они постоянны, цельны, их злоба и разрушительная страсть настояны на яростном шовинизме, и, за неимением ничего другого, этот сброд приходится считать народом. Тем самым великим русским, богоносным, благословенным Господом за смирение, кротость и незлобивость, в умильной своей самобытности так стойко противостоящим западной стертости и безликости. От лица этого народа говорят, кричат, вопят, визжат самые алчные, самые циничные, самые подлые и опустившиеся из коммунистического болота. Неужели мне хотелось быть частицей этого народа?..

А ведь в расчете именно на этот вот народ, с твердой верой, что этим народом населено российское пространство, затеяли в октябре девяносто третьего кровавый переворот, который

уж никто не назовет шутейным, «патриоты России», властолюбцы, коммуно-фашистская нечисть. И поначалу казалось, расчет верен: тысячи и тысячи москвичей разного возраста, вооруженные заточками, ножами, огнестрельным оружием, двинулись штурмовать мэрию, Центральное телевидение, телеграфное агентство.

Законная власть, как положено, не была готова к такому повороту событий, хотя ничего другого быть не могло. Милиция и армия выжидали, чей будет верх, чтобы присоединиться к победившей стороне.

Когда-то Пушкин вопрошал, что спасло Россию в двенадцатом году: зима, Барклай или русский бог? Он пренебрег официальными мнимостями: гений Кутузова, героизм армии, народное сопротивление. Что спасло нас в ночь с третьего на четвертое от уже близкой победы фашистов? Погода была теплая, Барклая с его преданностью, выдержкой и твердостью в нашем командном составе не оказалось, а бог явил-таки свою милость. Принесли из Третьяковской галереи в Богоявленский кафедральный собор чудотворную икону Владимирской Божьей Матери, уже спасшей в давние времена Москву от нашествия Тамерлана, а ныне усилившей перед Господом святую молитву патриарха. Но Господь являет свои чудеса не жестом фокусника, а через физическое явление или через живое слово живого человека. Когда земля дрожала под копытами конницы Железного Хромца, выдалась ранняя осень с утренниками, солившими траву инеем. Тамерлан испугался, что лошади падут от бескормицы, и повернул на юг свою рать. А сейчас к народу обратился захаянный псевдопарламентом, снятый с поста, мужественный и умный Егор Гайдар и призвал москвичей защищать законную власть и демократию. И к зданию Моссовета, заполнив Тверскую, стеклись десятки тысяч безоружных, но готовых стоять насмерть москвичей. Казалось, они пришли из августа девяносто первого, только стало их куда больше. Генералы-матерщинники из Белого дома не отважились бросить на них свою грязную рать — и проиграли.

А дальше все пошло по знакомому сценарию: прекрасный народ сгинул, как не бывал, а побежденный охлос воспрял и

с ходу стал накачивать мускулы для реванша. И будто после громового кошмара Вердена на ветку прилетел демократический воробышек и зачирикал об общей (?) вине и что нет победивших и побежденных и, боже упаси, чтобы пострадал хоть волос в красивой прическе Руцкого, чтобы морщинка прорезала лоб Макашова под беретом Саддама Хусейна и чтобы наркотическая ломота не корежила обхудавшее тело спикера. Сидела бы эта проклятая птичка в свежедымящемся навозе, копалась бы в поисках овсинок и не чирикала!..

Господи, прости меня и помилуй, не так бы хотелось мне говорить о моей стране и моем народе! Неужели об этом мечтала душа, неужели отсюда звучал мне таинственный и завораживающий зов? И ради этого я столько мучился! Мне пришлось выстрадать, выболеть то, что было дано от рождения. А сейчас я стыжусь столь желанного наследства. Я хочу назад в евреи. Там светлее и человечней.

Что с тобою творится, мой народ! Ты так и не захотел взять свободу, взять толкающиеся тебе в руки права, так и не захотел глянуть в ждущие глаза мира, угрюмо пряча воспаленный взор. Ты цепляешься за свое рабство и не хочешь правды о себе, ты чужд раскаяния и не ждешь раскаяния от той нежити, которая корежила, унижала, топтала тебя семьдесят лет. Да что там, в массе своей — исключения не в счет — ты мечтаешь опять подползти под грязное, кишашщее насекомыми, но такое надежное, избавляющее от всех забот, выбора и решений брюхо.

Во что ты превратился, мой народ! Ни о чем не думающий, ничего не читающий, не причастный ни культуре, ни экологической заботе мира, его поискам и усилиям, нашедший второго великого утешителя — после водки — в деревянном ящике, откуда бесконечным ленточным глистом ползет одуряющая пошлость мировой провинции, заменяющая тебе собственную любовь, собственное переживание жизни, но не делающая тебя ни добрее, ни радостней...

Стихийные бедствия слишком локальны, чтобы пронять современного человека, если он был далеко от эпицентра встряски. Даже уцелевшие жертвы не слишком переживают гибель родных стен, имущества, близких. Плачут, конечно,

для порядка, даже голосят, требуют «гуманитарной» помощи, но как-то не от души, словно актеры на тысячном спектакле. Истинно довлеет сердцу человеческому, жаждущему обновления, большая кровопролитная война, местные разборки не в счет. Первая и вторая мировые войны вполне потрафили современникам. Они ответили этим мясорубкам появлением новой поэзии и прозы, новой живописи и скульптуры, новым зодчеством и музыкой, новым театром и кино, новым способом мышления. Люди никогда так не любят друг друга всякой любовью: родительской, сыновьей, супружеской, братской, грешной, возвышенной, духовной и плотской — как во время массовых убийств, и, выходя из побоища, будто кровью умытые, готовы к тихой, глубокой мирной жизни, к творчеству и песням, которых не было. А затем все начинается сначала.

Люди часто спрашивают — себя самих, друг друга: что же будет? Тот же вопрос задают нам с доверчивым ужасом иностранцы. Что же будет с Россией? А ничего, ровным счетом ничего. Будет все та же неопределенность, зыбь, болото, вспышки дурных страстей. Это в лучшем случае. В худшем — фашизм. Неужели это возможно? С таким народом возможно все самое дурное.

Серьезные люди — Солженицын в их числе — считают аксиомой, что народ никогда не виноват. А почему, собственно? Не виноваты крысы, пауки, тарантулы, ядовитые змеи, яростные тасманские дьяволы, перекусывающие железный прут, никто не виноват в природе, ибо все совершенны в своем роде и не могут быть другими. У человека, увы, эта безвинность отобрана, в нем природа сделала попытку создать мыслящую материю. А раз он мыслит, раз способен выбирать из ряда возможностей, лучших и худших, то действия его не инстинктивны и он отвечает за все, что делает. Отвечает перед самим собой, то есть перед совестью, перед окружающими, то есть перед обществом, отвечает перед законом, отвечает перед богом, если он бога обрел. Народ состоит из людей, он так же ответственен, как и отдельный человек, недаром Господь карал за общий грех целые народы. Немецкий народ осознал свою общую вину, покался в ней, вновь обретя нравственное достоинство.

Самая большая вина русского народа в том, что он всегда безвиновен в собственных глазах. Мы ни в чем не раскаиваемся, нам гуманитарную помощь подавай. Помочь нам нельзя, мы сжует любую помощь: зерном, продуктами, одеждой, деньгами, техникой, машинами, технологией, советами. И опять разверзнем пасть: давай еще!..

Может, пора перестать валять дурака, что русский народ был и остался игралищем лежащих вне его сил, мол, инородцы, пришельцы делали русскую историю, а первожитель скорбных пространств или прикрывал голову от колотушек, или, доведенный до пределов отчаяния, восставал на супостатов? Удобная, хитрая, подлая ложь. Все в России делалось русскими руками, с русского согласия, сами и хлеб сеяли, сами и веревки намыливали. Ни Ленин, ни Сталин не были бы нашим роком, если б мы этого не хотели. Тем паче бессильны были бы нынешние пигмей-властолюбцы, а ведь они сумели пустить Москве кровь. Руцкой и Макашов только матерились с трибуны, а перли на мэрию, Останкино и ТАСС рядовые граждане, те самые, из которых состоит народ. Но их сразу вывели из-под ответственности. Незаконные милости столь же растлевающие, как и незаконные репрессии.

Я взял бы в качестве эпитафии первую строчку из стихотворения Печерина: «Как сладостно отчизну ненавидеть», рука не повернулась добавить к ней вторую: «И жадно ждать ее уничтожения». Когда-то русофил Константин Леонтьев в мучительном прозрении сказал: «Предназначение России окончить историю, погубив человечество». Печерин разделяет его точку зрения, он видит «в разрушении отчизны» денницу всеобщего спасения. До какого же отчаяния довела Россия двух прекрасных сыновей своих!

С этим связано и отношение к нам мира. До восьмидесяти пятого года — ненависть и боязнь; после восьмидесяти пятого пропала боязнь, появилось расположение, сменившееся вскоре презрением; ныне к презрению вновь добавилась боязнь. На то есть все основания: в безумных и слабых наших руках — оружие, способное в два счета осуществить предсказание Леонтьева. Но еще хуже, что тысячи людей,

владеющие секретом этого оружия, разбежались по странам, вождедеющим смертоносного атома и не обременным излишним человеколюбием.

А если не дать погибнуть всему миру и не уничтожать превентивно Россию — возможно ли это? Придется вспомнить святые, в зубах навязшие и ни на кого не действующие слова апостола Павла: «Несть эллин, несть иудей». Подставим под эллина русского, а под иудея все остальные нации, существующие на планете. Спасение только в одном: стать из народов многих, из вавилонского столпотворения, не прекратившегося по сей день, человечеством. Таким же честным единством, как львы, как крысы, как олени, как тасманские дьяволы, как орлы или воробьи. В единстве этом никто не лучше, не хуже, все делают одно дело: спасают среду обитания, вместе стараются выжить в почти задуженной природе. А в свободные часы и праздники пусть каждый гуляет как хочет. С одним условием, чтобы праздничный бифштекс был без крови.

Русские, конечно, перепугаются: пропадет богатство национальных красок. Ничего не пропадет, каждый волен бить дробцы или чечетку, орать в микрофон или петь жаворонком, носить сарафан или бикини.

Как хочется поверить, что есть выход! Как хочется поверить в свою страну!

Трудно быть евреем в России.

Но куда труднее быть русским.

**Моя
золотая
теща
Повесть**

Конечно, я всегда, как себя помню, знал, что в Москве находится гигантский мотоциклетный завод, но это меня ничуть не волновало. В ту пору мотоцикл был так же недоступен, как автомобиль, я мог мечтать лишь о велосипеде, чем и занимался все свое детство. Ничего не слышал я и о легендарном директоре этого завода Звягинцеве, даже имени его не знал. Такое бывает только со мной: избирательная особенность моего мозга умудряется оставить без внимания выдающиеся явления, громкие события, знаменитых людей, словом, все, что привлекает, волнует, будоражит нормальных граждан. Моя неосведомленность в общеизвестном большинству знакомых кажется позой: строит, мол, из себя отвлеченного гения, и лишь немногие добрые души относят это за счет болезненной рассеянности на грани невменяемости.

Мотоцикл был очень популярен в гражданскую войну и первые годы советской власти. На нем ездили даже члены правительства. Лев Троцкий, занявшийся критической деятельностью в какие-то вакуумные дни своей пошатнувшейся карьеры и решивший написать о Пастернаке, прислал за ним мотоцикл с коляской, чем крайне озадачил пугливого к технике поэта. Мотоцикл был тайной страстью Сталина: он считал всякую любовь непозволительной для политика слабостью и тщательно скрывал даже от близких свои редкие увлечения. На мотоцикле сидят верхом, как на лошади, а неуклюжий, сухорукий, хромой Сталин смолоду неплохо держался в седле и крайне ценил эту свою способность, единственно безопасную для окружающих. Он даже хотел собственноручно принимать Парад Победы, но после нескольких попыток взобраться на старую смирную кобылу

буркнул: «Возраст!» — и передал почетное право маршалу Жукову, еще более укрепившись в зависти-ненависти к нему.

Но мы ушли в сторону. Мотоциклетный завод, носивший имя, разумеется, Сталина, был городом в городе, там работало до ста тысяч рабочих; одно из дочерних предприятий производило велосипеды, другое — танкетки, любимый Сталиным вид боевой техники. Быстрые, подвижные, вертикальные, они тоже напоминали коня и казались вождю куда привлекательнее огромных, неповоротливых танков. В военном отношении Сталин исповедовал концепции 1-й Конной, с которой породнился в незабвенные царицынские дни, уничтожив половину ее командного состава. В Отечественную войну Сталин разочаровался и в стратегическом гении создателя 1-й Конной маршала Буденного, оказавшегося всадником без головы, и в любимых танкетках — немецкие снаряды пробивали их, словно они сделаны из картона.

Строитель и первый директор завода, Звягинцев прошел курс обучения на знаменитом заводе «Харлей», за что его прозвали русским Харлеем. Если на «Харлее» он дослужился до мастера цеха, то в родной стране шагнул куда дальше: из мотоциклетных королей прыгнул в наркомы всей подвижной техники. В его ведении оказались мотоциклы, автомобили, велосипеды, все сельхозмашины, самолеты, паровозы, артиллерия и танки. То был пик его карьеры, а потом он страшно погорел.

Сталин приказал создать в кратчайший срок мини-мотоциклетку (прообраз мотороллера), и завод с энтузиазмом взялся за освоение нового производства. Вскоре нарком Звягинцев дал интервью в «Правде» о рождении советской мини-мотоциклетки, как положено, лучшей в мире. В последнем не было особого преувеличения, ибо модель, по обыкновению, украли у «Харлея», там же приобрели все детали для опытного образца. Явив редкую доверчивость, Сталин назначил прием новой машины на ближайшее воскресенье. То была давняя традиция: обычно он со всем Политбюро стоял на кремлевском крыльце, а мимо дефилировала колонна новеньких машин. Затем он лично опробовал машину. Такой же парад замышлялся и на этот раз. Из секретариата вождя

позвонили на завод и передали приказ какому-то маленькому служащему, случайно оказавшемуся в заводоуправлении. Как на грех, по летнему времени все начальство отсутствовало, кто отдыхал на Черном море, кто в деревне, кто на рыбалке. Служащий поступил, как чеховский чиновник, чихнувший в театре на лысину сановнику: он пришел домой, лег и умер, не сказав никому о полученном распоряжении.

В назначенный час Сталин и ближайшие соратники вышли на высокое кремлевское крыльцо. Но напрасно ждали они наплывающий рокот шустрых механических жучков, тихо и пусто было на раскаленной площади. Старик Калинин упал в обморок, Молотов, ненавидевший Звягинцева как любимчика Сталина, довольно громко сказал: «Надул нас этот рекламист». Сталин повернулся и молча покинул крыльцо.

К пущей беде Звягинцева, он и сам находился в отлучке, отдыхал с женой в крымском санатории. За ним послали самолет...

Все руководство завода посадили, Звягинцева сняли с поста наркома и вернули на старое место. Считалось, что он дешево отделался.

Эти события, долго волновавшие москвичей, прошли мимо меня.

Из многих мук той поры, когда он вернулся с фронта, его сильнее всего донимал дом на Зубовском бульваре. Странно, что в этом доме как бы сконцентрировалась вся боль разрыва с Дашей и то странное тупое недоумение, которое давило сильнее боли. Впрочем, законно ли разделять два этих чувства? Можно сказать, что боль была неотделима от недоумения, а можно и наоборот: недоумение пропитано болью. И все же боль порой стихала — ненадолго: за рюмкой, с бабой, а тягостное недоумение оставалось всегда с ним, как ноюще-сверлящий зуд в задетой пулей щиколотке. Он уже не хромал, и рубец почти не просматривался, но тянуло, стреляло и ныло с утра до ночи, и даже во сне чувствовалось раздражающее неудобство.

Тягостное недоумение стало таким же фоном этих дней и месяцев его жизни, как и постоянный физический диском-

форт из-за оцарапанной кости. Но телесная доука не занимала мыслей, а недоумение беспрерывно заставляло доискиваться: что случилось и как это могло случиться, чем же тогда было все предшествующее? А случилось самое простое, простое, как дыхание, особенно для военных дней: в его отсутствие жена влюбилась в другого. Казалось бы, исчерпывающе ясный, однозначный ответ исключал всякий повод для недоумения, но оно оставалось, ибо неожиданный всплеск неуправляемого чувства никак не отвечал ни его собственному представлению о жене, ни тому впечатлению, которое она производила на окружающих: красивая, сдержанная до чопорности, холодно учтивая, спокойная молодая женщина, всегда с прямой спиной и гордо посаженной головой. Сейчас он судорожно цеплялся за этот внешний рисунок, прекрасно зная про себя, что она вовсе не мороженая рыба, а человек сильных, хотя и тщательно таимых чувств.

Он был ее первым мужчиной, но не первой любовью. Года за два до их знакомства она едва не стала женой человека на двадцать лет ее старше, готового пожертвовать семьей и поставить под удар блистательную карьеру. Он был из причастных власти, а там царили в ту пору строгие правила домостроя. Брак не состоялся, ибо накануне решающего жеста он, умный и дальновидный в своей грубой среде, растерялся в тонком Дашином мире и обнаружил свою волчью суть. Даша в слезах и отчаянии позволила матери выгнать его вон.

А потом был влюбленный поэт, хороший поэт и славный мальчик, но Даша так его и не полюбила, хотя покорно скользила к замужеству, которого хотела ее семья. В двадцать лет она казалась не только созревшей, но и чуть переспелой, как те вишни, что лопаются от распирающего их сока; полная, величественная, начисто лишенная девичьей легкости и подвижности — юная матрона.

И был Крым, и встреча с ним, ныне брошенным мужем, а тогда восемнадцатилетним мальчиком, только окончившим школу. Понятно, что он влюбился, но удивительно, что Даша, которая была не только на два года старше, а в этом возрасте

год идет за пять, но неизмеримо взрослей, испытанней в страстях, уже дважды невеста, влюбилась в недоросля. И так влюбилась, что через год любовно-целомудренных отношений простила ему роман, творившийся на ее глазах, со зрелой, искушенной женщиной, решившей сделать из него мужчину. Девятнадцатилетний парень оставался невинным, хотя страстно-безгрешные игры с Дашей доводили его до исступления. Чтобы вернуть его к себе, Даша подарила ему свое единственное, как она старомодно выразилась, достояние. Вернуть и намертво привязать. Да, он был так схвачен, что, став перед уходом на войну ее мужем — а это действует отрезвляюще на самую пылкую страсть, — даже мысленно не мог представить себя с другой женщиной. И на фронте не перестававшее томить желание — вопреки блокадному голоду, цинге, чудовищной бомбежке, а потом и окружению, в которое он угодил под Мясным бором, имело лишь один образ — Даши, ее лица, груди, рук, бедер, лона. Кругом гомозились несытые — при всем несколько бессильном рвении фронтовых мужчин — связистки, медсестры, сандружинницы, штабные машинистки, официантки офицерских столовых, почтарши, а он, как последний дуралей, метался ночью на койке или нарах, или просто на голой земле — в зависимости от того, где заставала его военная ночь, представляя себе в тысячный раз, что они делали с Дашей и что он сделает, когда вернется домой. Не научившись в детстве самоудовлетворяться, он изнывал от этой пытки воображением, перенапрягавшей плоть без надежды на освобождение. Наверное, он быд задуман однолюбом, но физически был сотворен на роль самца в стаде. Он был обречен на верность Даше и никогда не думал об этом как о добродетели.

Собственную зашоренность он распространял на нее. У него даже тени сомнения в ее верности не возникало. То, что предшествует соединению, привлекало ее куда сильнее, чем торжество любви, ибо она не разделяла кульминации. Она с охотой перенимала его не слишком богатый опыт и смелое экспериментирование в науке страсти нежной. Это было ей куда интереснее — в силу хотя бы разнообразия — обычной

потной работы. Она в своих письмах вспоминала, как он стоял на коленях перед низким диваном меж ее широко разведенных ног. Он тянулся к ее губам и глубоко внедрялся во влажно горячее естество; она забирала его губы в свой нежный рот, ему казалось, что он весь проваливается в нее.

Она всегда уверяла, что прямая близость ничего ей не добавляет, это казалось дополнительной гарантией верности: она может принять ухаживание, может поцеловаться, но зачем ей близость, которая не нужна, лишь марает. Тогда он еще не знал, что фригидность гораздо чаще действует как обратный стимул. У женщины всегда есть надежда, что с новым партнером у нее получится. И другое: она не ценит близость и, уступая настойчивому домогательству, легко дарит то, что ей самой безразлично. Замороженные женщины куда доступнее тех, что испытывают наслаждение, эти знают цену близости и не бросят себя, как мелочь нищему. Сила содроганий пропорциональна силе наносимого мужу или любовнику морального и душевного страдания от измены. А если ты сама нейтральна к происходящему, значит, это не дорого стоит, есть из-за чего сыр-бор разводить!

Он так и не смог понять, была ли она фригидна на самом деле или наговаривала на себя из какого-то вывернутого наизнанку самолюбия: независимая от возлюбленного дарительница милости, а не партнерша, одариваемая в свой черед. Ей импонировал жест царицы к влюбленному подданному, которого, осчастливив, можно сбросить со стен на расклеив воронью. Вот она его и сбросила, когда пришел час. Только пришел ли этот час, ведь он сам оборвал нить, вернувшись с фронта и поняв, что в его доме пахнет воровством. Она это воровство отрицала твердо, но без излишнего пафоса. А по прошествии некоторого времени призналась, что сошлась с человеком, явившимся причиной их разрыва.

Он никогда не думал, что окажется в положении своего сменщика, так и не ставшего Дашиным мужем, но съехавшего с ней после смерти ее матери и развала семьи. Она хотела вернуться к нему и, веря в магическую силу своих объятий, почти навязала близость. А затем через годы и годы, выйдя замуж за другого человека, родив ему ребенка, она опять

нашла его и навлекла на себя. Может, действительно любила? Вела она себя в постели иначе, чем в молодые годы: горячее, профессиональнее, что ему не нравилось, поскольку не он раскрыл ее, но клятвенно уверяла, что по-прежнему ничего не чувствует. Его это не слишком волновало, но знать правду хотелось. Он так ничего не узнал, окончательно перестав откликаться на ее с годами слабеющие призывы.

Но к дому на Зубовском у него были другие вопросы...

Это был очень большой по тем временам, П-образный семиэтажный кирпичный дом, построенный в середине тридцатых годов. Внутреннюю часть буквы «П» составлял обширный двор, посреди находился сквер с тощими липами, лавочками, деревянными грибами, беседкой и площадкой для детских игр, обнесенной низенькой оградой. Старые московские дворы поэтичны, этот двор, предтеча бесконечных безликих, скучных дворов новой московской застройки, был начисто лишен поэзии, хоть какой-то зацепки для лирического чувства. Дашина семья жила на первом этаже в левом крыле дома. Окна располагались довольно близко к земле, и, став на цыпочки, можно было заглянуть в комнаты, поэтому окна всегда оставались зашторенными. Все равно можно было исхитриться и ухватить глазом какие-то предметы обстановки в Дашиной комнате: люстру с матово-молочным колпаком, ее семнадцатилетнюю фотографию на стене — возраст первой любви, угол платяного шкафа; иногда, если штору задерживали небрежно, приоткрывалась другая часть комнаты с книжной полкой и кокетельским рисунком Волошина. Но как он ни тщился, ему ни разу не удалось увидеть хоть краешек дивана, перед которым он стоял на коленях. Кроме дивана, его ничто не волновало в Дашиной комнате, ибо тут все было нейтрально к ее личности. Пейзаж Волошина ее не трогал, в нем не сияло кокетельское солнце, покрывавшее ее каждое лето плотным шоколадным загаром. Фотографию свою она не любила как напоминание о том, что хочется забыть. Карточку нашел и повесил на стену он. Даша вначале недовольно кривилась, потом перестала ее замечать. Она была интимно связана не с обстановкой, которой распорядилась мать, а с одеждой,

любя дома теплое, мягкое и уютное: платки, чесанки, стеганые халаты, высокие войлочные туфли, а на выход — вещи яркие, броские, придававшие ей уверенность. На людях она была довольно молчалива и, пожалуй, застенчива, одежда как бы возмещала недостаток апломба. Поэтому он не часто заглядывал в Дашину комнату.

Его привлекал самый дом тем волнением, которое он испытывал в счастливые времена, приближаясь к нему. Он жил неподалеку, у Кропоткинской площади, но почему-то всегда ехал сюда на трамвае. Странное дело, до войны москвичи не любили ходить пешком, даже одну остановку стремились проехать на трамвае, пусть висят на подножке.

Он отправлялся на свидание с таким чувством, будто оно обязательно не состоится. Сумеет ли он доехать, ведь от Кропоткинской до Зубовского бульвара дальше, чем до самой далекой звезды. Трамвай сойдет с рельс, он попадет под машину, случится землетрясение, и на месте Дашиного дома останутся развалины, фашисты без объявления войны разбомбят Москву, хулиганы с Усачевки всадят ему в спину нож, его не пустят в дом за неведомую страшную провинность. Даша заболела, умерла, вышла замуж. И странное дело, последние, более возможные причины его провала волновали меньше, чем глобальные катаклизмы, главное, чтобы дом уцелел. Если он на месте, то не все пропало.

Трамвай трясся по длинной Кропоткинской улице, обстроенной старыми особняками. Одни здания несли в себе надежду, другие вещали о беде. Дом ученых, вечером хорошо освещенный, закручивающий вокруг себя малый людской водоворотик, был добрым знаком, каланча же пожарной части своей угрюмостью и настороженностью обрывала сердце дурным предчувствием, но если успеть поймать вторым зрением Музей западной живописи по другую сторону улицы, то угроза смягчалась, чтобы начать новое стремительное нарастание в обставе высоких безобразных домов близ Зубовской площади.

Он соскакивал на остановке, темное ущелье Кропоткинской оставалось позади, впереди открывался широкий просвет от площади к Хамовникам, возвращая надежду. Он

перебегал улицу. Здесь на углу находилось становище седоусого айсора в кубанке с вытертым овечьим мехом. За его спиной змеились черные и коричневые шнуры, посверкивали баночки с гуталином, свисали аппетитные гроздья стелек, жесткие щетки на ящике с подставкой для ноги обещали навести глянец на весь мир. Вкусный запах сапожной мази оборачивался гарантией успеха, весь последующий путь страхи отпадали, как увядшие листья с капустного кочана. Он уже знал: дом на месте, и сейчас ему откроет дверь Даша в шерстяном или шелковом платке на плечах, аккуратных валеночках или войлочных туфлях, такая уютная, милая, родная, враждебная лишь косиной левого глаза, которая пройдет, как только она убедится, что он не стал чужим. Он любил эту некрасивую косину, потому что то была примета ее заинтересованности в нем. Правда, в дальнейшем обнаружилось, что косина может быть и проговором во лжи. Но тогда она не лгала.

У Даши был прекрасный прямой взор широко распахнутых под густыми ресницами ореховых глаз, но когда в ней пробуждалась подозрительность или какое-то другое нехорошее чувство, радужка левого глаза западала к виску, являя холодную полусферу голубоватого белка. Но другой, прямо смотрящий глаз сразу обнаруживал неизменность его любви, и взор ее выпрямлялся. Лицо обретало обычную милую, доверчивую цельность.

И вот сейчас, повторяя ритуально свой, теперь уже бесцельный маршрут (по-прежнему — только на трамвае), он испытывал все те же чувства: волнение, ожидание беды, нежность к Дому ученых, страх перед пожарной каланчой, подавленность от высоких безобразных домов с приближением к Зубовской, подъем духа в виду просвета Хамовников и все усиливающуюся веру в удачу от становища айсора (война не сдвинула его с места) до подъезда, но, не дойдя двух-трех метров, он расшибался о пустоту, как птица о стекло витрины, с ощущением не воображаемого, а физического удара.

Зачем он ходит сюда? Он не знал. Вот ведь дичь — ему притягателен этот бездарный, безликий дом с жидким

сквериком и детской площадкой, отбивающий охоту вернуться в детство. Если бы он мог понять то темное и не желающее самоопределиться чувство, которое тащило его сюда, возможно, он избавился бы от недоумения, в которое повергло его предательство Даши. Иного слова для нее не было. Ведь они оба считали, что это на всю жизнь, что им невозможно и ненужно врозь. Они были так полны друг другом, что в эту цельность не могло проникнуть ни постороннее чувство, ни посторонний человек. Все, что не их спай, — так нище, холодно, ненужно! Порой ему казалось, что она тоже мучается бессмыслицей, разорвавшей единое и неделимое. Но ему ни разу не вспало на ум встретиться с нею, объясниться, не было такой силы, которая могла бы вернуть его к ней. Так чего же добивался он своим паломничеством к ее дому? Может, просто воскрешал прошлое, еще не обесцененное настоящим? Но почему такое простое и естественное объяснение не приходило на ум? Скорее уж, он ждал какого-то чуда. Но не чуда возвращения к ней, а чуда освобождения от нее. Ему хотелось увидеть дом не воплощением тайны, а тем, чем он был на самом деле: огромной, унылой коробкой, где продолжала жить ставшая ненужной женщина.

Нет, он не искал встречи с ней и почему-то был твердо уверен, что они не встретятся во дворе ее дома. Он не хотел объяснений, прежде всего потому, что ей очень хотелось объясниться. Молчаливая на людях, немая в застолье, она была разговорчива с глазу на глаз и очень любила выяснять отношения, даже когда выяснять было нечего. Конечно, при желании всегда можно найти зацепку: мне показалось, что тебе стало скучно со мной, — и поехало, поехало... Это не выглядело противно: у людей ее круга, которому он отчасти принадлежал, было в обычае объясняться, анализировать чувства, причем не обязательно любовные, а и дружеские, товарищеские, родственные, профессиональные. Это стоит в том же ряду, что и писание длинных, серьезных писем. Было во всем этом что-то облагораживающее, уводящее от лапидарности советского хамства в мир иных, тонких, подробных, глубоких отношений. Каждая их близость, даже когда они стали мужем и женой, предварялась долгим,

проникновенным разговором, как бы оправдывающим согласие на вечность, доступную пуделям. Нет, в ней не было ничего от синего чулка, от классной дамы, позволившей уложить себя в постель и запоздало спохватившейся. Ей нравилась тонкая интеллектуальная игра, чуть отодвигающая, но и обостряющая предстоящее объятие. Теперь игры кончились...

Мое паломничество кончилось самым неожиданным образом. Даша позвонила мне и попросила прийти. У нее умирала мать от рака лимфатической системы. Конечно, я пришел. Встреча была печальной. Она куталась в знакомый шерстяной платок, на ногах были знакомые аккуратные маленькие чесанки, она была похожа на себя прежнюю, и на какое-то мгновение мне показалось, что настоящее связалось с прошлым. Из этого возникло чувство беспреградности, родности, и казалось естественным, что мы очутились на ковре, покрывавшем пол (шуметь нельзя, за стеной лежала мать). Но, получив бедное наслаждение, я понял, что ничего не вернулось. Похоже, она вложила больше живого чувства в воскрешение былого. И все-таки телесно я чувствовал ее с пронзающей силой. Конечно, это не шло в сравнение с коленопреклонением у нее в комнате, оказывается, любовь участвует в физической близости, но я не получал такого от других женщин.

За стеной послышался не то вздох, не то стон, Даша метнулась к матери. Внутренняя суть ее движения соответствовала энергии глагола, но внешне она сохраняла всегдашнюю неторопливость. В глубине ее мог бушевать пожар, но окружающим она показывала спокойное лицо, ничто не могло сбить ее с размеренно-плавного ритма. Что это — умение владеть собой или эмоциональная заторможенность? Я видел слезы на ее глазах, но не видел ее плачущей, тем паче рыдающей, я видел ее улыбающейся, слышал короткий смешок, но не видел громко, открыто смеющейся и уж подавно — хохочущей. Всегдашняя ее сдержанность, погруженность в себя помешали мне увидеть нынешнюю потерянность, горестный обвал души. Из этого обвала прозвучал зов

ко мне, отсюда и жест-подачка моей малости, себялюбия и похотливости. Она узнала великое горе и пожалела мое горе, сила страдания не зависит от весомости порождающей его причины. Я не сумел оценить по-настоящему это проявление понимающей доброты. Меня одолевали суетные мысли. Где ее новый друг, или он оказался непригоден вблизи смерти? И где ее приемный отец, почему его так поздно нет дома? О причине отсутствия друга я никогда не узнал, хотя и догадывался — он появится снова в Дашиной жизни вскоре после похорон, потом канет навсегда, а приемный отец совершит предательство. Уже в начале болезни жены, под каблуком которой беззаботно прожил четверть века, он, профессор кислых щей, сошелся с влюбленной в него студенткой и сейчас с трудом соблюдал приличия, уже будучи весь в своей новой жизни. Умирающая знала наперед: он поставит ей дорогой памятник и холодно расстанется с Дашей, которую воспитывал с годовалого возраста.

Писать о прошлом гораздо легче, чем когда-то находиться в нем. Умирающая за стеной женщина долго ненавидела меня. Даже странно, что у немолодого, умного, с большим жизненным опытом человека могло быть такое взрослое и стойкое чувство к мальчишке. Ненависть коренилась не столько в моих личных качествах (тоже мало ей привлекательных), сколько в том, что я встал поперек пути. Она торопилась устроить Дашину судьбу, то ли провидя свой недолгий век и ненадежность опекуна, то ли боясь, что милая полнота дочери скоро обернется рыхлостью и бурный весенний расцвет перейдет без лета в осень. В самостоятельную судьбу дочери она проницательно не верила. Слишком прочно защищенной от жизни Даше в одиночку не уцелеть. И матери хотелось для нее надежной защиты. Разве мог это дать влюбленный мальчишка-студент из скудного и не взысканного временем дома? Она оказалась бессильна против меня, пока я был рядом с Дашей. Мой отъезд на фронт развязал ей руки, вернув власть над дочерью. Сменщик, выбранный из окружавших Дашу молодых людей, годился на роль покровителя еще меньше, чем я, несмотря на могучую статью — вылитый Васька Буслаев. Богатырь был с гнильцой — вневойсковик, белобилет-

ник, что-то неладное с психикой. Но, чтобы выставить меня, вполне годился. А потом пришла смертельная болезнь и смертельный страх за дочь. И тогда она вспомнила обо мне, о моей семье, и в первую голову о сильном и ответственном человеке — моей матери. На нее можно оставить Дашу.

Даша вызвала меня, потому что мать так хотела. Она легла на пыльный ковер, потому что мать так хотела. Тут не было собственной души, лишь послушание матери, которым она искупала прежнее своеволие. Истина открылась мне в отрешенности Даши от происходящего, в автоматизме ее движений, отсутствии оправдывающих грубость соединения разговоров. И она ничего не преодолевала в себе, образ былинного богатыря-белобилетника в близости страшной потери свеяло, как полову. Было лишь одно важно: тяжелое дыхание и короткий стон за стеной — последние признаки еще дряхлеющей жизни. Так я получил Дашу из полумертвых рук бывшей тещи, но не испытывал благодарности.

Как ни странно, но в той омороченности, которая неизменно настигала меня возле Даши, я на редкость быстро разгадал подоплеку своего внезапного вознесения. Куда радостнее было бы тешить душу обманом о вновь пробудившейся любви, нет, она просто подчинилась матери, не проверяя перед лицом смерти справедливости ее намерений. Мне было тяжело. Когда-то я пересилил мать в Дашиной душе, потом она взяла реванш, но я не считал своей победой нынешний удар. Это хуже, чем разрыв, — предательство всего, что между нами было.

Я не хочу быть спасательным кругом, Даша не пропадет и без меня. Она обречена на гибель лишь в отставшем от времени воображении ее матери. То были редкие в моей жизни дни, когда я видел реальность — впрямую и немного вперед, а не творил ее на свой лад. Но я бы солгал, сказав, что оставался с Дашей лишь из человеколюбия. То здание, которое мы когда-то возвели, рухнуло, рассыпалось вдребезги, но и на обломках его я находил утешение. Меня сводило судорогой желанием, когда она с покорным, унылым видом опускалась на пыльный ковер. А потом становилось пусто, гадко, а главное, стыдно за обман нашего прошлого. Я быстро

уходил, она меня не удерживала, но на следующий день я опять был тут.

Вскоре после похорон я перестал к ней ходить. Даша была свободна от обязанностей перед ушедшей и собиралась спасаться на свой лад. У нас не было никаких объяснений, она молчаливо давала мне вольную. Вневойсковик явился из той темной дыры, где творилось его существование до Даши и куда он снова канул, когда она от него отказалась...

...Весной он восстановил одно старое знакомство. Он начисто забыл эту молодую женщину, с которой познакомился перед войной в доме студента-юриста, красивого, шумного, музыкального парня, полуармянина. Он попал в этот дом случайно, встретив на улице девушку, которую мельком видел на коктейбельском пляже. Тогда он удивился ее странной, удлиненной, нервной, антилопье́й прелести и длинному вздернутому носу печального Петрушки, но, захваченный Дашей, прошел мимо. Она сразу и как-то взволнованно вспомнила его и пригласила на день рождения к жениху своей ближайшей подруги. Несколько лет спустя — в эти годы легла война, поэтому можно сказать, век спустя — он вспомнил ту значительную интонацию, с какой коктейбельская Катя назвала ее фамилию. Но он умудрялся жить в своем микромире, зная множество интересных ему ненужностей и не зная других, куда более интересных для большинства. Так, он ничего не слышал об одном из самых популярных москвичей — директоре мотоциклетного завода Василии Кирилловиче Звягинцеве, самородке-самоцвете, герое столичных легенд. Но и услышав от Кати это имя, он тут же дал ему выпасть из сознания, и никакое предчувствие не коснулось его беспечной души.

Виновника торжества он запомнил. Тот блестяще играл на рояле, вернее, ловко, споро, с данной от рождения техникой барабанил по клавишам, подражал известным певцам, блистательно, хотя тоже ломаясь, танцевал. Непонятно было, зачем при таком артистизме, слухе и чувстве ритма понадобилась ему юриспруденция. Но, возможно, он умел творить свои музыкальные чудеса, только ломаясь, подражая кому-то, а сам по себе был пуст. Как в анекдоте про знаменитого

трагика, который мог страстно любить женщину в образах Отелло, Макбета, Дон Жуана, а становясь самим собой, превращался в импотента.

Словом, ему понравилось в доме, куда привела его Катя, но сам он не вписался в компанию: слишком был серьезен, молчалив — от застенчивости. Его больше не приглашали. А вскоре началась война. Как-то мельком он услышал, что Катина подруга и будущий юрист поженились и уже ждут ребенка. Его удивило, что это произошло так быстро. Мы не следим за чужим временем. За своим — тоже.

А потом минуло время, значительное для него и полное, как целая жизнь. Он женился, ушел на фронт, издал книгу, был контужен, вернулся, потерял жену, болел, якобы пришел в себя и стал военным корреспондентом, но вновь нацельно не собрался. Оказывается, и для других людей время бывает не менее щедрым на события. Он узнал об этом от Кати, с которой не порывал вяло дружеских отношений. Впрочем, такими эти отношения казались только ему, Катя вносила в них совсем иной смысл. Она жила на Тверском бульваре в огромной комнате, оставшейся от родителей, рано умерших от туберкулеза. Комната была отделена прихожей от остальной общей квартиры, что делало ее очень удобной для дружеских сборищ. Война кровопролитно приближалась к победному концу, и Москва пила, как в последний день. Провинция пила куда меньше столицы, он убедился в этом во время своих тыловых командировок — контузия время от времени давала о себе знать, тогда его использовали в мирных целях. Там почти не осталось мужчин, и женщины были озабочены телесным дискомфортом, а не стремлением залить глаза. Москва же пила безудержно. И на очередной пьянке у Кати появилась молоденькая, маленькая женщина на крепких, коротких ножках, окатистая, как говаривал Лесков, стройная и звонкоголосая. Особенно привлекала в ней румяная свежесть лица. Таких свежих лиц во время войны не осталось, все несло на себе печать усталости, недоедания, отсутствия витаминов, горячей воды и страха за близких. Эта молодая женщина, ее звали Галя, а фамилию он, по обыкновению, пропустил мимо ушей, видимо, ничуть не

устала, хорошо питалась, не знала недостатка в свежих фруктах и горячей ванне, не трудила душу страхом за близких. Она произвела впечатление очень взрослой, уверенной в себе, неглупой и хорошо знающей свою цель женщины. Впечатление, как выяснилось впоследствии, совершенно ложное, правда, свою цель она знала твердо: выйти замуж, и как можно скорее.

Жизнь не предупреждает о предстоящих поворотах набатным колоколом, и когда Галя, рано покинув компанию, ушла на своих коротких крепких ножках, он не расслышал в постуке ее каблучков голоса судьбы. И на миг не мелькнуло ему, что он входит в самый крутой и опасный вираж, опаснее войны.

В компании находился его приятель, сбежавший из госпиталя, где залечивал рану в бедро, красивый, сероглазый, пепельноволосый парень с костылем, придававшим ему романтический вид. Позерство Грушницкого сочеталось в нем с умом и жестокостью Печорина. Он сказал:

— Очень, очень неплохая баба!

— Вот и займись, — посоветовала Катя.

— Она свободна?

— Есть у нее жених. Зовет в Америку.

— Ну, знаешь!.. У меня таких возможностей нет.

— Он ей не нравится. Она его дразнит «эт-таво».

— Почему?

— Он каждую фразу начинает с «эт-таво». При этом ловкач, деляга. Но старый, ему уже за тридцать.

— Странно, что такая баба заневестилась, — вмешался он.

— Да ты что, с ума сошел? — Катя сделала большие глаза. — Это же Галя Звягинцева. Мы были на рождении ее будущего, а теперь уже бывшего мужа.

— Юриста-эстрадника?

— Ну да. Я же рассказывала тебе о них.

— Я не узнал ее. Она очень похорошела. А куда девался ее муж?

— Живет. Они разошлись. Он ушел в ополчение в начале войны, а Галя с матерью эвакуировалась в Кемерово. Там и

родила. А он пропал без вести, думали, погиб. Нет, попал в окружение, зимой вернулся в Москву. — Речь Кати становилась все более вялой, так бывает, когда расстаешься с правдой и сам теряешь интерес к своему рассказу. Впрочем, и мы не проявляли особого любопытства к чужой судьбе. — Не знаю, что там произошло, он не поехал в Кемерово, хотя бы взглянуть на своего наследника. Говорят, страшно загулял. Звягинцев выгнал его из дома. Галя вернулась из эвакуации и сразу разошлась с ним, по-моему, заочно.

— Звягинцев, — повторил с задумчивым видом сероглазый костыльник. — Василий Кириллович. Это марка!

— А чем он так знаменит?

И тут его наконец просветили...

Когда мне было шестнадцать лет, отчим познакомил меня с Фрейдом. До середины тридцатых его много издавали — один за другим выходили труды в стандартной обложке под редакцией профессора Ермакова. Кроме того, отдельными изданиями вышли «Об остроумии», «Младенческое воспоминание Леонардо да Винчи», «Психологические этюды». Когда отчима посадили в исходе 1936 года (по бессмысленному недоразумению, которое через год счастливо выяснилось), мне захотелось отблагодарить его за прихотчивание к бумаге и за Фрейда, и я написал смелый труд, смесь беллетристики с научным анализом, разумеется, в духе и вере Фрейда: «Биография моей сексуальности». Один знакомый итальянец задался сходной целью, но уже в зрелом возрасте. Он наката два тома и все не мог разделаться с темой детского рукоблудия. Поскольку в моем сексуальном опыте этого не было, меня хватило всего на шестьдесят страниц. Отчиму «Биография» понравилась. Он сказал, что в литературе нельзя стыдиться, особенно когда речь идет о тебе самом; все, что пишет писатель о себе, должно быть откровенно, как исповедь. У литературных друзей отчима мой труд успеха не имел, их раздражало само намерение молодого автора. Кроме того, в конце тридцатых Фрейд был предан анафеме как лжеученый, подменивший классовую

борьбу сексом, и запутанные люди увидели в доверчивом жесте отчима провокацию.

Это длинное рассуждение понадобилось мне лишь для оговорки: я не пытаюсь угостить читателей расширенной биографией своей сексуальности, равно не живописую военное и послевоенное лихолетье, поэтому здесь будут опущены целые пласты времени, что-то дано пунктиром, намеком, и лишь нужное для моей темы рассмотрено подробно.

История моих отношений с Галей могла бы стать предметом особого рассказа, ибо тут любопытно обнаружили себя некоторые характеры, но меня этот рассказ не соблазняет. Вообще же наш роман, довольно скоро окончившийся браком, был романом без психологии. И без страсти. Понравился ей в тот вечер, о котором шла речь, не я, а мой пепельноволосый романтический приятель. Она в него даже влюбилась. Если б он не валандался так долго по госпиталям, возможно, у них что-то получилось бы. Но его не было под рукой, а я был. Кроме того, она стремилась не к любовному приключению, а к замужеству, тут я выглядел куда перспективней: писатель с книгой, военный корреспондент крупной газеты, а ему после выхода из госпиталя и демобилизации ничего не светило, кроме возвращения в Литературный институт. Замужество ей было необходимо ради домашней реабилитации; ее развод воспринимался и в семье и среди близких к семье людей как пятно на родовой чести.

Признаться, я так и не разобрался в моральном кодексе этих людей, вернее, их среды, ибо в нем, в этом кодексе, причудливо уживались всевозможные табу чистых сердцем и разумом дикарей с такой моральной свободой, о которой я прежде не подозревал. Если упрощенно, то разрешалось почти все, но под покровом внешней респектабельности. Как потом выяснилось, многие друзья Звягинцева имели вторую семью — с квартирой, детьми, налаженным бытом. Об этом не говорилось вслух, если же случайно упоминалось, то не осуждения ради, а как данность. Но уйти к другой женщине и создать с ней новую семью считалось не просто аморальным, а преступным — злодейство, извращение, забвение всех человеческих приличий и норм. Негодяй изгонялся из

среды, впрочем, за все годы моей жизни у Звягинцевых ни одного подобного случая не произошло. И к Гале в семье было отношение брезгливой жалости, почти презрения. Господствующая интонация: дурочка, неумеха, «васюся» — семейное слово, означающее: халда, балда.

О Гале друзья говорили: легкий человек. Но правильнее было бы сказать: отсутствие характера. Она была человеком без свойств. Проще всего ее определить с помощью частицы «не». Не умна и не глупа, не добра и не зла, не деловита и не расхлябана, не ленива и не усидчива, не привязчива, но и не равнодушна к людям. Одно положительное качество: очень опрятна. Долгая и несложившаяся жизнь помогла ей впоследствии накопить характер, добавила ума и души. Вблизи старости о ней можно было с полным основанием сказать: хорошая женщина. Но в то время родители, сильные, яркие, очень значительные люди, не дали развиваться ее личности, поработили вялый умишко, она была лишена права на выбор, решения, всякой самостоятельности. Она даже в одежде рабски копировала мать, но то, что смотрелось на рослой матроне, было смешно на пигалице, как и яркий грим, который матери шел, а на ее лице убивал природно свежие краски.

Крылатую легкость ей дарил алкоголь. В этой семье много и часто пили и никогда не осуждали пьющих людей. Глава семьи вопреки народному мнению, делавшему из него исполина алкоголизма, пил сдержанно: три рюмочки за обедом, две за ужином. В застолье он тоже не распускался, хотя поддерживал компанию. Я не видел его пьяным. Кинутый им грех подобрали дамы.

Галя, как и ее мать, хорошо держала выпивку, в любой компании досиживала до конца, не теряя рассудка. Утром у нее разламывалась голова, но лицо оставалось румяным и свежим.

Еще до того, как я попал в семью, мне пришлось срочно пересмотреть свои представления о пьянстве. В моей прошлой среде меня считали лихим выпивохой, здесь я долго ходил в непьющих. Понадобилось немало времени и сил, чтобы исправить репутацию. Я научился опохмеляться. Стопка водки, взятая натошак, или пара пива мгновенно снимали головную боль и тяжкую похмельную одурь. Передо

мною открылись безбрежные горизонты. В незабываемую пору моего жениховства я стал настоящим пьяницей.

В одну из пьяных ночей я остался у Гали. Затем я стал делать это все чаще и чаще. Дашу она мне не заменила, но я знал, что Дашу мне не заменит и сама Даша.

А потом меня пригласили на дачу, и я понял, что это как бы признание моего официального статуса претендента на Галину руку. Сам я себя таким еще не считал. Собственно говоря, с этой поездки и начинается моя история, до этого была присказка...

Он действительно думал, что едет на дачу. Ни на мгновение у него не мелькнуло, что он едет за судьбой, в рай и ад, в страну, жителем которой он не мог и не должен бы стать, даже приняв все ее законы, обычаи, правила. Тут не его климат, не его атмосферное давление, не его язык, не его смех, не его музыка, не его страсть, не его все. Так и не став близким и понятным, этот чужой мир на годы закрутит его своей сумасшедшей каруселью, скорежит ему душу, исказит зрение, но он не будет сознавать этого, потому что потеряет память о себе прежнем.

Зачем я путаюсь между «он» и «я»? Сам толком не пойму. Иногда мне кажется, что я совсем не знаю того молодого человека, который некогда был моим «я». И тогда, естественно, начинаю называть его «он», как бы не беря ответственности за чужие мысли и поступки. А иногда этот чужак не более чужд мне, чем та серая маска, которая ныне смотрит старыми больными глазами из глубины круглого зеркальца во время утреннего бритья. У меня нет близости с этим отражением, ибо не верится, что можно так износить свой земной образ, но все-таки приходится согласиться, что это я и другого нет. Говоря о том далеком, неправдоподобно молодом человеке в первом лице, я невольно начинаю с ним сливаться. Может, в конце концов это «я» из прошлого приживется ко мне настоящему?

Итак, это я ехал в большой правительственной машине, содранной с американского «линкольна», только эмблема была другая: вместо устремленной вперед серебряной борзой или хортой — пластмассовый красный складчатый флажок

на радиаторе. Вел машину ярко-рыжий шофер Колька, пассажирами были: мы с Галей, ее дальний родственник, чернявый неприятный парень Пашка Артюхин, и ухажер Гоша, соблазнявший ее Америкой. Его посылали туда каким-то техническим советником, а по старым правилам на постоянной работе за рубежом может быть лишь человек семейный, морально устойчивый. Уже разменявший четвертый десяток, Гоша задержался в холостяках и сейчас должен был срочно жениться. Он действительно каждую фразу начинал с «эт-това», как будто работал на свое прозвище. Как потом оказалось, в нем гармонично сочетались жесткий практицизм, патологическая скупость с доверчивостью и какой-то наивной тягой к культуре.

Да, чуть не забыл Катю, неизменную спутницу Гали на всех путях ее, правых и неправых. Считалось, что она влюблена в меня. Мне кажется, что эту влюбленность Катя придумала для заполнения пустоты, но мучительные ее переживания обладали всей чистотой подлинности.

Уже на выезде из Москвы мы подхватили по-цыгански черную и костлявую женщину средних лет в роговых очках, тетку Гали, родную сестру ее матери Евдокию Алексеевну, которую никто не называл по имени-отчеству, а только «тетя Дуся». Как я вскоре понял, тетя Дуся была на ампулу дурочки, шутихи. Это, пожалуй, наиболее интересная разновидность бедных родственников. Приняв на себя добровольно роль домашнего Трибуле в юбке, тетя Дуся выиграла куда большую свободу, нежели все остальные приживалы. Она боялась только Звягинцева, поскольку ее муж работал в заводууправлении, на всех остальных плевать хотела. Она не была агрессивна, но развязна, шумна, неуважительна и насмешлива. Эта роль ее увлекала, особенно с появлением нового лица. В машине она непрерывно курила и говорила на придуманном немецком. «Акурштейн!» — произносила она светским тоном, и это могло быть подтверждением, сомнением, категорическим несогласием с собеседником, в зависимости от интонации. Еще запомнилось: «Ауфидер ку-ку!», «Генуг цум вольке», «Гульгенблук», «Ген зи муле вейден». Остальную белиберду я забыл.

Запомнилось также вскоре возникшее и все усиливающееся чувство собственной неполноценности. Я ничего не стоил в мире этих людей, где очень большую роль играли автомобили, мотоциклы и прочая техника. Галя рассказала, что поехала в гости на машине и на обратном пути что-то «полетело». Некоторое время все перебрасывались словами «сцепление», «коробка скоростей», «трамблер». «Небось на второй скорости добиралась?» — радостно оскалил громадные, как рояльные клавиши, резцы Гоша-«американец». Галя подтвердила казус, что вызвало бурный подъем веселья. Причина общего душевного взлета наградила меня немотой, я ни черта не смыслил в автомобилях. Затем за меня взялась тетя Дуся, но ее фантастический немецкий был понятнее технического воляпюка.

Я обрадовался, когда Пашка Артюхин запел невыразимо противным голосом с восточным акцентом:

*А в одном-то клетка
Попугай висит,
А в другом-то клетка
Его мать сидит.*

*Она ему любит,
Она ему мать,
Она ему хочет
Крепко обнимать.*

А когда все отсмеялись, он запел визгливым голосом:

*Хорошо жить на востоке,
Называться Аль-Гасан.
И сидеть на солнцепеке,
Щуря глаз на Тагеран.*

У развилки, откуда уходила дорога на Красногорск, к нам присоединилась молодая женщина, Галина тетка по отцу Люда. Мелькнуло что-то миловидное и стройное. Мелькнуло, ибо проверить свое впечатление мне не удалось, она сразу исчезла в густо населенном нутре машины, и я забыл о ней. Я опять видел Галю, Артюхина, Катю, Гошу, тетю Дусю и рыжего шофера. А Люды след простыл. И ведь она сидела прямо передо мной на откидном сиденье. Но вот что-то случилось: то ли сместился свет, то ли на повороте солнце

напрямую ударило в окна машины, и я вновь увидел ее. Она казалась Галиной ровесницей и уж никак не теткой: молодая, свежая, прелестная женщина. Жаль, что существование ее дискретно. К ней нельзя приглядеться, она вновь пропала. Как выяснилось впоследствии, это было особым даром или дефектом Люды, не знаю, как и сказать, — внезапно исчезать. Наподобие мандельштамовского щегла, который «не посмотрит — улетел». Ее скромность, стремление уходить в тень, не мозолить глаза создавали дурманный эффект неприсутствия.

Как мне потом сообщила Галя осудительным тоном, Люда была девственница. Вот уже несколько лет ее обхаживает молодой директор шинного завода, косвенно подчиненного Звягинцеву, но все никак не решится сделать предложение. Наверное, его отпугивала способность Люды к исчезновению. Жутковато жениться на полупризраке.

Я и сам, не вписываясь в интересы, разговоры, юмор и музыку компании, ощущал себя не вполне реальным. Наверное, поэтому меня и потянуло к Люде, но тяга осталась беспредметной — в буквальном смысле слова, — Люда снова дематериализовалась. Чуткая от ревности Катя каким-то образом угадала мое намерение. «Не трать даром силы, она невеста». И тут я услышал о женихе-смежнике и о том, что Артюхин, Людин троюродный брат, тайно на трезвую голову, шумно в подпитии вздыхает по ней. Духовидец Артюхин, ведь она сама была, как вздох. Но, видимо, ему удастся «в тумане разгадать» и даже удержать «мучительный и зыбкий» образ Люды. И тут кто-то принес: «Дача Берии».

Сплошной зеленый забор, окружавший густой еловый лес, тянулся километра на полтора. Забор как забор, но почему он кажется таким зловещим и таинственным? Артюхин перестал петь, словно его пение могли услышать за зеленым забором. Внезапная тишина подчеркнула значительность момента. Тут только я сообразил, что впервые вступаю на запретную территорию власти и для таких, как я, очень легко и опасно заплутаться в заповедном лесу.

Забор наконец отсекся. Пошла светлая сквозная березовая аллея, слева мелькнуло двухэтажное здание чайной, мост

и колено Москвы-реки. Еще одна деревня, лежащая в западке, и на бугор пополз другой глухой зеленый забор, точная копия бериевского, но не навевавший жути. Мы свернули к воротам, посигналили. Вышел мужик в картузе. Посмотрел подозрительно, кивнул шоферу и открыл ворота. Мы двинулись по асфальтированной дороге к холму цветочной клумбы, обогнули ее и оказались у парадного входа огромной двухэтажной деревянной дачи — зеленой, с белыми колоннами, похожей на старый господский загородный дом.

Когда мне сказали, что мы едем на дачу, мне представилось нечто вроде тех ветхих ропетовских дачек, где проходило мое раннее детство в столь близких сердцу каждого старого москвича поселках: Томилино, Красково, Перловка, Тайнинка, Удельное. Они были все на одно лицо: подслепая застекленная терраска, башенка, эркер, изъеденные жуком-короедом косяки, притолоки, плинтуса, на задах чахлого садика — зеленый домик уборной. Убогость, сырость, гнильца, прелый дух неотделимы от подмосковного дачного жилья. Все мнимое очарование загородных пикников сводится к нехватке стульев, тесноте за столом, одной вилке на двоих, разнокалиберной посуде, в которую так трудно разлить водку поровну, сломанному штопору и верху блаженства — мучительно не желающему закипать самовару.

Но, увидев дворец Звягинцева, я наконец-то до кишок осознал, что попал в иную действительность, в царство хозяев жизни, где я и мои близкие были изгоями.

Никаких дурных чувств сроду невиданное благополучие чуждой мне среды во мне не вызвало. Я не просто независлав, но обделен этим чувством до некоторой патологии. Хотя бы в малой дозе надо носить в себе любое человеческое чувство, включая самые дурные: зависть, ревность, мстительность. Эти три чувства мне неизвестны. Зато ведома другая скверная троица: я обидчив, неотходчив, злопамятен. Я могу примириться — формально — с человеком, обидевшим, оскорбившим меня, но все равно не прощу его в глубине души. И я становлюсь с ним фальшив, ибо должен делать вид, будто давно выкинул из головы

старую обиду. Не забыл, не выкинул, не простил. Но хуже от этого только мне самому, ибо обидчик, якобы прощенный, беззаботен, а меня по-прежнему жжет, даже пуще прежнего. Только отпущение благостно освобождает душу, но оно для меня исключено — я добр, жалостлив и не способен сознательно причинить страдание другому существу. А вот зависти нет в помине. Я от души радовался за счастливых, которые могут жить в таком привлекательном мире, куда меня допустили, быть может, в первый и последний раз.

Так я стоял, безучастный к мелкой суете, непременно сопутствующей каждому приезду, приходу. Выбежал какой-то нарядный светловолосый мальчуган, очевидно, Галин сын, и был обласкан всеми приехавшими, кроме меня и шофера. У меня с рыжим мрачной наметилось бессознательное сближение на почве выключенности из происходящего. Затем появилась благообразная, круглолицая старуха с живыми вишневыми глазками и той царственностью, какой от века обладают русские няни в богатых домах, и другая старушка, сухонькая, белоголовая, она мгновенно выискала среди нас самое неприметное существо — невидимку Люду и прижалась к ней с защищающей любовью — ее мать, а стало быть, и мать главы клана. Последней как-то боком сунулась к машине сутулая косоглазая неандерталка и принялась разгружать багажник — домашняя работница.

Меня никому не представляли, вроде бы подзабыв в подъемной суматохе встречи, и я беспрепятственно оглядывал окружающий мир. Участок был огромен, я не обнаружил его границ, ибо за молодыми сосенками, купами берез, ольшаником, кустами сирени, жимолости, жасмина ограда просматривалась лишь в стороне ворот. Я обнаружил открытую беседку в глубине сада, за рябинником, заброшенный теннисный корт, обнесенный частой сеткой, яблоневый сад, сбегавший по откосу в сторону реки, возделанные грядки с клубникой.

А потом я увидел нечто, чего не осознал поначалу как реальность, принадлежащую этому, не освоившему самого себя миру (неосвоенность читалась в заброшенном корте, не обустроенной беседке, засохшем диком винограде на боковой

стене дома, заросших сорняками клумбах), — на террасе стояла женщина, нет, не стояла, высилась, источая золотой свет, творя вокруг себя некое сияние, которое было ее особой, не изолирующей, но отделяющей от окружающего средой, вроде той странной капсулы, в которой Христос возносится в чертог отца своего на старых иконах, что породило современную легенду о его инопланетной сущности. И эта женщина, это явление природы, избравшее образ женщины, принадлежала другой системе мироздания.

Сказать, что она довольно высока ростом, дородна, как положено русской красавице, что у нее золотые волосы, серо-голубые глаза, чуть вздернутый нос и алый цветущий рот, значит, ничего не сказать о ее благодатном облике. Да и вообще невозможно описать женскую красоту. Это знал Лев Толстой, обманувший Тургенева и Дружинина, когда они вздумали состязаться в описании красоты женщины. Простак Дружинин взялся за дело впрямую: рот, нос, лоб, шея, плечи... Тургенев попытался создать образ красоты, не прибегая к подробностям. Толстой ограничился гомеровским: когда Елена вошла, старцы встали — и победил.

Если в гомеровские времена старцам было неуместно вставать при появлении женщины, и потребовалась сладостнейшая Спарты, дочь Леды и Зевса, обернувшегося лебедем, чтобы они оторвали тощие зады от сидений, то что же говорить о советских мужчинах! Но впоследствии я не раз видел, как при появлении Татьяны Алексеевны вставали, стесняясь собственной вежливости, удивляясь прямящей их неотвратимой силе, правительственные бурбоны, хамы генералы, не говоря уже об «архивных юношах» нашей с Галей компании. Моя реакция на ее первопоявление была прямо противоположной — я с трудом удержался на ногах. Меня шатало, земля оскальзывалась подо мной. Порой мне кажется, что я в первое же мгновение проведаль всю муку, тоску, неурядицу, весь дивный ужас, который она внесет в мою жизнь.

И я сразу начал внутренне защищаться от нее, с первого взгляда, до того как пожал ее теплую, нежную руку, не обнаружив и краткой задержки моего образа в зрачках серо-голубых глаз. Я говорил себе: успокойся, это просто яркая,

толстая женщина, лишь немного не добравшая до пародийного кустодиевского типа. Добавь ей немного плоти, и явится купчиха за самоваром или русская Венера после бани. Я знал, что это неправда, в ней не было ни отягощенности, ни расплывчатости, ее тело не распирало одежду. В ней все было крепко, налито, натянуто: ноги с мускулистыми икрами, округлые руки с маленькими кистями, крутые бедра, грудь, не нуждавшаяся в лифчике, прямая спина с легким прогибом, гордая шея — все мощно и женственно, сильно и нежно. Я все-таки не избежал наивной дружининской описательности. А если попробовать окольно: три молодые привлекательные — каждая на свой лад — женщины приблизились к ней и — перестали быть.

Нарушу последовательность рассказа. У Татьяны Алексеевны случались мгновения, когда ее могучее женское начало обретало мощь стихии: оно полыхало из глаз ведьминским огнем, тугие волны прокатывались под кожей, а дыхание опаляло сухим жаром. Я не знаю, чем это было вызвано, и она не знала, ведь люди живут бессознательно. Наружу рвалось что-то животное, заражая окружающее порнографическим безобразием. Рушилась мораль, мужчины теряли рассудок и совершали поступки, которых потом мучительно стыдились, не понимая, как могли они так пасть. Я сам был свидетелем того, как осрамился почтенный ученый муж, к тому же идеальный педераст в духе Леонардо да Винчи. Его влекло к молодым красивым мужчинам, но укрощал он свое вожделение усатой, с махорочным голосом женой. Сублимация великого художника носила чисто эстетический характер. Ученый долго пялился на Татьяну Алексеевну, отклячив нижнюю губу, и вдруг с размаху шлепнул ее по заду при всем честном народе. Старый переводчик с греческого, покраснев и захихикав, вклеился ей в грудь. Он долго плакал на кухне и обещал покончить самоубийством, но обещания не выполнил. Татьяна Алексеевна не понимала мощи и губительности своего излучения и обижалась на бедных безумцев. Ее аура завлекала и женщин, чуждых софической любви, они кидались на нее якобы в шутку, но с остекленевшими глазами. Татьяна Алексеевна испытывала к ним стыдливое отвраще-

ние и обычно порывала знакомство с соблазненной. Конечно, все это я узнал много времени спустя.

А пока было долгое застолье, не принесшее мне радости. Опынял я довольно быстро и нарочно. Я чувствовал надвиг каких-то грозных сил, перемен, утрат и начал, мне было печально и немного страшно. Но природа страха оставалась неясна. Чуждость среды? Возможно, такого окружения я не знал. Мне приходилось иметь дело с разными людьми: в старой коммунальной квартире, в деревне своей няньки, во всех военных становищах, в армейской среде, но то был народ, и я чувствовал себя легко и просто. Мои сотрапезники народом не были, хотя и происходили из него. Советское зажиточное мещанство, вяло тянущееся за чем-то высшим. Их речь являла букет эстрадно-опереточных штампов («Ах, мой печень!» — орал Артюхин после каждой рюмки, «Ах, мой селезень!» — подхватывал Гоша), раскавыченных цитат из городского романа, слегка сдобренных домашним фольклором. Крикливые голоса, громовый смех, необузданная жестикуляция, дурацкие тосты, восточный акцент — наиболее ярким воплощением дурного тона был Пашка Артюхин, невероятно развязный и самоуверенный. «Американец» Гоша работал на подхвате. В какой-то момент мне стало казаться, что Артюхин провоцирует меня и дело кончится дракой. Ну, и пусть, это не худший конец.

Мог ли Артюхин догадаться темным инстинктом о том впечатлении, какое произвела на меня Татьяна Алексеевна? Человеческая природа не только не изучена, к ее постижению едва приступили. Подсознание играет куда большую роль даже в поверхностном бытовом общении, чем принято считать. Слова, произнесенные вслух, и пена внешнего поведения ничего не стоят, мы подаем друг другу и принимаем неслышные и незримые сигналы. Артюхину полагалось вздыхать по Люде, а он как оглашенный наседа на Татьяну Алексеевну, по-родственному «тыкая» и называя ее Татой, даже Таткой. Она никак не отзывалась на его приставания, что подтверждало для меня нарочитость поведения Артюхина. Конечно, Артюхин и сам не догадывался, что через Татьяну Алексеевну заводит меня. У нас с ним сразу возникла несовместимость.

Драки не получилось. Застолье шло и дальше на грани дебоша, а разрешилось все общей пляской. Пар был выпущен в дробцах, «цыганочке», «русской». Плясали все, кроме меня и шофера. Галя плясала самозабвенно и очень артистично. Татьяна Алексеевна и здесь осталась королевой, она плясала больше глазами, улыбкой, легким движением плеч, но это стоило вихря ее дочери. Тетя Дуся кривлялась и пронзительно выкрикивала: «Акурштейн!», «Гульгенблюк!».

Мне хотелось услышать голос Татьяны Алексеевны. Ее застольная улыбчивая общительность не была озвучена.

— Ваше здоровье! — потянулся я к ней через стол.

Она ответила дежурной и все равно прекрасной улыбкой, чокнулась и духомхватила рюмку. Прислушалась к себе: хорошо пошло! — и молодо трянула головой, рассыпав золотой блеск.

— Глоток бежит, с собой зовет другой! — прозвенело колокольчиком.

— Наливай! — восторженно завопил Пашка Артюхин и полез к ней целоваться.

«А может, она просто дура и блядь?» — подумал я с надеждой и отчаянием, но не испытал облегчения. Она могла обернуться кем угодно, это не имело значения. Я уже знал тайным знанием, что Даша перестала быть моим роком. Вот так, после всех мук и полuosвобождений, за которыми таилась опасность еще худшего рабства, боль, казалось, навечно сросшаяся со мной, отпала, как засохший струп. Но цена выздоровления может оказаться мне не по карману.

Я задумался — тупо, мутно, тяжело, по-пьяному задумался над странными ходами моей судьбы, исковерканной предательством Даши, и очнулся, когда Татьяна Алексеевна милым голосом и с отменным слухом пела пошлую нэповскую шансонетку:

*Шофер мой душка, как ты хорош.
За руль садисься, бросает в дрожь.
Ты знаешь, как направить,
Ты знаешь, как поставить,
И очень быстро...*

Последних слов я не разобрал, потому что их выюрал хором все присутствующие, видимо, там заключалась главная сласть.

Я так надрался, что заснул в столовой на диване. Проснувшись утром, я узнал, что ничего шокирующего в моем поступке не нашли, напротив, оценили это как возможность дальнейшего собутыльничества. «Свой, хотя и слабак!» — таков был общий глас. Увидевшая меня спящим, Татьяна Алексеевна внесла свою жалобную ноту в оценку: — Ишь, свернулся калачиком, заморыш!

Мне это преподнесли как теплое сочувствие, я же принял как выбраковку. Кстати, несправедливую. Я действительно был очень худ в ту пору, но не нищенски, а спортивно: широкогрудый и широкоплечий, с развитой мускулатурой. Но в этом доме ценили дородность, осанистость. Чего не было, того не было.

Татьяна Алексеевна огорчила меня не только этим. Тяжело ушибленный ею, я надеялся, что вчерашнее наваждение рассеется. Вчера она предстала мне в сказочном ореоле властительницы таинственной державы, сегодня я по привычке и увижу ее без прикрас: опухшую после возлияний, с мутными глазами и несвежим дыханием. Напрасные ожидания, она явилась тем же золотым чудом, свежая, прибранная, ясноглазая, ослепительная. Я понял, что обречен, и дал себе клятву, что эта женщина будет моей... тещей.

И стала, хотя не так скоро.

Прошло более полугода после дачной пирушки, я заделался постоянным гостем в доме Звягинцевых, но хозяину не был представлен, ибо мой статус жениха как-то не получил официального признания. Причин тому несколько. Мой пепельноволосый приятель наконец-то выбрался из госпиталя и замаячил некоторым соблазном для все еще равнодушной к нему Гаи. Этому способствовало и то, что, набрав здоровья, я довольно часто выезжал на фронт. Галя все-таки боялась потерять меня, поэтому роман так и не состоялся, хотя мой приятель обвинял в этом лишь собственную лень. Но, столкнувшись с таким непостоянством, я теперь и сам не спешил определиться в семье. К тому же с некоторых пор я стал тешить себя иллюзией, что мое чувство к Татьяне Алексеевне обрело характер идеальной юношеской влюбленности в прекрасную и недоступную матрону. Это заблуждение

возникло из потери уверенности в себе в связи с Галиным финтом и крепнущего сознания безнадежности дерзкой попытки. Ведь она действительно была матроной, а я, прошедший испытание войной и женитьбой, оставался щенком.

Молодые люди той поры душевно созревали очень поздно, если вообще созревали. Исключение составляли проходимцы, которые, сохраняя развитие десятилетнего ребенка во всем, что касалось хрупких ценностей жизни, грубостью ума и насквозь испорченной душой могли дать сто очков вперед Цезарю Борджиа, Людовико Моро и гнуснейшему из всех — кардиналу Фарнезе. Но речь идет не о партийных карьеристах. Я говорю о доброй молодежи, наделенной наследственной духовностью, моральным чувством и тем бескорыстием ума, что создает интеллигента. Эти молодые люди «страны искателей, страны героев» отличались удручающей инфантильностью, роковой неспособностью стать взрослыми. Я был типичным представителем обреченной категории вечных юнцов.

Мы росли и воспитывались в искусственной среде, разрываясь между молчащей правдой дома и громкой ложью школы, пионеротряда, комсомола. Я умудрился избежать последнего, но все равно был пропитан его тлетворным духом. То, что не было домом, семьей, требовало непрерывной лжи. Пусть все сводилось к словам, верноподданническому горлопанству и внешней атрибутике, этого достаточно для прекращения естественного становления и роста характера. Мы шли в ботву, а не в корень и плод. Свободный человек рано обретает достоинство личности, раб до старости недоросль.

Я был для Татьяны Алексеевны мальчиком, причем мальчиком жалким. Я мало зарабатывал, перенес контузию, и это было видно по моей дергающейся морде, не заслужил никаких отличий и чинов (вот уж не молодой генерал!), она же привыкла иметь дело с людьми, рано схватившими судьбу за хвост. И прежде всего со своим собственным мужем, сумевшим пережить гнев Сталина и остаться наверху, не поступившись независимым и крутым характером. Иметь характер вблизи Сталина категорически запрещалось. Наде-

ленные хоть какой-то личностью приближенные искупали это или бесстыдным подхалимством (Каганович), или непроходимой глупостью (Буденный), или бесстыдным шутейством (Хрущев), или злодейством (Берия), пренебрегшие правилами самосохранения уничтожались. Спокойнее всего себя чувствовали круглые безличности: Молотов, Калинин, Андреев, Шверник. А ведь Звягинцев уже пробивался в круг ближайших соратников. Он погорел, отодвинулся, но никто не поставит креста на возможности его нового возвышения. При этом он не укротился, не стал гладким, обкатанным, бесцветным камешком-голышом. Рядом с Татьяной Алексеевной играл и переливался яркими гранями редкий самоцвет. На что я мог рассчитывать?..

Жизнь, которая выпала мне в ту пору, должна была помочь освобождению от нового плена. Болезнь отнима, бедность на грани нищеты заставляли меня хвататься за любую халтурную работу, чтобы выжить. Газетных гонораров и оклада на это не хватало. Но каким-то хитрым образом душа выскальзывала из-под бремени газетных забот, поездок на фронт, халтуры и поисков приработка, чтобы тосковать. Я старался вышибить клин клином, избегая встреч с Татьяной Алексеевной. Но ничего не мог поделать с новой властью дома над мной — огромного домины от Моссовета до Пушкинской площади. Необходимы стали, как воздух, и мрачное ущелье Леонтьевского переуллка, ведущего к дому, и скучный подъезд, глядящий на помойку, и лифт с нелюбезными лифтершами (дом был элитарный, а моя непринадлежность к верхам была очевидна служительницам святого дела сыска, приставленным к валкому телу лифта), и опрятный вид многозамочной двери Татьяны Алексеевны, и, разумеется, сама Галя, в которой я мучительно выглядывал материнские черты. И находил, что помогало сублимации, которой я вначале стыдился, а потом привык, как привыкаешь ко всему, несущему хоть временное облегчение: алкоголю, курению, наркотикам. Обнимая Галю, я подставлял на ее место Татьяну Алексеевну, но обман длился недолго, и возвращение к реальной плоти, что жила под моими руками и всей тяжестью тела, доставляло страдание. Галя была плотная,

крепкая, но очень маленькая. Как самая последняя матрешка в знаменитой двусмысленной игрушке, а мне нужна была та первая, большая, в которую вложены все остальные. Жить изо дня в день с подобием того, что тебя влечет, представлялось пыткой. Но еще худшей пыткой было бы потерять даже короткий самообман, которому помогала территориальная близость — через лестничную площадку — подлинника.

Покончил с моими колебаниями, смятенностью и всякими психологическими выкрутасами, как ни странно, сам глава дома с той жесткой победительностью, с какой решал все возникающие перед ним проблемы. Почему семья пришла к выводу, что я должен жениться на Гале? Гоша с лошадиными зубами подходил ей куда больше, даже без Америки, которая накрылась. О своем раненом приятеле я уже говорил, его котировка в качестве спутника жизни равнялась нулю. К тому же война еще шла, и чем ближе к победе, тем больше жизнью забирала (маршалы, выставляясь перед Сталиным, наперегонки рвались к Берлину, не щадя солдатской крови), тем меньше становилось шансов у невест. Конечно, Гале не грозило навековать, но уж больно не хотелось нарваться на прохиндея, которому ее отец нужен для карьеры, а именно к этому разряду принадлежали те летучие женихи, которые появлялись и до меня и во время моего затянувшегося сватовства. Как было совершенно очевидно, подобная корысть мне чужда, должность в газете несколько компенсировала зыбкость профессии, и, очевидно, я устраивал Галю если не как со-путник, то как со-ночлежник. Нравился ей и круг моих друзей. Она поступила в вокальное училище и, охладев к технарям, потянулась к людям искусства. Словом, семейный суп закипел, что явилось для меня полной неожиданностью.

Ничто не предвещало бедствия, когда, заночевав у Гали после небольшой попойки, я пил пустой чай у нее в комнате. Я уже привык к тому, что каждое утро Звягинцев приходит потетешкать внука, делая это с нарочитым хозяйским шумом: дверным громом, топотом, отхаркиванием. Мне было странно, что такой крупный человек занимается столь мелким самоутверждением. Конечно, он знал, что я ночую у Гали,

знал, что из-за комендантского часа наши друзья тоже иной раз остаются на ночь либо в ванне, либо на полу нашей комнаты, но вежливость была чужда его самобытной натуре, зато самодурства и грубости хоть отбавляй.

Отсюсюкав над внуком и отшумев, он уходил, напоследок громыхнув входной дверью, и мы вздыхали с облегчением.

Но в этот раз ритуал был нарушен. Замолкла песня любви, скрипучий топот сапог приблизился к нашей комнате, и дверь распахнулась от сильного толчка. Проем заполнила литая фигура любимца московского пролетариата. Он был очень хорош собой, конечно, в пошибе русского мужика, а не парижского петиметра. Ростом не высок, широк и довольно толст. Говорят, «квадратная фигура», он был кубичен. Оказывается, куб может быть вместилищем мужской красоты. Большая, сильно вылепленная голова с проточенными сединой волосами и сталинского покроя усами, красноватое от повышенного давления (это выглядело первым загаром) выразительное лицо, сочные темно-карие глаза под густыми бровями, крупноватый грузинский нос и выражение грозной, агрессивной силы в совокупности черт. Странно, что он нравился Сталину. Как не похожа эта тигриность на привычные взору вождя непропеченные блины. И вдруг я нашел разгадку. Звягинцев — вылитый Пржевальский, а ведь недаром легенда называет Сталина незаконным сыном знаменитого путешественника. Пржевальский и Звягинцев были похожи не на рыжего, рябого заморыша, а на лстивые портреты Сталина кисти Бродского, Герасимова и других придворных иконописцев. И Сталин верил своим портретам (фотографировать его тоже умели будь здоров!). Он избегал зеркал, полированных плоскостей и кремлевских луж, свое отражение он видел в Звягинцеве, и оно ласкало ему взор.

Я приподнялся, готовый приветствовать великого человека, оказавшего мне честь первым шагом к знакомству, которое окончательно узаконит мое пребывание в доме, но был пригвожден к месту тигрино-рыночным:

— Поднаворачиваешь?

Я не понял смысла слова, так не подходящего к стакану пустого чая, но хорошо понял интонацию.

— Поднаворачиваешь? — повторил он с напором и клацнул большими желтыми зубами.

Теперь я все понял, но возмущился не хамским тоном, а несправедливостью обвинения. Обычно Галя угощала меня неплохим завтраком: яичница, сыр, кофе, но небольшой выпивон накануне возник экспромтом и начисто опустошил закрома неподготовленной хозяйки. И тут возникла догадка, разозлившая меня куда больше. Он разбушевался не по внезапному наитию оскорбленного отцовского чувства, то был домашний сговор. Если б он действовал спонтанно, стакан пустого жидкого чая исключил бы обвинение в нахлебничестве, но сцена была отрепетирована в расчете на омлет с колбасой. Значит, происходящее — спектакль, липа, шулерская игра, и всей его грозности грош цена. Но, озарив сознание, догадка сразу погасла в жалком смирении раба перед властью. Я не нашел достойного ответа. Мне было стыдно за себя, за него, за Галя, делавшую вид, что она ошеломлена случившимся. И где выход из этого позора?

— Ты кто такой? — гремел голос. — А я член правительства! Я тебя в порошок сотру!

— Почему вы со мной так разговариваете? — наконец пролепетал я.

— А как еще с тобой разговаривать? Превратил дом в бардак!..

— Ах, боже мой! — сказала Галя, закрыв лицо руками.

— Я милицию нашла, если еще сунешься! Ишь, хлюст! Девушка беременная, а он в командировку укатил!

— Да в чем я виноват? — в голосе слабость и отчаяние. — Я люблю вашу жену и хочу стать ее мужем.

— Вон как! — он снова клацнул зубами, и глаза его потигриному выжелтились.

— Он оговорился! — жалко вскричала Галя. — Ты запугал его!

Тут до меня дошло, что я ляпнул. Это было похлеще «беременной девушки». Мы оба оговорились — строго по Фрейду, выдав свои скрытые намерения. Я откровенно высказал тайное желание, отнюдь не вытесненное в подсознательную тьму, стать мужем его жены. За его оплошностью

проглядывался не столь явный смысл. Но он подтвердил, что происходящее не было гневным выплеском, а игрой в оскорбленного отца, призвавшего к ответу бесчестного соблазнителя невинного дитяти. Эта роль и подсунула ему на язык слово «девушка», мало подходящее к разведенной жене, матери четырехлетнего сына. Насчет беременности — то была либо общесемейная ложь, либо Галина личная. Безумие нашей страсти строго лимитировалось мерами предохранения и ликвидации последствий.

— Кто ты есть? — опять вернулся он к выяснению моей личности. — Я позвоню Омельченко, он вышвырнет тебя из газеты.

Он вышел из рамок благородной семейной обиды, перед которой я пасовал, и ступил на территорию общественных отношений. И тут на меня пахнуло иной духотой, которой я, пусть жалко, бессильно, привык сопротивляться. Не слишком отчетливо, но достаточно грубо я пробормотал, что плевать хотел на Омельченко. Я и в самом деле не чувствовал зависимости от своего главного редактора, которого уважал и ценил, но я был ему нужнее, нежели он мне.

Звягинцев сразу понял, что совершил оплошность, и вернулся к теме семейной чести:

— Будет штемпель в паспорте — тогда приходи. Нет — вытурю взашей.

Он посмотрел на меня с ненаигранной ненавистью, повернулся и пошел к двери, на этот раз хлопнувшей как-то особенно веско.

Расписались мы с Галей через полгода, столько потребовалось мне, чтобы показать неустрашимость и потрепать нервы семье (Галя пообещала, со слов отца, что он извинится передо мной, когда я покажу ему штемпель в паспорте). Расписались мы в том же самом загсе в Чертольском переулке, где когда-то я оформлял и брак и развод с Дашей. Наверное, мне казалось, что у этого загса легкая рука, что он не замедлил подтвердить. Едва мы вышли из обшарпанных дверей, как увидели на другой стороне переулка свежие газетные листы на стенде и быстро густеющую толпу. «Неужто война кончилась?» — воскликнула Галя. Нет, случилось другое, менее радостное событие. В газетах был

опубликован указ о запрещении разводов. Собственно говоря, прямого запрещения не было, но выдвигалось столько препятствий, что и материально, и процедурно развод становился — при отсутствии взаимного согласия — практически невозможен. Как божественно легко оборвали мы с Дашей необременительные цепи, воистину, что ни делается в нашей стране, все к худшему!

Тем не менее мы решили ехать на дачу и отметить торжественное событие. Галя не разделяла моего натужно припрятанного уныния, новый указ ее ничуть не смутил, возможно, она собиралась по-гриновски «жить со мной долго и умереть в один день».

Когда, схватив такси, мы помчались по воскресным пустынным улицам к Рублевскому шоссе, я подумал о том, что теперь каждый день буду видеть Татьяну Алексеевну, а на даче так хоть и каждый час. Удар, нанесенный указом, смягчился, но меньше, чем можно было ожидать. Свершившееся приближало меня к Татьяне Алексеевне, но одновременно и удаляло. Я буду все время помнить, что она мать моей жены, и никогда не отважусь на смелый жест. Я по сегодняшний день ни на что не посягал, но был внутренне свободен и позволял себе маленькие вольности: коснуться губами ее волос в танце, расцеловать руку, здороваясь, от кисти до локтевого сгиба, тронуть золотую прядь с невинностью сороки, которая машинально хватает все, что блестит; она замечала эти движения и снисходительно улыбалась милой игре мальчика с почтенной дамой. Она позволяла — не без удовольствия — восхищаться собой: я как бы приветствовал в ней будущий расцвет Гали. При кажущейся примитивности то была сложная игра, ибо тут таился чуть иронический вздох: влюбленность в дочь не мешает мне видеть, что она — лишь бледная копия матери. Смирненное признание очевидного факта снимало греховность с тех робких, хотя порой довольно настойчивых знаков внимания, которые я ей оказывал, опасно балансируя на краю пропасти. А как это будет выглядеть сейчас? И удастся ли нам поддерживать печальную, как затаенный вздох, игру в рутине каждодневного существования? Когда я давал себе слово

сделать ее моей тещей, я об этом не задумывался. Мне в голову не могло впасть, что сближение во времени и пространстве может отбросить меня бог весть как далеко от нее, «за звездный пояс, в млечный дым».

Татьяна Алексеевна так искренне, так растроганно обрадовалась известию о нашем бракосочетании, что меня это прямо-таки оглушило. В какой-то темной глупости я тешил себя надеждой, что она хоть о чем-то догадывается, хоть чуть-чуть подозревает о том, какой магнит притягивает меня к их дому. Ну, пусть посмеиваясь над глупыми мальчишескими мечтами, понимая всю обязательность и неопасность влюбленности зятя в тещу, как и обратное: в каждой матери проглядывает дочка, каждая мать не может не смотреть на избранника дочери ее глазами.

Она порывисто поцеловала меня в губы, никогда не знал я такого искреннего, из глубины души, такого холодного и ненужного поцелуя. Это был истинно родственный поцелуй, лишенный даже того легчайшего намека на тайну, который присутствовал в моем прикосновении губами или рукой к ее волосам. Тогда все-таки я касался женщины, того бессознательно женского, что она не успевала изгнать из себя в мгновенном соприкосновении с будущим зятем, здесь это был бесполой, мокрый, даже с чавком, поцелуй «мамы», как принято называть тещу в простых семьях.

Я так расстроился, что, начисто забыв о причине быстро симпровизированного застолья, начал откровенно и довольно вульгарно приставать к жене знаменитого авиатора, одного из первых героев сталинского небесного штурма. Они случайно заехали на дачу, не застав живущих рядом друзей, и очень серьезно отнеслись к своему участию в неожиданной свадьбе. Неисповедимы пути господни, эта хорошенькая, чуть старше меня авиаторша лет десять спустя — мы давно разошлись с Галей, и рухнула трагически ее попытка нового замужества — стала постоянной партнершей моей бывшей жены в пьяно-романтических похождениях.

Двойной удар: указ о разводе и превращение Леды в гусыню — сбил меня с орбиты, я окончательно разнуздался, и дело могло кончиться крупным скандалом, если б тетя Дуся не разрядила напряжение самым неожиданным способом.

Хоть и наспех собранный, стол был весьма щедр, но даже некорыстный погреб Татьяны Алексеевны не смог утолить жажды взволнованных радостным событием участников торжества. К тому же знаменитый авиатор, могучий и кряжистый, как ливанский кедр, мог в одиночку осушить бочонок. Когда в доме не осталось ни капли скисшего столового вина, ни сладенького кагора, которым нянька врачевала свои таинственные хворости, ни спирта для протирания бабушкиной поясницы, ни ужасного портвейнчика, недопитого штукатурщиками, тетя Дуся, находившаяся в состоянии эйфории, вызвалась — на ломаном немецком — сбегать в соседнюю деревню за водкой. Предложение было встречено с восторгом, ей дали денег, две кошелки и оставили без внимания, что тетя Дуся направилась не к воротам, а куда-то вбок, через молодой сосняк.

А затем мы услышали нечеловеческий крик, нечто среднее между воем баскервильской собаки и визгом голых ведьм на брокенском шабаше. Мы узнали голос тети Дуси и кинулись на выручку.

На обнѣсенном колючей проволокой заборе, подцепленная шипом под локтевой сгиб, висела, истекая кровью, тетя Дуся. В другой руке она сжимала пустые авоськи. Похоже, в шоковой боли ей представлялось, будто авоськи наполнены бутылками с драгоценной влагой, и бросить такой груз она не могла, даже пронзенная насквозь, как святой Себастиан.

— Не орать! — сурово приказал авиатор. — Что ты, как маленькая?

И ловко снял тетю Дусю с шипа. Ей угодило в вену, темная кровь хлестала фонтаном.

— Она умрет от потери крови, — констатировала жена авиатора и так прелестно-сострадательно распустила свои полные мягкие губы, что я не удержался и запечатлел их страстным поцелуем, не заметив, что она только что накрасила рот.

Прибежавшие с кухни бабушка, нянька и неандерталка решили, что раненых трое, наиболее тяжело, поскольку в лицо, — жена авиатора и я. У бабушки в кармане фартука оказался кусок грязноватого бинта. Авиатор взял носовой

платок, наложил его на рану тети Дуси и крепко завязал бинтом. Затем посадил ее на забор и легонько толкнул. Словно шишка в ночном лесу гамсуновского Глана, тетя Дуся мягко стукнулась о покрытую иглами почву по ту сторону забора. «Акурштейн!» — прозвучало бодро, и мы успокоенно поняли, что водка будет.

Напились мы чудовищно, что не помешало авиатору в третьем часу ночи усесться за руль своего «оппель-капитана», предварительно запихнув на заднее сиденье тело облежавшейся с головы до ног жены; он сердечно простился с остающимися, пожелал нам с Галей долгих счастливых лет жизни и укатил в Москву по строго охраняемому правительственному шоссе.

Происшествию с тетей Дусей никто не придал значения, кроме мудрой няньки. «Плохая примета!» — злорадно вздохнула она и как в воду глядела...

А затем настал день моей встречи-примирения с хозяином дома, ныне тестем. Я ждал, что он извинится хотя бы в шуточной или иронической форме за ту безобразную выходку. Так мне, во всяком случае, было обещано. Я этого не дождался, зато получил наставление. Когда мы отужинали с легкой выпивкой, дамы удалились на кухню, очевидно, выполняя намеченный распорядок встречи, и Звягинцев повел речь:

— Ты входишь в нашу семью. Учить я тебя не собираюсь. Ты взрослый человек, прошел фронт. Не знаю, почему ты не в партии, это дело совести каждого. Может, ты не считаешь себя достойным?..

Я поспешно подтвердил, что так оно и есть.

— Я не вмешиваюсь, — сказал он с суровой деликатностью. — Сам я с восемнадцати лет в рядах коммунистической партии большевиков. Все мои братья и сестры коммунисты. Галя — комсомолка, хотя и недостаточно активная. Ей сбили жизнь. Ты писатель, только начинающий свой путь, тебе будет полезно жить в нашей семье. Ты должен взять тут как можно больше. Надеюсь, что нам не придется раскаиваться в своем доверии. Хватит с Гали одного негодяя.

Я, конечно, заметил, что он умолчал о жене. Слава богу, Татьяна Алексеевна была тоже беспартийной. Но тогда я не

сосредоточил на этом внимания, растроганный серьезностью его тона. Чужая вера всегда производила на меня сильное впечатление, даже если я не разделял ее. К тому же, что знал я о старых, настоящих коммунистах? Нашим соседом по коммунальной квартире (она стала коммунальной по мере постепенной замены репрессированных членов моей семьи новоселами) был печатник Поляков, удивительно чистый, совестливый и под суровой повадкой добрый человек, коммунист с большим стажем. Его ценила и уважала моя мать, которая на дух не переносила «партийной сволочи». Другой коммунист в нашей квартире был кудрявый озорник, ресторатор Федот Бойцов, вор и хапуга, но он вылетел из партии, очистившей таким образом свои ряды от его присутствия. На фронте я видел много негодяев с партийным билетом в кармане, особенно среди политработников, но и тут попадались прекрасные, смелые, жертвенные люди. В моем прежнем круте партийцев не водилось. А здесь со мной разговаривал участник революции и гражданской войны, выдающийся деятель, коммунист с большой буквы, и, клянусь, я почувствовал себя после нашей беседы кандидатом в сочувствующие. Впрочем, к тому времени эта первая, несколько эфемерная ступень партийности уже не существовала.

Как покажет дальнейшее, я хорошо воспользовался уроками партийной семьи, был на высоте их моральных требований, словом, проявил себя настоящим большевиком, хотя и беспартийным...

И началась наша совместная жизнь. Беда моя состояла в том, что я почти безвыездно торчал на даче в опасной близости от Татьяны Алексеевны. В своих легких сарафанах, прозрачных кофточках без рукавов, коротких юбчонках, голорукая и голоногая, она чудовищно возбуждала меня, ничуть того не желая. Я не могу сказать, что любил ее в ту пору, это было чисто животное, бессознательное чувство. Даже не чувство, а тяга, та неумолимая тяга, которая оглушает тетеревов, кидает под выстрел сторожких селезней, сшибает в осенний гон лося с

мчащейся по шоссе машиной, которую в кровавом напльве, лишающем зрения и нюха, он принимает за самку или соперника, безумное вожделение, начисто убивающее защитный инстинкт во всяком дышащем существе мужского пола.

Вокруг творило свой праздничный пир молодое лето: лезли в окна ветви берез и кленов в еще свежей листве, вскипали зеленые облака вокруг брачующихся сосен, осыпая пылью восковистые свечки, отцветала, исходя душным благоуханием, сирень, и нежно зацветала жимолость; в саду можно было набрать кошелку сыроежек и маслят, но я, заядлый грибник, был равнодушен к этому изобилию. В угрюмой рассеянности кропал я статейки для своей газеты об очередных победах нашего оружия, приветствуемых однообразием салютов и мертвых сталинских приказов, — у нас все умеют забюрократить и лишит живого чувства, — очерки для радио о скучных путешествиях Пржевальского и Козлова, о каких-то изобретателях-горемыках, несчастных отечественных эдисонах, которые всех опередили, но остались, как положено в России, неизвестными. Вся эта вялая, без божества и вдохновения, писанина превращалась в брусок рыночного масла или шмат рыночного мяса для моей настоящей, бедной и плохо питающейся семьи.

В новую семью я должен был давать ежемесячно полторы тысячи рублей — моя зарплата в газете, на которую выкупался весь правительственный лимит; из громадного пайка Татьяна Алексеевна продавала мне за сто рублей блок «Казбека», стоивший двадцать пять. Меня угнетала не ее жадность, а отсутствие любви. Но оказалось, что меня балуют. Я слышал, как пеняла ей Тарасовна, толстая жена наркома среднего машиностроения: «Портим мы молодежь, на рынке за сотню 'Казбека' полтора ста рубликов берут». Татьяна Алексеевна разводила руками, признаваясь в своей расточительности, но тему не развивала.

Я до сих пор не могу понять, зачем им нужны были жалкие полторы тысячи, которые такгодились бы моей нуждающейся семье? У них харчи неизменно портились, такой был переизбыток. Три мощных холодильника и дачный ледник не вмещали продуктов. Когда колбаса начинала портиться,

ветчина зеленеть, рыба вонять, сыр сохнуть, шоферу Татьяны Алексеевны, рыжему Кольке, делали пакет. Тот принимал его, злобно поджав губы, и тут же, не боясь, что его накроют, вышвыривал на помойку. На даче серьезных излишков не бывало из-за наплыва гостей, но все-таки еда портилась.

Они были скупые люди, семейно скупые, но тут дело не столько в скупости, сколько в принципе: зять должен приносить получку в дом, иначе он нахлебник, а не полноправный член семьи. По чести говоря, я бы согласился на позорный статус, лишь бы помогать больше моим старикам, но дело было поставлено жестко. Это первое научение, которое я получил в партийной семье, меня не очаровало.

Их скупость имела определенную ориентацию. Она не распространялась на гульбу, тут действовало правило: что в печи, то на стол мечи. Не экономили они и на каждодневной самобранке. Были тароваты к родственникам, съезжавшимся по воскресеньям. И уж вовсе не скупилась Татьяна Алексеевна, когда дело касалось бабушки и тети Дуси, постоянно живущих на даче. Это гарантировало ей если не их преданность, то молчание, в чем мне еще предстояло убедиться.

Нужда моих близких их не касалась и вызывала скорее презрение, нежели сочувствие. Вольно же мне с ними возиться! Ну и устраивайся, как хочешь, а получку клади на стол. Впрочем, я должен быть благодарен Пржевальскому, изобретшему лошадь, и другим унылым героям своих радиочерков (то были яркие люди, унылыми их делало мое безучастие), ибо они хоть на время изымали меня из неотступного эротического бреда.

А так... Я слышу рассыпчатый смех Татьяны Алексеевны на нижней террасе. Представляю себе ее смеющийся рот, чуть закинутую золотую голову, шею, смуглую от загара и цвета топленого молока под навесом подбородка. А почему я знаю, что она закинула голову? Когда закидывает, у нее красиво обрисовывается от натяга нижняя челюсть, и лицо чуть отчужденно молодеет... Летят к черту докучные подвиги бесстрашных путешественников, примус, скороварка и деревянный велосипед изобретателей-самоучек, я бросаюсь на

кровать. Я уже говорил, что меня неизвестно почему миновал мальчишеский грех. Я знал, как и все нормальные подростки, безгрешное ночное наслаждение от слишком сладостных снов, но это не дает навыка. Меня корчит, раздирает на части. Напряжение причиняет острую боль. Я мчусь в верхний туалет к умывальнику и пускаю ледяную струю. Возможно, это обман зрения, но кажется, что идет дым, как от костра, когда его гасят. Ледяная вода остужает пыл, я могу вернуться к Пржевальскому, Кулибину и прочей нечисти.

Только заползал карандаш по бумаге, Татьяна Алексеевна стала кого-то звать. Ее голос, молодой, звонкий, мелодичный, действует на меня еще сильнее смеха, который враждебен чувственности. Она звала чаще всего внука или сестру, людей, которых любила, и голос был окрашен лаской. Я опять кидаюсь на кровать лицом в подушку, целую ее, кусаю, потому что это не подушка, а плоть Татьяны Алексеевны, и снова мчусь в туалет тушить пожар.

Как я не стал импотентом от этих упражнении? Не стал, даже окреп. Недаром врачи рекомендуют холодный душ, а супер-разведчик Джеймс Бонд в ужасных романах Флеминга при каждом удобном случае становился под ледяную струю. Наверное, отсюда его всепобеждающая мощь.

Куда лучше складывались дела, когда Галя, свободная от музыкальных занятий, оставалась на даче. Обратав меня и поступив в училище, она нервно успокоилась и расцвела как маков цвет; приятно округлилась и даже прибавила в росте, стала больше походить на мать — уже не последняя ущербная матрешка в знаменитой деревянной кукле, а где-то из середины. По своим хлопотам она часто подымалась вверх, наша комната находилась на втором этаже, я ее тут же перехватывал и валил на кровать. Поначалу ей льстил этот невиданный энтузиазм, становящийся к тому же предметом увлекательных обсуждений на кухне. Физиологическая жизнь семьи не выделялась из круга других насущных забот, вроде приготовления свиного холодца, засолки огурцов, ремонта швейной машины, возни с капризами и аллергическими недугами инфанта — отрады грозных очей главы дома. Мне кажется, к обсуждению нашей бурной половой жизни

подключались бабушка, нянька и даже стыдливая неандерталка.

И все же четыре-пять дневных объятий и столько же ночных утомляли Галю и, как она уверяла, отрицательно сказывались на голосовых связках. Потом она со слов матери передала жалобу отца, что он из-за нас не высыпается. Я думал, она это придумала, чтобы окоротить меня, она была врушка, хотя и безвредная. Впрочем, порой могла осложнить отношения между людьми какой-нибудь вздорной небылицей. Но тут она говорила правду. В один из воскресных дней в комнату без стука — дело было днем, я работал, — с той хамской развязностью, с какой в старое время душили русских царей, а в советское — проводят инвентаризацию в учреждениях, вошли два мужика, чтобы передвинуть тяжелую металлическую кровать, закрепленную почему-то намертво, словно в защиту от корабельной качки. Мужики отвинтили железные плашки, освободив ножки на фарфоровых роликах, перекатали кровать в другой угол и вновь прикрепили к полу. Наверное, таково было распоряжение Звягинцева, чтобы обезумевшее от страсти ложе не прискакало на старое место, лишив его сна.

Вначале я испытывал некоторое смущение, что наша интимная жизнь стала предметом не только обсуждения, но и практических, весьма громоздких мероприятий, а потом возликовал, что Татьяна Алексеевна как бы приобщилась к моим любовным подвигам. Я уже не раз убеждался, что в отличие от Оригена и других аскетов раннего христианства она не испытывает отвращения к жизни плоти. А затем возникло чувство потери. Раньше, когда наша с Галей любовь творилась прямо над ее головой, я как бы накалывал ее сквозь потолок на раскаленный шампур страсти, а теперь нас разъединили.

Еще хуже мне стало, когда открылся купальный сезон на Москве-реке. Татьяна Алексеевна купалась только голой, нисколько не смущаясь присутствием мужчин домашнего круга: меня, Гоши, Артюхина, шофера Кольки, братьев мужа, — равно и вовсе посторонних купальщиков. Она не устраивала из этого аттракциона, заходила в воду, прикры-

ваясь рукой, купалась, не умея плавать, под берегом, но могла долго и тщательно намыливаться, ничуть не смущаемая жадно-любопытными взорами. Она считала купанье в речной воде полезным для кожи. Кстати, «своих» мужчин не стеснялась и скромная Люда. Выйдя из воды, она снимала купальник и спокойно вытиралась в двух шагах от меня, стоя ко мне лицом. Правда, заметив однажды мой слишком внимательный взгляд, погрозила пальчиком.

Я вглядывался в средоточие всех моих желаний и мук, похоже, это не оставалось незамеченным окружающими, но дело было настолько серьезно, что тут не до пустых правил приличия. Я не мог ничего толком разглядеть. Проклятие тяготело надо мной. То мешала тень от берега, то тень от ее собственной руки, то тень прибрежных кустов или рослого, клонящегося к воде цветка, то блики воды, то солнечный луч, уничтожающий все тени, обесцвечивающий, сглаживающий, обращающий материю в золотистое сияние. Татьяна Алексеевна была естественной блондинкой, золотой пушок на золотистой коже почти не различим, будь все неладно, почему она не дама пик! Тогда все было бы ясно, отчетливо и убедительно. В пепельной золотистости, в туманной дымке утрачивалась присущая Татьяне Алексеевне в каждой черточке завершенность, самоисчерпанность. В ней ничего нельзя, да и не нужно было улучшить, исправить, заменить: выгиб брови был так же совершенен, как изгиб позвоночника, любой подробностью своей внешности она демонстрировала превосходство штучного производства над ширпотребом. Мастер, сотворивший ее, сочетал вдохновение с невероятной, лишь гению присущей тщательностью. Так создавал свои золотые вещицы неистовый и скрупулезный Челлини, так вырисовывал белые цветочки у грота, приютившего Мадонну, божественный Леонардо. Ничего эскизного, ничего наспех, все выработано филигранно: ушная раковина, розовая прозрачная мочка, гордый вырез тихо дышащих ноздрей, рисунок рта, разрез глаз, как у лани, — старый, больной, может быть, умирающий, я трепещу былым трепетом, когда оскальзываю глазом памяти ее благодатный облик. Каждая прядь тщательно расчесанных волос твердо знала порядок и,

осуществив право на взлет, взвей, взмах, снова возвращалась на свое место. А руки с миндалевидными ногтями, а упругие груди с лайковыми сосками, а нежный мышечный рельеф подмышек, а округлая дароносица живота, а эмалевая гладь ляжек!.. Но вот лоно... Художник лишился вдохновения там, где оно всего нужнее. В качестве наброска годится, но для законченного полотна не хватает мазка, штриха, одного касания кисти. Татьяна Алексеевна была Лиотарова письма, а не позднего Ренуара, когда тот привязывал к изуродованной артритом руке кисть, чтобы без конца «ласкать» (его собственное выражение) розовые пузыри задниц своих натурщиц-сожительниц, и уж, конечно, не тех утративших любовь к женщине пачкунов, что пришли на смену импрессионистам.

У меня возникла кощунственная мысль, что лобок ее головат. Это никуда не годилось. Но вместе с тем такое предположение объясняло странное бесстыдство моей тещи. Она почти ничего не показывала нескромному взору, немногим больше, чем нагие греческие скульптуры богинь, — место соединения линий, почти нагой, как у невинной девочки, лобок, остальные тайны скрыты. Эротична и волнующая лишь курчавая шерсть, античная гладкость довлеет эстетическому чувству, но не страсти. Мне не хотелось верить собственным глазам.

Одна моя знакомая охладела к своему любимцу эрдель-терьеру, когда я заметил, что он крептор, то есть лишен замшевого мешочка с яичками. Он был полноценный кобель, но со скрытой мощью. «Неужели из-за этого можно разлюбить собаку?» — удивлялся я, проклиная свою наблюдательность и болтливость. «Наверное, нет, — отвечала знакомая. — Но он для меня был совершенством, а не просто собакой. Мне так хотелось видеть хоть одно безукоризненное существо в этом уродливом мире. Абельяр меня не устраивает». — «Но он отнюдь не Абельяр. Все при нем, только спрятано». — «В этом-то и беда. Я больше его не вижу, а вижу лишь то, чего у него нет. Он ущербен, как все прочие». И она вскоре рассталась с собакой.

Я не собирался так просто отказываться от Татьяны Алексеевны, пусть лобок ее под стать холму для шабаша. Я

уговаривал себя, что причина в цвете волос, сливающимся с цветом кожи. Я малость сдвинулся на этом, но выяснить истину на реке не представлялось возможным.

У меня есть одно, очень сильное воспоминание, оказавшее влияние если не на всю структуру моей личности, то на тот ее отдел, который ведаёт сексуальной изобретательностью, или, по-другому, влечением.

Мы жили в огромной квартире, до революции принадлежавшей нашей семье, а затем, как и все частные квартиры, превратившейся в коммуналку. История, которую я собираюсь рассказать, случилась на заре уплотнения, когда со смертью бабушки мы потеряли первую большую комнату, куда въехала многодетная пролетарская семья Поляковых, а жена бежавшего от ареста в Ленинград дяди Гриши Леля самоуплотнилась милой цветочницей Катей. Леля была крупной яркой женщиной из казачек: карие сочные глаза, соболиная бровь, высокие скулы, мощные бедра, литые ноги. На верхней губе у нее чернели волоски, что не портило Лелю, напротив, придавало особый шарм ее впечатляющей внешности. Сам я, конечно, этого не понимал, но слышал, как говорили взрослые. Полная, неторопливая, рассеянная, ленивая, она распространяла вокруг себя какой-то благостный сонный покой. Впоследствии, наскучив одиночеством — дядя Гриша всерьез и надолго окопался в Ленинграде — и обществом милой, но сильно пьющей цветочницы, Леля вышла замуж за крупного производственника, что привело ее сперва на пять лет в Австралию, затем на шестнадцать лет в лагерь и ссылку. Выпущенная на волю, старая, бездомная Леля появилась в нашем новом жилье и осталась надолго. Она была такая же большая, добородушная, рассеянная, даже миловидная, но уже не ленивая. Исколотыми иглой пальцами она зарабатывала себе на жизнь. По реабилитации расстрелянного мужа, незадолго до смерти, почти слепая, она получила крошечную квартирку и пенсию.

Но это все потом, на исходе жизни, а в те далекие дни Леля была молода, прекрасна и, несмотря на двусмысленное положение соломенной вдовы, беспечно довольна жизнью.

Наша громадная кухня с кафельной дровяной плитой, став общей, приобрела для меня новое очарование. Я традиционно,

пил там чай из самовара с ситным хлебом, который по-стариковски макал в теплый чай, налитый в блюдец. Откуда явилась у меня эта простонародная привычка, не помню, но каждое утро, едва продрав глаза, я грозно вопрошал: «Санавай готова?» И горе было моим домашним, если по какой-либо причине «санавай» не была готова. Раз-другой они пытались надуть меня, заливая холодный самовар кипятком из чайника, но я после первого же глотка, не вдаваясь в объяснения, ибо сам не ведал причины своей догадливости, раздражался отчаянным ревом.

На кухне толпилось множество народа: сюда приходили мыться под краном все Поляковы, глава семьи Данилыч прибегал чистить селедку-чухонь над помойным ведром, а потом с алюминиевой кружкой за чаем; не успевали схорониться — после ночного гулянья — по щелям и тайникам плиты рыжие тараканы, которых так приятно хрустко давить; сюда являлся зеленщик дядя Миша с солеными огурцами, квашеной капустой, мочеными яблоками — он приезжал из подмосковной деревни на розвальнях, запряженных кургузой мухортой лошаденкой, ежедневно приходила молочница Клаша с цинковыми бидонами; цветочница Катя запаривала белье в огромном баке (бумажные цветы плохо кормили, она подрабатывала стиркой); тут стоял дым коромыслом, все громко и весело разговаривали, шутили, задевали друг дружку — нэповское время было благодушным. Здесь же я узнавал самые свежие дворовые новости о ссорах, драках, разводах, любовях, о том, что расковался Хапун, красавец жеребец, возивший бриллианщика-грека Саматиса, что шофер Козлов, сосед по лестничной площадке, сбил пьяного, а его дочь-велосипедистка выиграла какой-то приз, что в домовом клубе показывают «Багдадского вора» с Дугласом Фербенксом.

Приходила на кухню всегда позже других Леля, уже умытая (в ее комнате имелся умывальник), но неприбранная, в китайском, то и дело распахивающимся халате поверх короткой кружевной рубашки, со спутанными, кое-как заколотыми — башней — черными волосами, пахнущая туалетным мылом от рук и лица, сном от остального тела, уютная, благодушная, зевающая. Над ней смеялись, что она

опять заспалась и ничего не знает о местных новостях, что к волосам ее пристал пух, а халат лопнул в проёме. Леля добродушно отбивалась, потом замечала меня — она была очень близорука, — хватала за локти и заставляла делать гимнастику. Конечно, не настоящую, просто я корячился, вертелся у нее в руках, при этом мы оба хохотали. Но вот однажды, невероятно вывернувшись, я оказался у нее между широко расставленных ног, вниз головой, но с очами, воздетыми горё. Я увидел розовые плоскости, которые, сужаясь, уходили вдаль, к темной густой заросли. Кудрявый этот лес рассекало опаловое ущелье с живым, будто дышащим кратером. В первые мгновения я ничего не понял, но темное волнение, охватившее меня, было предчувствием истины. Я спровоцировал повторение трюка, одно это доказывает, что подсознание, как всегда, опередив вялую работу рассудка, уже знало все. Вновь смуглое, розовое, опрокинутое вверх ущелье привело меня к поросли, скважине и глубоко запрятанному в складках местности зеву вулкана. Из-за того, что я висел вниз головой, мир был опрокинут, мне казалось, стоит Леле разжать руки, я провалюсь в эту расщелину, и никакой силой не выманить меня наружу. Там была другая вселенная, о существовании которой догадывалась моя тайная душа. Уже взрослым я услышал стихи в томном пошибе Ватто о берегу вечного веселья и незнакомых с печалью садах, скрывающихся за темной, смутно зыблемой далью, и сказал себе: я знаю, где та блаженная страна, она осталась меж Лелиных ног.

И началось ежедневное паломничество в святые и радостные сады. Надо быть Лелей, рассеянной, близорукой, витающей в облаках, чтобы не заметить, что е мальчиком не все ладно. Слишком стал я боек, криклив, спортивен и охоч до утренней гимнастики. А главное, резко сократилось число упражнений, сведясь постепенно к одному-единственному, совершив которое, я замирал с головой под полами китайского халата. Бог мой, если б навсегда остаться там, медленно погружаясь в опаловую пучину!

Счастье было, увы, не долгим. Меня грубо исторгли из волшебного сна. Совершив в одно скорбное утро привычное

сальто-мортале, я вместо ущелий и лесов уперся взглядом во что-то тускло-фиолетовое и унылое, как промокашка. То были Лелины штаны. Убежден, что сама она так бы ни о чем не догадалась, это моя нянька Вероня с ее недреманным оком и вечным страхом за меня проглянула губительную бездну. Она сделала внушение Леле, вернув меня в обыденный и после всех изведанных головокружений скучный мир тараканов, кухонных пересудов, селедок Данилыча, солений дяди Миши, бидонов тети Клавы-молочницы. Все это начисто утратило бывшее очарование...

И вот теперь давняя история всплыла со дна памяти, одарив счастливой мыслью: что, если попросить Татьяну Алексеевну об услуге, которую мне на заре золотого детства бессознательно оказывала Леля. У меня не было никаких аргументов, кроме того, что надо, надо рассеять дурное подозрение на ее счет, навеянное злым духом — водяным. Нет человека, которого время от времени не посещали бы бредовые замыслы, сумасшедшие желания, но этот шлак сознания уходит, никак не обнаружив себя. Я смертельно боялся подобных наитий, ибо знал, что непременно осуществлю их в пьяном виде. Так случилось и на этот раз.

Вскоре мне представился удобный случай. Мы поужинали вдвоем, что бывало в последнее время довольно часто — у Гали концерт сменялся экзаменом, экзамен — зачетом, а тетю Дусю увели с дачи какие-то семейные неприятности. Я начал с небольшой строго фрейдистской лекции о детской сексуальности. Затем грустно, чуть не со слезой, поведал, как глядел под юбку Лели на тараканьей кухне и какое сильное и важное, отбросившее свет и тень на всю мою последующую жизнь впечатление произвел открывшийся там пейзаж. Татьяна Алексеевна, внимательно слушавшая, ибо с уважением относилась к женской физиологии, к мужской — тоже, перебила меня, сказав, что на эту тему есть старинный русский романс, и тут же исполнила его с присущей ей музыкальностью и теплотой голоса:

*Мадам Каде,
У вас в п...,
Как в Тихом оке-а-не!..*

Она, видать, не поняла, что в элегическом воспоминании содержится достаточно ясный призыв последовать примеру моей далекой родственницы, ибо несовершенно представление о женской красоте, если из него изъято средоточие тайны. Мне бы попрямее и попроще, но я продолжал столь же велеречиво.

Татьяна Алексеевна изо всех сил напрягалась, чтобы уследить за ходом туманных рассуждений, понять их вглубь, угадать причину моих страданий, которые прозревала ее женственность. Какая-то странная наволочь замутила распахнутые серо-голубые глаза, похоже, она заснула. Ничего удивительного нет, в каждом из высоких собеседников плескалось не меньше семисот граммов водки.

Путаясь в околичностях, я усыпил и самого себя. Проснулся на вздрог от голоса раньше вернувшейся в явь Татьяны Алексеевны:

— Ты прав... Жизнь прожить — не поле перейти. Давай по последней, завтра рано вставать...

Больше я к этой теме не возвращался, поняв, что не так-то просто разрушить заложенный в Татьяну Алексеевну стереотип отношений тещи и зятя, включающий родственную доверительность на пляже, но не предполагающий персональный стриптиз.

Время шло, а я все меньше понимал Татьяну Алексеевну. И, как нередко бывает в растерянности перед чужой тайной, мне захотелось видеть ее сфинксом без загадки. Почему я не мог принять Татьяну Алексеевну в ее естественной монолитной простоте? Меня сбивали с толку собственная очарованность и какой-то шальной бес, который проглядывал в ней во время кутежей. Но зедь кутежи — это разрядка, выключение из обыденности, антракты, а не действие жизни. А в действии трезвой жизни она была спокойно-деловита, ответственна и памятлива. На ней лежала забота о большой семье, бессчетной родне и трех домах, потому что она была хозяйкой и в нашем с Галей доме. Ее точность и дисциплинированность поражали. На любой выход она была готова первой, никогда и никуда не опаздывала. Собственный ее обиход был продуман в мельчайших деталях. Она хорошо

держала выпивку, куда хуже закуску, хотя ела очень мало. На выездных банкетах она незаметно выблевывала скромную закуску в большую лакированную сумку. Дома сумку разгружали, мыли, подкладку выдирали и вшивали новую. До следующего блева.

Эти столь не присущие женщине свойства: точность, четкость, обязательность — шли, видимо, от мужа, человека железных привычек. Горячий, гневный, страстный... робот. Весь день у него был расписан поминутно, и только тяжелая болезнь могла выбить его из распорядка. По масштабу личности и мощи страстей — байроновский Каин, по уставу — автомат. Если он что-то вводил в привычку, это становилось непреложным. Эпоха пипифакса еще не наступила, горожане пользовались газетой. Из неуважения ко мне Звягинцев подтирался только «Трудом», где я работал. И какие проклятия неслись из уборной, если он не обнаруживал аккуратных долек печатного органа ВЦСПС!

Татьяна Алексеевна была крепкий орешек. Она держала быт в своих надежных, уверенных руках, но и быт держал ее, заставляя всегда сохранять физическую и душевную форму. Требуя от нее, он одновременно служил ей защитой. К ней не подступиться.

Хорошо натренированный, психологически подготовленный спортсмен кажется монолитом, лишенным слабостей. А как легко порой ломаются великие чемпионы, фавориты, непобедимые кумиры публики. Случайная неудача, фальстарт, плохая примета, легкое недомогание, любая ничтожная случайность, вдруг заставляющая усомниться в себе, и — куда девался скрут мускулов и воли? Сгорел дотла, как Москва от копеечной свечки.

Но катилось лето — в июль, в август, не приближая меня ни на шаг к Татьяне Алексеевне, не разрешив ни одной из загадок, даже той, что возникла на пляже. И опять мы в городе, в однообразном, отлаженном, вязком и безнадежном быте, где мне ничего не светит. Но не бывает же вовсе неуязвимых людей, как мне нащупать ее слабинку? Она производила впечатление настолько уверенного в себе человека, что не нуждалась в каком-либо подтверждении своей

независимости и права единолично решать все проблемы той маленькой державы, которой правила с одобрения мужа.

Как она относится к нему? Любовь, уважение, привычка, предупреждение всех желаний. Можно сказать сильнее: безоговорочное почитание. Имя Звягинцева не произносилось всуе, но дух его незримо витал над всеми нами. Лицемерие Вседержителя губительно для смертного. Многие люди, бывавшие в доме изо дня в день, никогда не видели Василия Кирилловича. Исключения делались — крайне редко — лишь для немногих избранных, отбор производила Татьяна Алексеевна. Она была хранительницей его покоя, осуществляя это не грубо, но неукоснительно.

Секреты алькова, если таковые имелись, были скрыты за семью замками. Так что же, признать свое поражение и отступить? Я бы охотно так сделал, если б это зависело от меня. В средневековье умели изгонять из человека злого духа, беса. В случае неудачи одержимого предавали смерти. Я был из смертников. Как ни пытался я низвести с высот Татьяну Алексеевну, обесценить, унижить в собственных глазах, стоило ей появиться в своем золотом сиянии, и все мои спасительные усилия шли прахом.

Однажды трещинка обнаружилась там, где я никак не ждал. К нам с Галей пришла в гости моя мать. Водки, как полагается, не хватило. День был слякотно-снежный, такой гнусный день, какой бывает только в Москве в ноябре месяце, когда зима хочет прийти, а осень не пускает, и на улице творится что-то невообразимое: снег, крупа, дождь, метельные порывы ветра, промозглый холод — добрый хозяин собаку на двор не выгонит. А придется когó-то выгнать. Конечно, не маму и не Татьяну Алексеевну, я температурил, сидел с грелкой. Клонилось к тому, что идти Гале. А ей до смерти не хотелось, она боялась за горло, и без того часто ее подводившее. Возникла каверзная мысль кого-то пригласить: Катю, Люду, Гошу и тут же послать за водкой, но останавливал страх, что погаснет в нас так хорошо запыхавший священный огонь, пока новый гость раскачается. И тут мама сказала хладнокровно: «Пошлите няньку. Ей все равно нечего делать».

Это произвело впечатление разорвавшейся бомбы. Все онемели. И тут я до конца уверился в том, о чем смутно подозревал. Нянька была красивой ненужностью, над инфантом и так тряслась вся семья, старательно портя неплохого мальчишку. Анисья Родионовна пришла сюда из какого-то старого аристократического дома, кажется, от художника-мирискусника Лансере, и Звягинцевы робели ее, даже глава семьи поджимал при ней хвост. Нянька принадлежала чему-то высшему, лучшему, озарявшему Звягинцевых благородным светом.

Мамину эскападу отнесли за счет опьянения и неудачной попытки пошутить. Татьяна Алексеевна принужденно улыбнулась. И тут случилось то, что навсегда вошло в семейную летопись: мама послала няньку за водкой. Надо сказать, что сама Анисья Родионовна обалдела лишь в первый момент, затем в нее проникли не слова, а звуки маминого голоса, так непохожие на музыку дома, и в голосе этом были конюшня, розги, сдача в рекруты, сладкая господская милость, награда из своих ручек за верную службу, согревание барыне постели, усадебная тишина, шелест лип в темных аллеях, пересуды в людской — все, чем так мило русскому холопу проклятое прошлое. «Что еще прикажете взять?» — спросила она не с угодливостью, а с радостной одухотворенной готовностью порадеть. «Устриц и трюфелей!» — распорядилась мама. «Устрицы были, да неважные, с душком, — сказала нянька, явив неожиданную осведомленность в изысках бывшего Елисеевского магазина. — А трюфлей я с этих беспорядков в глаза не видала». «Беспорядками» нянька называла, очевидно, Великую Октябрьскую революцию, которую делал хозяин дома. «Закуски хватит», — подсуетилась Татьяна Алексеевна. «Тогда водки и пива», — решила мама.

А на другой день нянька говорила на кухне случившейся в доме тете Дусе, утирая мелкие слезки: «Настоящая барыня, белая кость. Пошли ей Бог здоровья».

Тут был какой-то реванш, который мы, нищие, взяли у богачей, но моим целям мамина победа едва ли послужит. Самое большое, я, барчук, мог бы в усадебных традициях

овладеть нянькой, но не Татьяной Алексеевной — при всем ее потрясении. И все-таки я впервые увидел, что она растерялась. Трещинка на монолите...

Была у Татьяны Алексеевны одна «отдельная» пара гостей, которую она не замешивала ни в родню, ни в иное застольное многолюдье: старая подруга по дому Нирензее Нина Петровна и ее недавней выпечки муж Матвей Матвеевич. Не то чтобы Татьяна Алексеевна стеснялась этого знакомства, она держала его для себя, для собственной улады, той раскрепощенности, которую они стимулировали в ней. На встречу с ними допускались лишь самые близкие: тетя Дуся, Катя, Люда, ну и, конечно, мы с Галей. По-моему, Звягинцев недолюбливал Нину Петровну, распространяя дурное отношение на ее мужа, которого в глаза не видал. Звягинцеву не откажешь в проницательности — стесняться было чего.

Нина Петровна загадки не представляла — обычная рыхлая добродушная русская баба, выпивоха, плясунья, балаболка, существо вполне безобидное. А вот ее избранник — полный моветон, как назвал Хлестаков почтмейстера Шпекина. Трудно понять, из какого морального захолустья возник этот человек. Он носил темно-синюю суконную кавказскую рубашку на миллионе мелких пуговиц, галифе и мягкие сапоги. На джигита он все же не тянул — кургузый, плотный, с большим брюхом. К туловищу лабазника, завскладом была приставлена большая, отменно вылепленная голова дореволюционного модного врача-гинеколога, украшенная серебром густой шевелюры, усов и бородки клинышком. Благородный портрет разрушали жуликоватые, бегающие глазки, топящие в медовом подобострастии опасноватую остротцу. Говорил он с анекдотическим одесским акцентом, и не только рассказывая анекдоты, до которых был охоч. Нина Петровна, обожавшая своего Мотю, выдавала его за провинциального актера, долго служившего на юге и перенявшего произношение персонажей, которых играл. Матвей Матвеевич был темен, как погреб, но темнота скрывала не окровавленные трупы, а мелкие нелады с уголовным кодексом. Самозабвенную влюбленность Нины Петровны в этого некачес-

твенного человека мне объяснили наличием у него уникальной «шляпы». Так, оказывается, называют набалдашник члена.

Я ценил эту пару за то деморализующее влияние, которое они оказывали на Татьяну Алексеевну. Только в их присутствии можно было услышать трогательный романс, исполняемый Татьяной Алексеевной с насмешливой, но несомненной грустью:

*А бывало, он мне засаживал
Ленту алую в косу русую.
А теперь его не стоит давно
Черногривый конь у ворот моих.*

И каждый раз Нина Петровна перепевала этот куплет по-своему:

*А теперь его не стоит давно
Эскадрон лихой на деревне той.*

— Мне больше нравится черногривый конь, — мечтательно говорила Татьяна Алексеевна. — Это красивей.

— А эскадрон лихо намекает на групповое изнасилование, — вкрадчиво добавлял Матвей Матвеевич.

Это задавало тон, и разговор съезжал в сладкую топь эротики. Но тщетно пытался я уловить намеки на какие-то прошлые грехи, связавшие подруг нерасторжимой дружбой, о которую разбился авторитет Звягинцева. В доме царил безраздельно устав Василия Кирилловича, и такое своеволие Татьяны Алексеевны было примечательно. «Нинку» она мужу не уступила.

Меня удивляло, что, прожив уже достаточно долго в доме Звягинцевых, я не узнал о своей родне ничего нового. Можно подумать, что у них нет прошлого. А ведь должны же быть какие-то лирические воспоминания у людей, соединивших судьбы на заре туманной юности. Однажды кое-что приоткрылось по самому неожиданному поводу.

Меня давно занимала памятная доска на одном из старых зданий по Леонтьевскому переулку. Там сообщалось о гибели большой группы депутатов Московского Совета от взрыва эсеровской бомбы. Я вспомнил, что Василий Кириллович был депутатом Моссовета первого созыва, почему же его пощадила судьба?

С таким вопросом я обратился к своему тестю за общим завтраком.

— Папка бы тоже погиб, если б не я, — сказала Татьяна Алексеевна. — Я прибежала к нему на свиданку. Он вышел, мы стали обжиматься за углом. Тут как рванет!..

— Ну, ладно! — буркнул Звягинцев. — Поехала!..

Он громко рыгнул — неперемный ритуал, свидетельствующий о сытости: «Уф, обожрался!» — и вылез из-за стола. Он явно был смущен воспоминаниями Татьяны Алексеевны. Это напомнило мне Максима Горького, который краснел, если в присутствии женщины произносили слово «штаны», что не мешало ему при такой мимозности сожительствовать со своей снохой.

— Подумаешь, какой стеснительный! — сказала ему в спину Татьяна Алексеевна и в пряной чосеровской манере поведала о волнующем мгновении юности, где любовь и смерть соединились в едином клубке.

Едва обняв ее, Звягинцев хотел вернуться на заседание, но она расстегнула ему ширинку и, несмотря на неудобство положения и недостаточную изолированность места, — правда, дело шло к вечеру, и фонари не горели, — сумела принять его в себя. Но он никак не мог приспособиться и норовил уйти, и тут как ахнет! От испуга он кончил, она тоже — впервые в жизни — и понесла Гальку.

— Значит, я дитя взрыва? — удивилась Галя.

Татьяна Алексеевна кивнула и добавила несколько смачных подробностей о кусках окровавленного человеческого мяса, достигших их, — от взрыва погибли и люди, находившиеся снаружи. А на решетчатой ограде повис мужской член во всем наборе, припомнила сказительница. Я был уверен, что эта деталь появится, без нее былина была бы неполной.

Но заинтересовала меня в рассказе не физиология, а ожесточенность тона. За нарочитым цинизмом проглядывала обида. На что? На поведение Звягинцева, ушедшего от лирических воспоминаний? На монолите появилась еще одна трещинка...

Другое воспоминание юности, возникшее спустя какое-то время за воскресным семейным столом, было окрашено

юмором, и Звягинцев отнесся к нему благодушно. Татьяна Алексеевна уже была тяжела Галей, когда муж пригласил ее на балет в Большой театр. Давали «Лебединое озеро». Звягинцев, который впервые был на балете, отчаянно скучал, вертелся и все время спрашивал, когда же начнут петь. Татьяна Алексеевна объяснила ему, что в балете не поют, только танцуют, он этому не поверил, считая презрением к рабоче-революционной аудитории. «Буржуям-то небось пели! А для нас им голоса жалко». Их пререкания и пшебуршья раздражали сидящую впереди пару, жирных евреев. «Нэпманов!» — сделал социальное уточнение Василий Кириллович. Тут я его поймал: нэп появился позже. «Больно грамотный!» — огрызнулся Василий Кириллович и покраснел. «Ты будешь слушать или политграмотой займешься?» — недовольно сказала Татьяна Алексеевна. Я извинился. Василию Кирилловичу, видимо, хотелось дослушать эту историю, он перетерпел мою выходку, остался за столом и даже взял на кончик ножа жареный помидор; пронес его над блюдами, стоящими на столе, к своей тарелке, закапав их маслом и соком. Это почему-то считалось хорошим тоном.

— Папка ужасно разозлился на них, — продолжала Татьяна Алексеевна, вновь затеплив улыбку нежного воспоминания. — И... нафуныкал.

— Набзде! — поправил Василий Кириллович. — Что я, мальчик — фуныкать?

— Евреи завертелись. Мадам схватила за сумочку, достала духи, сама опрыскалась и мужа спрыснула. Да разве от папки спасешься?

— Я много капусты за обедом навернул, — объяснил свой успех Василий Кириллович. — Квашеной, в щах и еще селянку. А это — как жженная пробка.

— А что — жженная пробка? — поинтересовалась Галя.

— Попробуй — узнаешь, — посоветовал отец.

— Лучше не надо, — попросил я.

— Ну да, ты же тонкий интеллигент! — съязвил Звягинцев. — Сидишь на своей поэтической масандре... — Он рыгнул и поднялся. — Уф, обожрался! — и покинул столовую, разозленный тем, что я не оценил его подвигов.

А я и правда не оценил. Мне непонятно было, как можно позволить такое при молодой жене (да и при старой — тоже). Конечно, классовая борьба, но в слишком уж неаппетитной форме. Татьяну Алексеевну это ничуть не смущало, она восхищалась молодечеством мужа. И чтобы ее не разочаровывать, я спросил:

— А чем кончилось?

— Выкурил он их. Чем же еще могло кончиться? Повздыхали, поерзали и смыслись.

— Небось не они одни?

— Не помню. Нет, остальная публика была из простых: матросы, солдаты, раненые. Этим евреям все равно бы не досидеть. К концу спектакля можно было топоры вешать.

А ведь Татьяна Алексеевна была из чистюль. Но связанное со Звягинцевым ей не могло быть ни противно, ни осудительно. Это надо иметь в виду...

Вот такие воспоминания...

Были и другие. О беспробудном пьянстве, хотя никто его так не называл, когда Татьяна Алексеевна вернулась из эвакуации. Перед этим нашелся пропавший без вести в первые месяцы войны Галин муж. Я уже говорил о несколько смутной истории его выдворения из дома. Когда Галя вскоре вслед за матерью приехала в Москву, она не застала мужа, но попала, как говорится, с корабля на бал: в большую загульную пьянку. Ядро развеселой компании составляли закадычные подруги: Татьяна Алексеевна, Нина Петровна и пожилой алкоголик Макарыч из заводского управления, доверенный человек Звягинцева. Сам Василий Кириллович разрывался между московским заводом и той его частью, что была эвакуирована в Кемерово и стремительно выросла в громадное предприятие. Дома он почти не бывал. Отношения с Макарычем были более чем свойские. Напившись, подруги — Галя в этом не участвовала — забирались в ванну, а Макарыч тер им спинку, грозясь немедленно перетрахать. Свою угрозу он так и не осуществил, зато дамы жестоко посмеялись над ним. Однажды, когда он пьяный уснул на диване, они вынули его член и привязали к нему бантик. Мне это преподносилось как тонкий розыгрыш.

Во всем этом было что-то темноватое. Почему исчез без следа участник буколических забав и даже имени его не упоминалось? Почему Нина Петровна не допускалась перед светлые очи Василия Кирилловича? Быть может, пошли дурные слухи об «утехах и днях» жены легендарного директора, и Василий Кириллович навел порядок железной рукой? Но самое непонятное для меня было, почему эта залихватская жизнь развернулась и в очень трудное, тревожное для страны время, и в далеко не лучший период жизни семьи: как-никак Галя осталась без мужа с ребенком на руках, и пусть они не будут знать материальных забот, мальчику предстоит жить без отца. А Татьяна Алексеевна гуляла, как в последний день. Ей бы поддержать дочь, облегчить постигший ее удар, а не плескаться в ванне на глазах старого пропойцы и не бантики завязывать. Это выглядело как-то не художественно, а всякая правда жизни, сколь бы уродлива и страшна ни была, обладает художественной завершенностью. Значит, тут выпали какие-то звенья, мне известна не вся истина.

Моя теща оставалась для меня загадкой. Я достаточно прожил в доме и достаточно здесь попиrowал, но никаких оргиистических наклонностей в ней не обнаружил. И в песенки про «Мадам Каде», «Душку шофера», «Черногривого коня» она вносила ту легкую иронию, с какой мы вспоминаем о глупостях молодых лет. Это было мило и несерьезно. Она снисходительно относилась к рискованным выходкам тети Дуси, но было бы противней, если б она разыгрывала из себя классную даму. Она жестко и достойно отвечала не только на дикие выходки, вроде профессорского шлепка, но и на малые проявления непочтительности, что могут позволить себе спяну даже воспитанные люди. Умела держать окружающих в узде. И крепко, уверенно вела огромный дом. Была человеком долга. Соблюдала безукоризненную форму. Но трещинки-то обнаружились. Значит, что-то непрочное, надорванное или не вполне здоровое было в самой структуре этого бытия. Иногда мне казалось, что жизнь семьи накрыта, как колпаком, великим умолчанием, а

я под колпак не попал, остался на периферии. Но все это — лишь смутные, ни на чем не основанные догадки.

Однажды на кухне Татьяны Алексеевны появилась благообразная старушка, похожая на монахиню, кругленькая, постненькая, с потупленными и вдруг вспыхивающими мгновенным интересом глазками, с ужимками прошлого века: зевая, крестила рот, то и дело приговаривала «грехи наши тяжкие», здороваясь, вставала и кланялась в пояс. «Кто это?» — спросил я Галю. «Кокинька, мамина старшая сестра». — «Она что, твоя крестная?» — «А разве меня крестили?» — «Кокинька — это крестная мать». Возможно, Галю крестили тайно от коммуниста-отца, и этой темы не принято было касаться, но Галя улизнала с кухни. Я еще полюбовался ужимками Кокиньки, надеясь, что она разговорится. Тщетно. Старушка была сосредоточена на действиях младшей сестры, собиравшей ей гостинцы в мешок. Потом я видел из окна, как она, согнувшись в три погибели, но бодро просемила по двору с чудовищной кладью на спине. Поражала несхожесть сестер. Татьяна Алексеевна — русская Венера, тетя Дуся — цыганка, рыба кость, Кокинька — мордовский выкрест. Откуда такое разнообразие в семье скромного подстоличного лавочника? Может, супруга его отличалась огненным темпераментом, оттого и завелись в семье дети разных народов? Кокиньку, скорей всего, сварганили на супружеском ложе, для Татьяны Алексеевны потрудился либо заезжий корнет с пятнистым румянцем, либо добрых кровей купчик — ветерок в голове, тетя Дуся — тяжелое осложнение от мимолетной связи с цыганом конокрадом. «Кто такая Кокинька?» — спросил я Татьяну Алексеевну. «Не знаю. Странница», — засмеялась она. Больше эта странница не забредала в дом. Она настолько не соответствовала всему здешнему обиходу, что иногда мне кажется, будто я ее выдумал...

Моя усилившаяся пристальность к окружающему ничего мне не открыла, кроме неизбежных в каждом человеческом скоплении темных пятен, вроде злосчастной судьбы младшего из братьев Звягинцевых. Библейский Вениамин семьи был вором и забудыгой, в конце концов Василий Кириллович

упрятал его в тюрьму, где он и умер. Но это ни на шаг не приблизило меня к тому единственному, что меня волновало. Татьяна Алексеевна, такая большая, яркая, открытая, как будто вся на виду, была непроницаема. О чем она думала, о чем молчала, какие сны ей снились, какая забота была главной — я ничего не знал. Человека могут приоткрыть его художественные пристрастия — в литературе, театре, кино, музыке, живописи. Татьяна Алексеевна ничего не читала: ни книг, ни журналов, ни газет, в театр и кино не ходила, в концерты и музеи — тоже. Она любила выпить и на словах — секс. Однажды она попросила достать ей Марселя Прево, хочет перечитать. Дальнейшему литературному разговору помешала тетя Дуся, с самым серьезным видом потребовавшая, чтобы я достал ей «Трагедию сикане». «Такой нет, есть стихотворение Есенина 'Шаганэ'». — «Что ты из меня дуру строишь? Неужто я Есенина не знаю? 'Трагедия сикане'». — «А что это за трагедия?» — заинтересовалась Татьяна Алексеевна. «Скорее всего, трагедия недержания мочи», — ответил я. «Ген зи цу вольке!» — вскричала тетя Дуся, и я понял, что она, по обыкновению, валяет дурака. С изящной словесностью было покончено. О своем желании перечитать Марселя Прево Татьяна Алексеевна больше не вспоминала.

С переездом в город с ней произошла какая-то перемена. Она не то чтобы омрачилась или опечалилась, а пригасла. Я часто заставал ее в пустой квартире в каком-то сосредоточенном ничегонеделании. Удивительно, как умудрялась она выкроить пустые минуты в своем плотном дне. Забот у нее был полон рот. Один инфант с его желудочными капризами чего стоил. То он ломался и выплевывал пищу, которую, скрывая бешенство, засовывала ему в рот нянька, то вдруг обнаруживал волчий аппетит, за который тут же расплачивался рвотой. Все пугались до бессильного невмешательства, предоставляя ему облеивать с садистским усердием стол, стены, пол, няньку, мать, лишь Татьяна Алексеевна умела заткнуть этот фонтан.

Одну из главных ее забот составляла реализация промтоварного лимита. В закрытом распределителе на Петровке закупались всевозможные носильные вещи, большей частью

женские, потому что они пользовались преимущественным спросом на Тишинском рынке. Мужчины-тыловики носили военное, чтобы избежать докучных вопросов: почему не на фронте? И Татьяна Алексеевна, и Галя одевались в закрытых ателье: пошивочных и обувных, родственники получали обноски, а тут закупались фундаментальные вещи для рынка.

Загрузив машину, мы ехали на Тишинку: Татьяна Алексеевна, Галя, верная Катя, ее ухажер, вскоре ставший мужем, кудрявый черноглазый Костя, я и рыжий шофер Колька. Татьяна Алексеевна осуществляла общее руководство, Колька ведал транспортом, торговые операции проводили Галя, Катя и Костя. На каждого напяливалось по две дамские шубы, через левую руку перекидывались мелкие вещи: кофты, платья, юбки, комбинации. Они шли на промысел, в кишащую глубину рынка, а я оставался в машине развлекать Татьяну Алексеевну. Тут не было фаворитизма, я предупредил Галю, что торговать не умею и не буду.

Я оказывал первую помощь Татьяне Алексеевне, у которой мерзли ноги. Я растирал ей икры и колени, тугие икры, круглые гладкие колени; у толстовского Пьера ладонь была по задку ребенка, у меня — по сладостной чаше ее колена. Татьяна Алексеевна принимала мои услуги с бесхитрым спокойствием. Но случалось, в увлечении я подымался до подвязок. «Там у меня не мерзнет!» — предупреждала она. «Это для профилактики», — неизменно отвечал я. Конечно, эти упражнения не были столь невинными — в присутствии Гали Татьяне Алексеевне приходилось стойко перемогать холод. Колька же был не в счет. Все приобщенные к дому, кроме личного шофера Звягинцева, зависели от Татьяны Алексеевны, что гарантировало ей свободу поведения. Конечно, она понимала, что мной движет не только человеколюбие, влечет ее плоть, но не видела в этом ничего греховного, лишь бы не переходило известных границ. Я был счастлив: тусклая, постная роль зятя обогащалась новыми красками.

Торговый день завершался хорошей выпивкой. Тут надо было держать ухо востро. Ладонь помнила округлость и гладкость колена, опасно доверяться тому чувству близости,

которое возникало в машине. Один неосторожный жест, и ты полетишь вверх тормашками, как сатана из рая. Выбрав удобную минуту, я спрашивал: «Ножки погреть не надо?» В ответ — взрыв смеха, в котором проглядывало признание связавшей нас маленькой тайны. Но для ликования не было повода. Если наши отношения и впредь будут развиваться в заданном темпе, нам грозит повторение грустной истории вещего Финна и Наины.

Я любил рынок, способствовавший нашему сближению, и ненавидел другой род коммерческой деятельности Татьяны Алексеевны, который отторгал ее от меня. Этому предшествовал звонок помощника Василия Кирилловича, миниатюрного ангелоподобного Мито Аминова, произносившего одно-единственное слово: «Приезжайте!» Тогда Татьяна Алексеевна, ожидавшая этого звонка и потому готовая на выход: каракулевая шуба и каракульчовая папаха, лихо заломленная на золоте волос, большая и прекрасная, как Реймский собор, — звонила приятельнице, жене знаменитого авиатора, и тоже произносила одно-единственное слово: «Выезжай!» Затем то же сокровенное слово касалось слуха жены наркома среднего машиностроения, толстой Тарасовны, и жены автомобильного наркома Бабаяна. Эти дамы, а также жены двух замов Звягинцева, главного инженера и парторга ЦК на заводе мчались расхищать «гуманитарную», как сейчас почему-то говорят, помощь американских трудящихся советским рабочим. Тогда это как-то иначе называлось, я запомнил.

До сих пор не могу взять в толк, почему американские рабочие, наши союзники в смертельной схватке, облекали свою помощь братьям по классу в такую паскудную форму. Они же не могли знать (и никогда бы этому не поверили), что их ношеное, грязное, заскорузлое тряпье проходит фильтрацию у привилегированных дам и лишь остатки попадают станочникам, сборщикам, разнорабочим. С души воротило при мысли, что эти ухоженные, разодетые, раздушенные дамы роются в слипшемся барахле, случалось — собственными глазами видел, — со следами крови, сукровицы, жира; вылинявшие от пота в проймах рубашки соседствовали с желто-муаровыми в паху джинсами, опорками на сношенных

каблуках, дамскими туфельками без подметки, куртки из кожаного заменителя на истершемся до мездры мехе, галстуки, превратившиеся в веревочку, дырявое, как дробью побитое, белье, комбинации без бретелек, сально-грязные лифчики. Никому не пришло на ум хотя бы простирнуть подарок, отправляемый соратникам через тысячи-тысячи верст. А ведь я сужу по тем сливкам, которые снимала с щедрых заморских даров Татьяна Алексеевна, что же доставалось самому гегемону? Однажды я набрался смелости и сказал ей о неэтичности этих поборов. «Я и сама так считаю, — искренне и живо откликнулась Татьяна Алексеевна. — Но противно, что Тарасовна все заберет». — «А вам не все равно? Как можете вы равнять себя с этой трупердой?» — «А ты думаешь, я лучше?» — спросила она со странной доверчивостью. Даже среди правительственных дам Тарасовна выделялась моральной и умственной свинячьестью. С ней постоянно случались какие-то дикие происшествия, особенно знаменито стало то, что вошло в историю номенклатуры под названием «Сосна Тарасовны».

Эту сломанную сосну на правительственном шоссе спилили совсем недавно. Полстолетия стояла она полуживым памятником славы Тарасовны. Она и ее муж были самыми толстыми людьми в Москве и самыми пьющими. Требовалось невероятное количество спиртного, чтобы заполнить грандиозные емкости. Их душка шофер, которого они от великого демократизма заставляли пить вместе с собой, не обладал ни таким резервуаром, ни такой стойкостью. И однажды, когда они возвращались в Москву после затяжной попойки, задремал за рулем и врезался в сосну, повергнув могучее дерево. А у Тарасовны от испуга и потрясения начались родовые схватки. Она понятия не имела о своей беременности, просто не заметила ее. Младенца на редкость удачно приняли два нетрезвых акушера, муж и шофер, после чего муж перегрыз пуповину. Самым замечательным в богатырском приключении была фраза, которой Тарасовна обычно заканчивала свой рассказ: «Понимаете, я не ожидала ребенка и очень долго думала, что он не от меня, и дулась на мужа». Тарасовна — монстр. И вот Татьяна Алексеевна

считает себя ничуть не лучше. Что-то с ней неладно. В золотом дворце завелась нежить...

Однажды я зашел в ее квартиру под вечер, в тот фиолетовый московский час, который в иные дни предшествует зажиганию уличных фонарей. Наверное, еще синих по военному времени. Странно, что я этого уже не помню. Когда сняли светомаскировку, когда вернулось обычное освещение, более того, мне никак не удастся, думая о Татьяне Алексеевне, вспомнить — шла ли еще война или кончилась, и вообще «какое, милые, у нас тысячелетье на дворе?» стояло в дни моей великой тоски по ней. Это кощунственно: помнить самый беглый жест женщины и не помнить событий трагической эпохи, вытесненной из памяти сердца этой женщиной. Война шла к концу в потоках крови, озверевшим от тщеславия мальбрукам было наплевать, какой ценой взять Берлин. А мне было наплевать на Берлин, возьмут его или нет. Все лучшие уже давно погибли, их не вернуть. Фашизм не уничтожить. Его добивали в Германии, а он заваривался насвежо в Москве.

Я понимал Марка Антония, который в разгар битвы, склонявшейся в его пользу, плюнул на победу и припустил за перетрусившей невесть с чего Клеопатрой. Томясь возле Татьяны Алексеевны, я очень ожесточился ко всему остальному миру. Что это — моральное падение или высшая жизнь в человеке, я этого и сейчас не знаю. Покинув поле боя (почему поле — пучину), Антоний уронил свой воинский имидж, но вознес бессмертную страсть, швырнув империю, славу, жизнь под ноги предательницы. Она была на редкость некрасива, сохранились монеты с ее изображением, носатая, узколобая, тонкие птичьи веки на базедовых глазах — еврейская зубная врачиха. Но он видел ее другим зрением, и она была для него прекрасна. Впрочем, и Юлию Цезарю, еще до Антония, дано было видеть Клеопатру красавицей.

Итак, я зашел в квартиру Татьяны Алексеевны в грустный фиолетовый городской час. Мне надо было позвонить. Телефон стоял на тумбочке в прихожей. Я открыл входную дверь своим ключом, но Татьяна Алексеевна удержалась от естественного жеста любопытства или тревоги. Она стояла

и разглядывала улицу в бинокль. В большой черной полевой бинокль. Я набрал номер — занято. Набрал еще раз — долго жду, никто не ответил. Я вспомнил, что уже раз застал Татьяну Алексеевну с биноклем в руках, но как-то не обратил на это внимания. Выходит, она регулярно несет дозорную службу.

Я подошел к ней. В любом подглядывании есть что-то стыдное, ведь люди, которых ты наблюдаешь, беспомощны перед тобой. Они как на ладони, со всеми своими изъянами, смешными жестами, неуклюжей походкой, растерянностью, испуганными глазами, всей человеческой жалостью. Но Татьяна Алексеевна не испытывала и тени смущения, что я застал ее за двусмысленным занятием. Сосредоточенно высматривала она печальную вечернюю улицу, женщин с кошелками, военных, стариков, детей, невестру, плохо одетую, продрогшую московскую толпу последней — если не путаю — военной осени. Мне впервые вспало, как замкнуто она живет. Ее выходы: закрытый распределитель, Тишинский рынок, заводская кладовая с «гуманитарной» помощью, пошивочная, парикмахерская, на праздники — в гости к знаменитому авиатору да еще на день рождения к Нине Петровне. По улицам она проносится на машине, не знает, что такое толкаться среди людей, стоять в очереди, разглядывать витрины, глазеть на дорожное происшествие. Семейная хроника сохранила воспоминание о единственном посещении Татьяной Алексеевной метро, когда оно было в новинку. Она так и не рискнула ступить на движущуюся ступеньку эскалатора. Однажды, задолго до войны, ей пришлось воспользоваться трамваем. Тесно, потно, вонько, но и как-то приятно от незнакомого чувства единства с попутчиками. И вдруг она почувствовала, что какой-то твердый предмет проник ей между ягодиц, вогнав туда легкую ткань юбки. Она полуобернулась, увидела опрокинутые глаза на лезвистом восточном лице и все поняла. «Если не умеете ездить на трамвае, — бросила уничтожающе, — то ходите пешком». Она думала, что восточный человек оплошал по неумению. В семье очень высоко ценилось, как «Тата осадила наглеца».

Татьяна Алексеевна жила в золотой клетке, как знаменитая любовница Виктора Гюго, прошедшая через всю его

жизнь. Ревнивый, своевольный и самолюбивый поэт запретил ей всякое общение с внешним миром, она жила затворницей, довольствуясь лишь его обществом. И она без звука, даже с радостью подчинилась тюремному уставу. Перед такой преданностью и смирением почтительно склонилась официальная жена Гюго. После смерти великого писателя во Франции возникли общества, посвященные душевному подвигу самой преданной женщины в мире. Изоляция Татьяны Алексеевны, конечно, не была столь полной и столь компенсированной ощущением своего избранничества. О последнем я едва ли могу судить, но, будь ее жизнь полной и богатой, не стала бы она так жадно всматриваться в унылое коловращение фиолетового грустного города.

Я почувствовал жалость. Она была, как всегда, нарядна, прибрана, с прекрасно уложенной головой, готовая к тому балу, который никогда не начнется. Что вынуждало ее жить так замкнуто, скованно, довольствуясь узким кругом весьма непервоклассных людей? Что-то живое, свежее приходило от наших друзей, но те песни, что зарождались в нас, ничего не говорили ее душе. Почему она должна все время хранить домашний очаг, которому не грозит погаснуть? Или Звягинцев столь же бешено ревнив, как французский романтик? Этому почему-то не верилось.

Я попросил у нее бинокль. С хмурой усмешкой она выполнила мою просьбу. Я настроил бинокль на свое зрение, и улица так стремительно приблизилась к глазам, что я отшатнулся. Это было увлекательное занятие. Ты, словно невидимка, снуешь под носом людей, вычитывая на их лицах усталость, печаль, раздражение, решимость, надежду, заглядываешь в глаза, в самые зрачки, так же подробно ты видишь одежду: оборванные пуговицы, латки, крестики штопок, видишь замерзшие пальцы в рваных перчатках, сношенную обувь и узлы на шнурках, комки туши на ресницах женщин, сизые под осыпавшейся пудрой носы, остатки помады на губах, — Боже, как невзрачен и грустен человеческий пейзаж нашего города, какие мы бедные, неухоженные, некормленные, измученные и чем-то значительные в молчаливом своем терпении.

Пока я смотрел, из переулка напротив выехал большой черный автомобиль.

— Смотрите, машина, как у Василия Кирилловича!

Она забрала у меня бинокль.

— Ладно, нагладелись... Пора внука кормить.

Дозорная вновь превратилась в озабоченную хозяйку.

Эта московская предвечерняя Татьяна Алексеевна совсем не походила на дачную. Даже одеждой. Там она все время меняла туалеты, а с ними и образ: от Боттичеллиевой Весны до супруги голландского бургомистра, от альпийской пастушки до светской львицы с официальных портретов Серова. Здесь я видел ее почти всегда в одном и том же черном костюме. Он шел ей покроем, но не траурной строгостью. Татьяна Алексеевна, вся как есть, была отрицанием будничности, обыденности, серости не окрашенного радостью дня. Мне казалось на даче, что она сознает заложенную в ней праздничность и чувствует необходимость соответствовать ей, быть яркой, звонкой, веселящей душу понурых людей, как ярмарочная карусель. В летнем сверкающем дне ее кони всегда неслись вскачь, и она мчалась во главе кавалькады, не замечая, какие жалкие всадники сопровождают ее, вцепившись в лакированные гривы. А здесь кони стали. Звень умолкла. Конечно, бывали дни, когда ударяла карусельная музыка и она опять становилась собой — роскошной, победительной, источающей золотое сияние амазонкой, да уж больно редко это случалось. И опять — темный костюм, домашние заботы и провалы в предвечернюю пустоту с тяжелым полевым биноклем в руках у балконной двери.

Ее привычка заразила меня. Я приучился смотреть на улицу из окна детской, когда инфанта под истерический рев выводили в слякотную хмарь на прогулку. Считалось, что ребенку необходим свежий воздух. Наверное, так и есть, но, в какой бы хорошей форме ни покидал он родные пенаты, домой возвращался, путаясь в насморочной слизи, которая сочилась у него из всех отверстий.

Я научился видеть законное пространство глазами Татьяны Алексеевны: чужой, недоступный, манящий мир. Но привыкший, в отличие от нее, к живому чувству улицы, я вступал в более активные общения с прохожими: заводил с

ними разговоры, обменивался новостями, выслушивал жалобы, порой довольно интимные признания, не скупился на советы и дружеские услуги — объяснить, как пройти, посадить в троллейбус, поднести тяжелую сумку. Я обнаруживал в себе качества, которые начисто отсутствовали в невоображаемой жизни: общительность, отзывчивость, находчивость, способность сказать человеку нужное слово. Возле окна, глядящего на улицу, у меня возникало ощущение какого-то партнерства с Татьяной Алексеевной, и это хорошо заполняло пустоту. Меня отделяла от нее всего лишь лестничная площадка, но одолеть это малое пространство было нелегко. Негласный запрет был наложен ею самою, не желающей делить своего одиночества. Я имел право на два телефонных звонка в день, хотя это право, вернее, ограничение на более частые визиты, никем не оговаривалось.

Однажды, рухнув сердцем, я увидел на другой стороне улицы, возле ресторана «Нарцисс», превращенного во время войны в общежитие для иностранцев-эмигрантов, Татьяну Алексеевну. Она отважилась, разорвала незримые путы и вошла в эту человеческую реку. Я видел ее так отчетливо и крупно, будто смотрел в полевой бинокль. Ее лихо заломленную каракульчовую кубанку, из-под которой лилось золото, ее рабочую суконную шубу с беличьим воротником и смешным треугольником беличьего меха, нашитым на то место, к которому я так вождедел. Меня всегда поражал этот неуместный меховой нарост — знак то ли озорства, хулиганства владелицы, то ли безвкусицы ее портнихи. Он выглядел особенно неприлично, когда она опускала в него руку, треугольник служил карманом. На ней были фетровые, отороченные мехом ботинки, доходившие до середины тугих икр и слегка подпиравшие их.

Все мучительно подавляемое желание, которое с переездом в Москву и полуотлучением от Татьяны Алексеевны я нечеловеческими усилиями загонял внутрь, взорвалось во мне. Я слышал ее благодатное дыхание, знакомый запах духов и влажного меха, чувствовал в руках объем и вес ее крупного тела, я соединялся с ней. И тут, в первый и последний раз в жизни, случилось то, от чего я уберегся в отрочестве. Одна

моя рука продолжала обнимать Татьяну Алексеевну, другая выпустила на волю перенапряженную, готовую разорваться плоть. Во мне творилась быстрая, почти бессознательная работа. Я знал, что овладею сейчас Татьяной Алексеевной, но надо было взять от наслаждения как можно больше, едва ли такой случай повторится и я снова застану ее на улице врасплох.

Легко вообразить альковную сцену, ее обнаженное тело, которое я не раз видел на реке, ее улыбку, губы, распахнутые глаза, ответные движения навстречу моей страсти, но этой фантазии не нужна та, реальная, во плоти и крови, в шубе и в папахе, в фетровых ботиках и облегающем икры шелке, что была передо мной в нестерпимой близости. И тут я вспомнил о ее героической поездке в трамвае. Неистовый восточный человек, вопреки гневно-уничужительной реплике Татьяны Алексеевны, как раз умел ездить в трамвае — вон какую находчивость проявил! — а я умею смотреть в окно.

И я повторил маневр кавказца. Я прижался к ее крупу, почти повис на нем, одной рукой ухватился за меховой треугольник, другую погрузил в теплоту подмышки. Она сделала вид, будто ничего не замечает, и устремилась к булочной. Она не оборачивалась, не пыталась стряхнуть меня, значит, понимала непреложность происходящего и с уважением относилась к насланному ею безумию. Дома мы были всегда под наблюдением, а здесь совсем одни — не считать же уличную толпу, — и она не только не противилась, но даже стала помогать мне, остановившись у дверей булочной и слегка выпятив зад. На нем я и въехал в рай. Была короткая отключка, когда же я пришел в себя, она скрылась.

Я посмотрел на мокрый пол, и мне не было противно, хотелось, чтобы пятно никогда не просыхало, как память о моей близости с любимой.

И тут я услышал на лестничной площадке голос Татьяны Алексеевны и простуженный бормоток ее внука. Тот всегда, возвращаясь с гулянья, звонил бабушке. Предстояло вечернее кормление, самое трудное, ибо производилось на свежее нездоровье, принесенное с прогулки. Татьяна Алексеевна никуда не выходила. Как могла прийти мне в голову такая

шальная мысль? Я согрешил со случайной, незнакомой женщиной. Мне стало мерзко. Близость с Галей была верностью ее матери, ибо они состояли из одного тела. И вот я оскоромился с женщиной толпы, поманившей меня бедным сходством с Татьяной Алексеевной. Мой рай был раем на помойке.

Примечательно, что след моего позора остался навсегда на паркете у окна, несмываемый, невыводимый, как кровавое пятно в замке Кентервилей, томя обитателей квартиры тайной своего происхождения...

Известно, что люди крайне невнимательны друг к другу и не наблюдательны в силу слишком большой занятости самими собой. Мы себя все время выдаем, проговариваясь в том, что больше всего хотелось бы скрыть, каждый из нас — сейф без секретного кода. И если мы не ходим морально голые друг перед другом, то лишь в силу одолевающего нас эгоцентризма, не позволяющего видеть окружающее даже на малой глубине. Каждый занят только самим собой, и при этом подавляющее большинство из нас не умеет использовать себе на пользу самопредательство окружающих. Мы придумываем людей себе на потребу, а идет это нам во вред, потому что мы убеждены в собственной проницательности и непогрешимости суждений. Но случается — очень редко, — люди угадывают то, что вы при всей беспечности тщательнейшим образом скрываете, самое, самое таимое, как ключик в Кошечевом ларце. Так бывает, когда люди испытывают к вашей личности особый, острый, до болезненности, интерес. Этот интерес может быть порожден только сильными чувствами: любовью, ревностью, жаждой мести. Бывают и другие импульсы: честолюбие, стремление к власти, я называю лишь самые распространенные. Эта ядовитая троица сосредоточилась на какое-то время в Кате. Она таки вышла замуж за кудрявого Костю и почему-то сразу решила, что ее сердце разбито, жизнь погублена, и виной тому я.

Однажды мы собрались у Кати, не помню уж по какому поводу: то ли Костя защитил кандидатскую диссертацию, то ли они запоздало отметили свое бракосочетание — нечто вроде черствой свадьбы, но истинным поводом послужила

великолепная семга, которую Катя привезла с севера, где гостила у своего дяди. А главное, Кате, ставшей замужней дамой, хотелось принять у себя Татьяну Алексеевну, чьим гостеприимством она с мужем так часто пользовалась. Известна щедрость бедных к богатым. Катя так расстаралась, что ее стол почти не уступал Валтасаровым роскошеством Звягинцевых. Конечно, все, кроме семги, было более низкого качества: не та сортность, не то масло, не та мука. Но все равно было вкусно и гастрономично. Тем не менее Катя боялась не потрафить избалованной Татьяне Алексеевне и, предлагая ей горячие аппетитные пирожки, сказала нищенским голосом:

— Конечно, это не ваши пирожки...

— Брось прибедняться, — перебил я с полным ртом. — Я лично сторонник демократического пирожка.

У Кости Кашина была замечательная способность хохотать до слез, до упаду, до колик. Именно такой приступ хохота исторгла из него моя незамысловатая острота о демократическом пирожке. Он рыдал, корчился, сморкался в большой клетчатый платок, выбегал в ванную умыться лицо. Чужой смех заразителен, мы все настроились на смешливый лад, и это принесло бурный успех еще двум или трем моим шуткам.

— Ну, ты сегодня в ударе! — восхитился вконец измочаленный Костя.

А Катя притемнилась, освеженной болью поняв, какого блистательного человека увели у нее Звягинцевы. Она мощно населила возвышенной и роковой небывальщиной пустоту наших давних и бессодержательных отношений.

Мне было приятно предстать перед Татьяной Алексеевной в таком выгодном свете, не скажу, что это часто удавалось, к сожалению, за ней и за Галей пришла машина. Им надо было в ателье и сделать какие-то покупки для дачи. За мной они заедут на обратном пути. Все пошли провожать их на улицу, я остался наедине с семгой. Первой вернулась Катя.

— Что скис? Уплыла твоя царевна?

— О чем ты?

— Не придурайся! — Ее лицо — лицо грустно-мечтательного Петрушки — передернулось злой гримасой. — Что я — слепая? А ты не робей, воробей. Пойдешь по накатанной дорожке.

Предчувствие неожиданных открытий коснулось меня.

— Наверное, я переел семги и демократического пирожка. Я что-то не понимаю твоих загадок.

— Ты не знаешь, что Татьяна Алексеевна жила с Эдиком?

— Каким еще Эдиком?

— Галиным мужем. За это его и выгнали.

— Красивый был парень, — сказал я, ошарашенный, но не угнетенный, скорее подбодренный этим открытием. — Только я не верю.

— Верь — не верь. Она была влюблена в него, как кошка. Спроси Галю. Хотя она врушка и не станет закладывать мать. Когда Эдик вышел из окружения, в Москву примчалась не жена, а теща. Разве это нормально? Конечно, Василий Кириллович вышвырнул его вон.

— Как-то не в духе Татьяны Алексеевны такая страстность и импульсивность...

— Она страстный человек. Ты ничего не понимаешь в людях, а еще писатель. Страстный, затаенный, скрытный, с огромной выдержкой.

— Хороша выдержка! Кинулась, как девчонка, на свидание с зятем. Не стеснясь ни мужа, ни дочери, ни княгини Марьи Алексеевны.

— А это страсть! — сказала Катя каким-то грозным голосом.

И я понял, зачем она завела этот разговор. Она тоже была натурой страстной, затаенной и не прощающей. Пусть она выдумала меня, выдумала все про нас, она в это верила и сейчас осуществляла свою месть. В том, что случилось в семье Звягинцевых, не было ничего ободряющего для меня. Напротив. Не может быть повторного, автоматического взрыва страсти, а Татьяна Алексеевна не переходящее красное знамя, которое вручается ее зятю вместе с рукой дочери.

— Почему же она сейчас так робеет перед Василием Кирилловичем?

— Ты уверен, что она робеет?

В тоне, каким это было произнесено, таился соблазн принять на веру многозначительную невысказанность. Но я отверг эту возможность, допустив, что Катя сейчас блефует.

— А ее образ жизни? Всегда дома, всегда одна. Не то монастырь, не то тюрьма. Такой компанейский человек!

— Слишком компанейский. Звягинцев этого и боится.

— Она всегда пила?

— До войны вовсе не пила. А потом пошло-поехало. С горя, наверное, что Эдика выгнали.

— Она же могла с ним встречаться?

— Сам же говоришь, что ее заперли. Вот и завивает горе веревочкой.

Тут вернулись провожающие, и разговор оборвался. Разговор простой и грубый, но впечатление оставил сложное. На какие-то минуты я вдруг усомнился в ослепленности Татьяны Алексеевны смазливый, но очень некачественным малым, ее зятем. Даже то, что он не поехал взглянуть на своего ребенка, говорит о полном бездушии... Стоп! Разве приказчик, погубивший Катерину Измайлову, был второй доктор Гааз? Откровенный сукин сын, преступник, отпетый негодяй. Но была молодость, стать, красота, обаятельная мужская наглость. У Эдика — имя-то какое-то футбольно-парикмахерское — все это имелось в избытке.

Татьяна Алексеевна была если не из купеческой, то из торговой среды, где привычное дело — семейный разбор с острым ножиком, удавкой, солеными рыжичками и после поминальных блинов безумные страстные ночи. Старый муж — скучающая жена — молодой приказчик — такая же привычная для купечества тройца, как французские Брибри, Мабиш и Гюстав, воспетые Достоевским.

Этот поворот мысли опять приводил меня к химерической возможности повторить путь своего предшественника. Но это почему-то не грело. Я перешел в следующий круг ада: мое чувство к Татьяне Алексеевне уже не исчерпывалось физическим влечением. Ее, дачную, в солнечном блеске, я

мог только желать, а городскую, в пустой полутемной квартире, вперившуюся черным биноклем в печаль осенней улицы, я жалел едва ли не больше, чем желал. Она проникла мне в душу. И быть просто заменщиком Эдика, заполнить собою оставленную им пустоту мне было мало.

Не стоит пытаться освободить прошлое Татьяны Алексеевны от Эдика. Он был, был этот добрый молодец с горячим конским глазом, и лишь сапог Василия Кирилловича, быстро и метко нашедший его зад, спас семью от безобразного развала. Эдик ушел из физического пространства семьи, но едва ли он ушел из пространства памяти — и любовной, и ненавистной.

Почему инфант никогда не спросит об отце? Не могли же ему внушить, что по приказу всевластного деда его, дивного мальчика, собрали на заводе из импортных частей. Но он никогда не обнаруживал интереса к второму участнику своего появления на свет. Маловероятно, что ему сказали: «Твой папа плохой, он спал с бабушкой. Забудь о нем». Но каким-то образом его заставили забыть о существовании отца. Эдика напрочь вычистили из домашнего обихода, подтверждая тем значительность его бывшего присутствия.

Но, признав наличие Эдика в жизни Татьяны Алексеевны, я выключил его из себя. Какое мне дело до заполненных ниш, мне надо населить собою одну из тех, что остались свободными.

Продолжало смущать другое: чего-то не хватало в этой истории, что лишало ее художественности. А всякое истинное жизненное событие, даже самое безобразное, художественно. Неправда, недосказанность, утаивание, незнание всех обстоятельств разрушают конструкцию, убивают то естественное искусство, каким является жизнь. Я не понимал, чего мне недостает, вроде бы получено сполна, а мне все мало, мало...

Я еще пребывал в сомнении, как распорядиться полученным от Кати подарком, когда в семье произошло великое событие, впервые на моей памяти осветившее дом радостью без конца и без края.

На состоявшемся в Кремле совещании по развитию промышленности Сталин подошел к Звягинцеву, ткнул его большим пальцем в живот и сказал:

— Ты еще жив, старый пердун?

Звягинцев растерялся и ничего не ответил, только развел руками, подтверждая тем наблюдательность вождя, одновременно извиняясь за свою столь безобразно затянувшуюся жизнь и выражая готовность немедленно пожертвовать ею для дела Ленина—Сталина. Вождь уловил всю эту сложную гамму верноподданнических переживаний и одобрительно кивнул.

Так выглядит это событие в моей интерпретации. Сам же Василий Кириллович начисто исключил игру чувств из своего рассказа; звучал неторопливый, раздумчивый голос летописца, которому важно передать объективную правду исторического события.

Татьяна Алексеевна и Галя бросились его целовать. «А внучок где?» — озаботился Василий Кириллович. «Спит, — легкомысленно отозвалась Галя. — Да разве он что поймет? Такая кроха!» — «Ступай за ним, — сказала Татьяна Алексеевна, которая была умнее дочери. — Не сообразили мы, бараньи головы!» — «Надо было соображать», — проигнорировав слова Гали, но отходчиво проворчал Василий Кириллович. Его совет относился впрямую ко мне: я уже подготовил ироническое поздравление. Мне казалось, что надо сохранить расстояние между собой и легким безумием сервилизма, охватившим окружающих. Какой же я был идиот!

Зазвонил в прихожей телефон.

— Трещат не переставая, — с наигранной досадой сказал Василий Кириллович. — Знаешь что, — он обратился ко мне, и это было знаком высокой милости, — подходи сам и решай, звать меня или нет.

Я снял трубку с развязностью фаворита и тут же поджал хвост. Звонил Каганович. Да еще не через секретаря, а собственноручно. Меня оглушил его грубый, непрокашленный голос. Я поспешно подозвал Василия Кирилловича, который воспринял звонок без особого трепета.

— Слушаю вас, Лазарь Моисеевич... Да, я его знаю по средмашу. Хороший специалист, грамотный... Полагаю, что — да! — И совсем другим, растроганным голосом: —

Большое спасибо, Лазарь Моисеевич! Поздравляет, — сказал он Татьяне Алексеевне и ушел в спальню переодеваться.

Телефон звонил не переставая. Василия Кирилловича спешили поздравить официальные лица, друзья, знакомые, полузнакомые и даже недруги. Так, позвонил нарком Малышев, его давний и непримиримый враг. Звонили партийные боссы Москвы: Попов и Черноусов, глава партийного контроля, страшный карлик Шкирятов, председатель ВЦСПС Шверник, наркомы: Устинов, Ванников, Ефремов, Акопов, начальник автоколонны Советской Армии Хрулев, маршалы Баграмян и Воронов, директора крупнейших заводов страны: Зальцман, Максарев, Дымшиц и Лоскутов. Последним позвонил из Киева Хрущев. Я называю лишь тех, ради кого я тревожил виновника торжества. А всякую шушеру: генералов, замнаркомов, директоров помельче и всех, без исключения, родственников — я решительно отшивал. Они лопотали извинения, поздравления, приветы — за свою жизнь я не слышал столько засахаренных голосов.

Вечером состоялся грандиозный прием. Василий Кириллович обряжался так долго, тщательно и шумно — он без устали что-то требовал и распекал домашних, что я ожидал увидеть его во фраке, на худой конец — в смокинге, но он вышел под аплодисменты уже собравшихся гостей в галифе, сапогах, белой рубашке с застегнутым воротничком и байковой пижамной куртке.

Гости были при параде: военные — в мундирах, со всеми регалиями, штатские — в выходных костюмах, пошитых в кремлевском ателье, при галстуке. Разодеты были в пух и прах их жены.

Я думал, полудомашний вид Василия Кирилловича покажется оскорбительным присутствующим, — ничуть. Во-первых, он был у себя дома, во-вторых, взысканный так высоко, как никому не грезилось в самых радужных снах, он просто обязан был позволить себе какую-то вольность. Это был знак его отмеченности. А галифе, начищенные сапоги и белая сорочка — дань уважения гостям. Все было по самому строгому этикету.

Когда гости расселись за роскошно сервированным столом, явилась Татьяна Алексеевна и заняла место рядом с мужем. На ней был немислимо роскошный туалет, сшитый, по-моему, за сегодняшней день силами всего ателье под неимоверную продуктово-водочную выдачу. Я не берусь судить, насколько ее вечернее платье соответствовало последней парижской моде, но шло ей необычайно и покроем, подчеркивающим все достоинства ее убедительной фигуры, и сочетанием лиловых и черных тонов. Гости дружно заплодировали. И тут раздался хриловатый голос Василия Кирилловича:

— Ну, мать, тебе бы еще перо в жопу, была бы вылитая чайка!

Послышался чей-то принужденный смешок, но даже благоговение перед любимцем вождя не принудило этих дубоватых людей к более дружному одобрению шутки. Мне подумалось, что рассчитанная грубость имела целью осадить Татьяну Алексеевну, сбить эффект ее появления. Звягинцевым двигало мелкое чувство: нежелание поделиться даже с женой хоть крохой своего успеха. Чем старше чином и званием был гость, тем холоднее принимал выходку Василия Кирилловича. Наркомы сделали вид, что ничего не слышали, а маршал Баграмян встал и поцеловал руку Татьяне Алексеевне. Она улыбалась своей прекрасной улыбкой, но я видел, что она оскорблена.

Звягинцев почувствовал настроение стола. Он сидел, поглаживая усы и отдуваясь, словно его мучили газы, и не спешил с первым обязательным тостом. Это была его месть присутствующим. Пусть мучаются страхом, что он нарушит святой закон каждого застолья и тем сделает их соучастниками крамолы. Но вот он вскинул свои желтые тигриные глаза и сказал коротко и властно, будто имел особое право на этот тост:

— За товарища Сталина!

Все радостно повскакали, брэнча орденами, как коровье стадо колокольчиками. Праздник пошел.

Застолье было сдержанным и серьезным — над нами витал дух вождя. Но после ужина все плясали, даже Василий

Кириллович, и, к моему удивлению, довольно неплохо. Оказывается, пляска входит в номенклатурный набор, как усы, сталинский френч, сапоги, умение пить водку и непреходящий первый тост. Сталин любил пляску, хотя сам не плясал. На его «мальчишниках», куда дамы не допускались, члены Политбюро плясали «русскую», гопака, а кто и лезгинку. Затем шли бальные танцы: вальс, танго, фокстрот. И грузные усатые мужчины танцевали друг с другом. А Сталин смотрел. Эти сведения я получил от друга Звягинцева генерала Хрулева. «Вы удивитесь, когда я вам скажу, кто лучший в Политбюро танцор — Молотов. Такой сухой, чопорный человек, но знает все па и великолепно держится. Особенно хорош Вячеслав Михайлович в танго и медленном фоксе».

Еще я узнал, что Хрущев пленил Сталина «казачком». Но пляски могут и погубить человека. Один из самых сильных наркомов Вахрушев, перебрав на приеме с участием иностранцев, самозабвенно расплясался и не заметил, что у него развязались тесемки от кальсон. Сталин увидел презрительные ухмылки иностранных гостей и, взбешенный, покинул прием. На другой день Вахрушев был снят, а еще через несколько дней умер от сердечного удара. Хоронили его с положенными почестями, Сталин простил мертвому наркому кальсонные тесемки.

Я смотрел на скульптурный профиль Хрулева, слушал его густой, неторопливый голос и тщетно пытался обнаружить хоть тень сочувствия к погубленному ни за что ни про что Вахрушеву. Но интонация сочувствия покойному означала бы подспудное осуждение жестокости вождя, а это исключалось. Вахрушев проштрафился и получил по заслугам.

А зачем Сталину этот танцевальный цирк? Чтобы унижить соратников, лишний раз почувствовать свое превосходство? К тому же танцующие попарно мужчины не способны на заговор. Так ли это?..

Должен признаться, поначалу я был взволнован близостью столь выдающихся людей и жадно ловил каждое слово. Впервые Татьяна Алексеевна не владела полновластно моими помыслами и умыслами. Но меня постигло жестокое

разочарование. По своему уровню эти знаменитости ничуть не превосходили Матвея Матвеевича, разве что не говорили с еврейским акцентом. Ни одной мысли. Ни одного острого слова. Ни тени духовности и душевности. Негнущиеся спины, неподвижно сидящие на деревянных шеях головы, дубовые речи. Кажется, что все они произносят заранее выученный текст. А может, так оно и есть на самом деле, чтобы не проговориться. Один Хрулев, вопреки собственному намерению, был интересен рассказом про «danse macabre». Как же натренированы они в озвученной немоте, в умении ничем не обнаружить своей личности! И я вернулся к Татьяне Алексеевне. Она очень старалась казаться веселой...

А на другое утро к нам забежала возбужденная, будто под хмельком Татьяна Алексеевна. Зная, что она не опохмеляется, к тому же накануне была трезва как стеклышко, я отнес ее эйфорию за счет еще не выветрившегося дурмана сталинской ласки. Она вызвала Гаю на кухню и долго о чем-то шушукалась с ней, смеялась, потом упорхнула, крикнув мне в приоткрытую дверь, что я могу зайти «поправиться».

Разнеженный благостной атмосферой, установившейся в доме со вчерашнего дня, и близостью со столькими великими людьми, к тому же не перепивший накануне, я долго валялся в постели, не спеша к обещанной рюмочке.

Но после обеда барометр резко упал. Хлопали двери, это металась из квартиры в квартиру Татьяна Алексеевна. Она опять шушукалась с Галей, но тональность их секретничания стала явно другой. Последний их — бредоватый — разговор произошел под дверью, я слышал его от слова до слова.

— Ты васюся! — сердито и горько говорила Татьяна Алексеевна. — Дурочка наивная. Конечно, я была права!

— Я не верю, — потерянными голосом отозвалась Галя.

— Верь — не верь. Он опять принял ванну.

— Пьянку смыть.

— А чистые подштанники? — зловеще сказала Татьяна Алексеевна. — Он их вчера менял.

— Ты уверена? Он действительно надел чистые?

— При мне вынул из шкафа. Я сказала: так подштанников не напасешься.

— А он?

— «Не твое дело!» Зло, раздраженно. Рубашку тоже взял и носки.

— Тогда все, — поникше сказала Галя. — Я круглая дура. А что же было ночью?

Ответа не последовало, хлопнула входная дверь.

— Что у вас происходит? — спросил я Галю, когда та вошла в комнату.

— А ты до сих пор не понял?

— Что я должен был понять?

— Еще писатель! Где ж твоя наблюдательность?

От кого я слышал эти слова и вроде по тому же поводу? Ну да, от Кати, когда та решила просветить меня насчет тайн дома Звягинцевых. Раньше мне казалось, что я могу стать писателем. Но с этими иллюзиями покончено. Я не пишу и не хочу писать, вид чистого белого листа бумаги вызывает у меня тошноту. Впрочем, это никому неинтересно, в первую очередь мне самому. Я хочу знать, что тут происходит.

— Может, ты ответишь на мой вопрос?

— У него другая баба, — сказала Галя. — Неужели тебе никто не говорил?

— Нет.

— Она работает в Моссовете. Сектором заведует или отделом, забыла. Звать Макрина. Отец познакомился с ней перед самой войной. Некрасивая, коренастая, довольно толстая, старше матери, вроде бы толковая. Что в ней нашел отец, не знаю. До ее деловых качеств ему дела нет, а так матери в подметки не годится. Да ведь не по-хорошему мил, а по-милу хорош. Она напротив в переулке живет, в совнаркомовском доме, отец ей квартиру устроил.

Так вот чего высматривала Татьяна Алексеевна в полевой бинокль! И в усугубление своих мук она проглядывала или радиатор или багажник мужниной машины, в зависимости от того, откуда он наезжал к своей пассии — с улицы Горького или с Пушкинской. Значит, она всегда знала, сколько времени он проводит у любовницы. Будучи сведома о темпераменте своего мужа, Татьяна Алексеевна могла высчитать, сколько раз накаляла Макрина свой далеко не

румяный и не расписной рай для Василия Кирилловича. Совместные трапезы там бывали редки, ведь он отпраплялся к ней обычно после обеда или после ужина. Конечно, были так называемые задержки на работе, аварии, ночные вызовы, совещания в наркомате и Московском комитете партии, вероятно, на эти часы приходилась их другая, более разнообразная жизнь.

И тут мне вспомнился наш недавний семейный поход в Большой театр на «Евгения Онегина» с Лемешевым. Провожая нас в правительственную ложу, директор театра сказал игриво: «Что-то зачастили вы в наш театр, Василий Кириллович!» Звягинцев не ответил, только залился гипертонической краснотой. А директор, гонимый бесом бестактности и не удосуживаясь взглянуть повнимательнее на старшую спутницу Звягинцева, продолжал: «Это кто же из вас такой меломан, вы или супруга?» — «Оба!» — гаркнул Василий Кириллович, ненавидяще сверкнув глазами. Директор опешил, прозрел и дематериализовался.

А я не придавал этой сцене никакого значения, пропустил мимо себя. Теперь я понял, что у Василия Кирилловича и Макриной была культурная программа. Видимо, в этой второй своей жизни Василий Кириллович был другим, открытым «для звуков сладких и молитв». На долю же Татьяны Алексеевны приходились лишь «житейское волнение» и «корысть».

Гале хотелось выговориться, она тоже страдала в меру опущенных ей для страдания сил (она была легким и поверхностным человеком, очень отзывчивым на мелкие радости жизни и неплохо защищенным от таких чувств, как жалость, сострадание), но она любила мать и переживала за нее.

— Они замечательно жили до этой Макрюхи. И когда та появилась, мать не очень встревожилась. У нее тоже бывали летучие романы, пусть и отец погуляет. Нужна же разрядка. Но тут все пошло по-другому. Мы только устроились в эвакуации, как узнали, что отец женился.

— Что ты мелешь? Он же не разведен с Татьяной Алексеевной.

— Я не так выразилась. Жениться официально он, конечно, не мог, но сыграл свадьбу. Да еще какую! Все его друзья были. Ты многих из них видел.

— Как он не побоялся?

— Чего?

— Скандала.

— Как видишь, не побоялся. Она его крепко забрала.

— А Сталин? Он же ангел-хранитель семейного очага.

— Знаешь, — сказала она задумчиво, — что-то случилось с мужиками во время войны. Они как с цепи сорвались. Завели официальных любовниц или вторые семьи. Но со старыми не рвали. Может, им разрешили за все их труды?

Это было неглупо. Люди, подобные Звягинцеву, работали в разрыв всех жил. Создать могучую военную промышленность «во глубине сибирских руд» за два-три месяца — геркулесов подвиг. И что имели они за свой сумасшедший труд? Зарплату. Побрякушки орденов. Сталин мудро — без затрат — сумел отблагодарить их послаблением домостроевского устава.

Но больше, чем открытие, еще одного уродства строя, меня затронуло другое. Теперь я мог придать рассказу Кати художественную завершенность, служащую единственной гарантией правды. Татьяна Алексеевна кинулась из Кемерова в Москву не для свидания с зятем, а узнав о свадьбе своего мужа, — не в любовь, а в бой. Как будто счастье можно взять с бою.

А там, вполне вероятно, она могла в отместку, в ярости, отчаянии, душащей злобе переспать с этим мальчишкой — сознательно, в открытую. Любовь была бы осмотрительней, бережней к самой себе. Тут все творилось с безрассудством мести. Звягинцев стер плевков, Галя осталась без мужа, Татьяна Алексеевна без мужа и любовника. Эдик же попал, как кур в ошип. Его заставили сыграть роль, на которую он не претендовал. А может, и претендовал, слишком вманчива аура Татьяны Алексеевны. Вот только на мужа уже не действовала ее притягательность.

Когда я пришел за обещанной рюмкой, Татьяна Алексеевна сидела у окна и с маниакальным видом разглядывала

устье проклятого переулка и черный зад «паккарда». Я что-то сказал, она не ответила. Это было не в ее правилах. Она всегда была в сборе, не позволяя заглядывать в себя.

Когда-то я познакомил Татьяну Алексеевну с игрой, которую сам придумал, чтобы легче коротать ожидание. Я звоню в редакцию. Естественно, сотрудник, который мне нужен, только что вышел. Прошу секретаршу не вешать трубку, а найти мне этого сотрудника, я подожду. Обязательно надо сказать, что это я ему нужен, а не наоборот, он телефон оборвал, дозваниваясь ко мне. Секретарша выясняет, что он в буфете. «Попробую его привести». И тут я начинаю рисовать ее путешествие от редакционной комнаты до буфета. Со всеми возможными задержками, пустыми разговорами, обменом новостями, заходом в уборную, застреванием в лифте и всеми прочими перипетиями неуклюжей учрежденческой жизни. Незаметно промелькивают полчаса, и нужный мне сотрудник берет трубку.

Но едва ли так быстро промелькнули для Татьяны Алексеевны те часы, что она провела у окна, когда Василий Кириллович в чистых подштанниках укатил к сопернице. Вот уже сколько времени стоит машина у ненавистного крыльца и не бьет копытом от нетерпения. Там, видно, второй и, возможно, главный прием. Большой обед. Не исключено, что кто-то из вчерашних гостей преспокойно гуляет в другом шатре. И тут Василий Кириллович уж не сидит в байковой пижамной куртке, а держит фасон. И он не осмелится сделать Макрюхе комплимент с пером в жопе (чайки из нее не выйдет, хоть весь хвост загони), он бросил эту хамскую фразу, чтобы показать Татьяне Алексеевне ее место, пусть не корчит из себя старшую жену. Он защитил этим Макрюху, о чем, понятно, ей поспешат донести. И будут пить за Сталина, за Василия Кирилловича, а там и за Макрюху. Интересно, она сама мечется от стола на кухню, или у нее есть домашняя работница? Наверное, ей кто-то помогает, ей не до хозяйства, больно «вумственная» женщина.

Но вот они встали из-за стола. А ведь там, наверное, не пляшут. Что же они делают? Разговоры разговаривают. О чем? О предстоящем летнем отдыхе. Теперь она не сомне-

вается, что он ездит не в сердечные санатории, а куда-то, где его принимают с Макрюхой. Как в Большом театре. А когда-то они тоже ходили в Большой, но не в правительственную ложу, с программкой и перламутровым маленьким биноклем, а по-молодому бесшабашно, дерзко, евреев выкуривали, от хохота со стульев валились. Нет, была у них молодость, была любовь, куда же все это подевалось? Чем перешибла ее некрасивая, немолодая, неуклюжая чиновница? Вот уж присуха!.. Интересно, а гости там тоже с запасными женами? Только поди разберись, кто основная, кто запасная. Все равно, его дом здесь, где вся семья, с дочерью, любимым внуком, и мать его здесь, и все братья-сестры. Да, дом здесь, а сам он там, и Макрюху люди видят с ним гораздо чаще, чем ее, а новенькие небось и вовсе не знают, что есть на свете Татьяна Алексеевна.

Это было странное сумеречие. Татьяна Алексеевна смотрела в бинокль, потом опускала уставшие руки, чтобы через минуту снова припасть к его стеклам. А видеть она могла лишь черный зад «паккарда». Но, может быть, она видела куда больше, проникала сквозь стены, видела то, что я придумывал за нее?

Татьяна Алексеевна встала, повернулась и обнаружила меня.

— Ты чего тут делаешь?

— Жду обещанную рюмку.

— Кто о чем, а вшивый о бане... Почему света нет?

Я щелкнул выключателем. На Татьяне Алексеевне было вчерашнее лиловое платье, и причесана она была по-вчерашнему, и та же безукоризненная косметика, только лицо бледнее обыкновенного. Она подошла к буфету, достала графинчик, большую рюмку, собрала на тарелку закуски.

— А вы?

— Не хочется. Пей.

Я налил всклень.

— За вас!

Выпил и налил еще.

— За вас! Прекраснее вас нет женщины!

— Как видишь, не для всех.

— Да плюньте! Как можете вы равнять себя со всякой шушерой? Вы — снежная вершина, а это болото. Топкое, стоячее, вонючее болото.

Я хлопнул рюмку и сразу налил еще.

— Чего ты так гонишь? Налей мне.

Боже мой, жалкое, глупое, но искреннее витийство возымело действие. Она слушала, и ей это, оказывается, нужно. Звягинцев лишил ее не только своей любви, но и уверенности в себе. Она привыкла быть царицей, трон никогда не колебался под ее ногами, и вдруг без всякой вины с ее стороны, даже вины невольной — постарения, угасания, подурнения, ни с того ни с сего, — он сверг ее с престола, обменяв на рыночный товар. Она потерялась и теперь вовсе не знала, кто она такая и чего стоит.

Мы выпили. Продолжая нести свою высокопарную чушь, я подошел и поцеловал ее в голову. Она стерпела. Я поцеловал ее в висок, щеку и шею. В ее глазах появилось чуть комическое внимание. В губы нельзя — приказал я себе и стал целовать ей руки. Она наклонилась и тоже поцеловала меня, как клюнула, краешком рта.

— Ну, ступай. Галька одна...

И в этой изгоняющей меня фразе был намек на маленький заговор, отныне связавший нас. Я не склонен был преувеличивать свой успех, но кое-что было достигнуто. Я отделился от серого фона окружающих Татьяну Алексеевну будней.

В семейной драме Звягинцевых оставалось для меня одно темное пятнышко. Но теперь Галя не будет скрытничать. Я знал уже так много, что бессмысленно чего-то не договаривать. Татьяна Алексеевна была счастлива сегодня утром и делилась своим счастьем с дочерью, а потом все рухнуло. У меня была догадка, и Галя подтвердила ее. Бедная Татьяна Алексеевна решила воспользоваться растроганностью мужа. Между ними не было близости с того дня, как они уехали в эвакуацию. Он не хотел. Но этой ночью, размягчившийся в атмосфере всеобщей ласки, Василий Кириллович не отверг нежных домогательств жены. У них произошло бурное соединение.

Татьяна Алексеевна в эротических описаниях придерживалась даже не физиологического стиля Генри Миллера, а

бухгалтерской скрупулезности маркиза де Сада, где арифметика начисто вытесняет поэзию. Галя, усвоившая методу матери, рассказала мне о ночи любви, будто речь шла не о ее родителях, а о персонажах романа «Содом и Гоморра».

После ночи, напомнившей золотую пору жизни, Татьяна Алексеевна решила, что вернула мужа. Она ошибалась. Чувствуя вину перед другой женщиной, он оформил свою передислокацию особенно грубо и откровенно.

Но она была уже не та, что несколько лет назад, когда в мстительном порыве кинулась в объятия Эдика, да и мне до Эдика далеко, все свелось к одному короткому поцелую.

Но душа ее сорвалась с колков. Она стала иначе жить. Теперь она часто отлучалась из дома и нас с Галей с собой не брала. Правда, ходила она всего лишь к старой подруге Нине Петровне, иногда к жене знаменитого авиатора на «девичник», но возвращалась крепко на взводе. И не только не пыталась скрыть опьянение, держать форму, что отличало ее прежде, напротив, огравировала свое состояние: хохотала без причины, молала чушь, натыкалась на мебель, повторяла чьи-то непристойности, много внимания уделялось гениталиям.

Побывала она наконец-то в гостях у моих родителей, где вела себя более чем странно. Ей непривычен был такой способ развлекаться. Пили много, но было и другое: разговоры, серьезные споры, стихи, розыгрыши. Брат отчасти замечательно изображал старого селадона, который вспоминает золотые денечки. «По первопутку в бардачок. Господи, до чего хороша была жизнь! — шепелявил беззубый старый гуляка. — Как войду, как крикну: 'Бляди!', набегут, навалятся всей своей жаркой мякотью. По головкам гляжу, по юбочкам гляжу, в глазки гляжу. Господи, до чего хороша была жизнь!»

Татьяна Алексеевна краснела. Ее нельзя было смутить никакой житейской похабщиной, но искусство свято, оно должно быть красиво и поэтично, а тут бляди виснут на старом хрене. Теперь она понимала, что такое богема и почему Звягинцев со скрытым неодобрением относился ко всему, что шло от меня. От «поэтической масандры» не жди

добра. Ей чудилась особая испорченность в окружающих людях, так непохожих на ее простодушных друзей. Но когда Галя, у которой был ранний утренний концерт, заторопилась домой, Татьяна Алексеевна осталась. Она явно хотела, чтобы этот омут ее затянул.

Она сидела рядом с моим пепельноволоксым приятелем Лешей и откровенно заигрывала с ним. Меня это не огорчало. Откуда бы ни началось таяние, важно, чтобы лед растопило. А потом меня отозвала мама, очень решительная, как всегда, когда вино стучалось ей в сердце: «Я сейчас дам в морду Лешке или выгоню твою тещу». — «За что?» — «Она все время держит руку у него в штанах. Ей что тут — бардак?» — «Она опьянела. Я приведу ее в чувство».

Хватит благодущия. Лешка опасен. Второй раз становится он мне на пути. С этим надо кончать. Свою роль пробника он уже выполнил. Я вызвал Лешку в коридор, сказал, что из-за его поведения назревает скандал, и выпроводил. Затем я предложил Татьяне Алексеевне посмотреть мой кабинет. Она неловко выпростала из-за стола свое крупное тело — квартира была крошечная, тесная, соответствующая нашему убогому жизненному статусу, — по ногам, телам и головам пирующих выбралась в коридор, заполнив его во всю ширину, вернее сказать, ужину. Я открыл дверь кабинета и втолкнул туда Татьяну Алексеевну, которая с размаху опустилась на диван, охнувший всеми своими старыми пружинами. Опасно испытывая его на прочность, я навалился на нее и стал целовать.

Возможно, ей показалось в пьяном дурмане, что продолжается так счастливо начавшийся роман с Лешей, но она не удивилась и не воспротивилась, закрыла глаза и прижала меня к себе. Тогда я помог ее руке совершить тот же путь, что она так удачно проделала за столом, только к другим закрамам, ощутил божественную прохладу и нестерпимый жар, сошел с ума и лишь поэтому не достиг гавани. Но полнота обладания другой женщиной не давала мне такого изнемогающего, изнеживающего безумия. Вот когда ожидание не обмануло, а превзошло все горячечные мечты. Стены моей жалкой комнаты раздвинулись, унеслись прочь, вокруг

было бесконечное синее блестящее пространство, и я качался на этом воздушном океане.

Не знаю, через час, через день, через вечность, в легкой усталости, в надежности, которую дает привычка, я понял, что ее движения — это не лениво-пьяное угождение чужому настырному домоганию, а соучастие. У нас возникло то дружеское согласие, которое бывает при пилке дров. Жаль лишь, что бревна мы так и не перепилили. Слишком сильное, долгое, ставшее маниакальным желание становится и тормозом. Оно не хочет, чтобы его, пусть на малое время, изгнали. Оно словно страшится пустоты, которая неизбежно наступит за удовлетворением, пустота эта нередко оборачивается отчуждением, даже отвращением, только что не ненавистью, конечно, до нового наполнения. Желание, тешась собой, забывает, что оно лишь отправная точка к станции блаженства, его обещание. Словом, я зря надеялся, что повторится заоконное чудо, когда лишь силой воображения я овладел Татьяной Алексеевной, находившейся по другую сторону улицы. Как ни странно, тогда на меня работала абстрактность акта, а здесь участвовала реальная плоть, и это мешало.

То ли мы просто выдохлись, то ли сработало ощущение опасности, но, не сговариваясь, мы отпали друг от друга.

Я вышел в коридор и наткнулся на мать.

— Ну, я все уладил. Она пришла в себя.

— Если ты будешь и дальше так улаживать, — сухо сказала мать, — это добром не кончится. Шофер уже три раза стучался.

— А где гости?

— Все давно разошлись.

Нам дали возможность уйти незаметно. Татьяна Алексеевна, человек воспитанный, старых правил, хотела обязательно попрощаться с моими родителями и поблагодарить их за прекрасный вечер. Я уверил ее, что они давно спят.

— Неужели так поздно? — удивилась она и добавила заговорщицки: — Как время бежит!

Доехали мы домой без приключений, хотя я чувствовал, что в ней бьется авантюрная жилка. Я держал ее за руку, скорее, придерживал. Уже в лифте она сказала с глубокой

интонацией, каким-то смуглым голосом, что ей очень пришелся мой предмет. Очень! — добавила она, и серо-голубые глаза ее стали фиолетовыми...

Вскоре я убедился, что Татьяна Алексеевна принадлежит к разряду чаплиновских миллионеров, которые спьяну ласкают бродяжку, протрезвившись, не узнают. Конечно, какие-то запреты были сняты раз и навсегда, но это входило в картину ее новой жизни, в бессильный бунт.

Я валяюсь с книгой на тахте в чужих пижамных штанах, то ли оставшихся от Галиного мужа, то ли выброшенных Василием Кирилловичем. Галя принимает душ. Неожиданно дверь распахивается, чуть не сорвавшись с петель, в комнату — шапка набекрень, шуба вразлет, почти спадает с плеч, вваливается Татьяна Алексеевна.

— Вы что тут киснете?

Она падает на тахту, сползает на пол и наносит мне два страстных поцелуя в пах, оставляя на светлой ткани двойной ярко-красный отпечаток своих накрашенных губ. Такого еще не бывало. Может, от штанов идет ток прошлого владельца? Я не успеваю получить ответ, входит, отжимая волосы, Галя. Я делаю оскорбленное лицо. Галя не обращает на меня внимания, берет мать за плечи, поднимает и уводит.

— Ты видишь? — говорю я вернувшейся Гале с наигранным возмущением.

— Я отстираю, — спокойно говорит Галя.

— Тебе не кажется, что это переходит все границы?

— Ну, ты же знаешь мать выпившую...

Моя жена — загадка. Впечатление такое, что все происходящее в доме ничуть ее не касается. Хотя раз-другой я чувствовал, что она жалеет мать. Но ни разу не слышал, чтобы она осуждала отца. Все происходящее она воспринимала как данность и безропотно принимала.

Конечно, в глубине души я ликовал, хотя не успел оценить неожиданный подарок.

Но еще шаг вперед был сделан. Теперь мы часто обнимаемся, хотя и не так безоглядно. Она позволяет мне обнажать ее груди и целовать их. При этом смотрит сверху

вниз уже знакомым чуть комическим взглядом. И взгляд этот ставит меня на место. Душевно она не дает мне приблизиться, вспышки интимности не распространяются на остальную жизнь. Так, она с особой настойчивостью напоминала мне о неуплате очередного взноса в семейный бюджет. Я и раньше частенько опаздывал, мне трудно и плохо работалось — а кто виноват в моей профессиональной деградации? — но прежде она была снисходительна и терпелива, сейчас — раздраженно требовательна.

Недавно, когда я находился в короткой командировке, ко мне в дом явилась Галя и забрала — по распоряжению матери — пишущую машинку «мерседес», которую они же сами дали мне для работы. Я был так неимущ, что не мог ни купить себе машинку, ни взять напрокат. В пору долгого недомогания отчима я пользовался его стареньким «ундервудом», у которого лопнула пружина и тяга каретки осуществлялась с помощью привязанного к ней веревкой кирпича. Теперь отчим вернулся к работе и забрал машинку вместе с кирпичом. В доме Звягинцевых никто на машинке не печатал, и «мерседес» годы пылился в залавке. Мне дали с условием, что я не буду трещать над головой инфанта. Теперь я каждый день таскался на свою старую квартиру и стучал на «мерседесе» в кабинете с мышиную норку, хранящем медленно истаявающий аромат Татьяны Алексеевны. Отобранную у меня машинку тут же продали. Подобного рода алчность обеспеченных сверх головы людей была необъяснима, и я тщетно пытался найти в поступке женщины, чьи груди целовал, какой-то символический смысл. Возможно, он действительно был, но я его не улавливал. Мне было наплевать, что я лишился орудия производства, ошеломил жест немилости. Да нет, никакой немилости не было.

Через день-другой после моего возвращения из командировки я говорил по телефону в прихожей Звягинцевых, когда из ванны, совершенно нагая, вышла Татьяна Алексеевна, слегка прикрываясь махровым полотенцем. Моим собеседником был ответственный редактор «Труда», и я не мог бросить трубку, только попросил ее отчаянным жестом и умоляющим взглядом убрать полотенце. Она засмеялась и выполнила просьбу. Золотистое

чудо впервые открылось мне в такой немислимой близости. Наконец-то разрешилось старое недоразумение, ее венерин холм покрывала негустая, но вполне достаточная курчавая растительность. Золотой пушок сгущался в рыжину на бородке, обретая при движении благородный тон старинной бронзы. Моя радость передалась ей, никогда еще не было у нее такого милого, такого доверчивого, такого девичьего лица. И тут полотенце скользнуло вниз, словно занавес опустился невпопад.

— Полотенце! — взмолился я. — Уберите!..

— Вас не понял, — ледяным голосом сказала трубка.

Омельченко заказывал мне к завтрашнему дню отклик на последнее гениальное изречение товарища Сталина, полотенце к этому не имело никакого отношения.

— Почему не отвечаете? О чем думаете?

Я думал о лобке Татьяны Алексеевны, радуясь тому, что он так мило приютил золотую рощу.

— Я думаю о вашем поручении, — сказал я без особой теплоты.

Татьяна Алексеевна уже проскользнула в спальню, и момент для углубления радости был упущен из-за двух идиотов: Сталина и Омельченко.

— Будет сделано.

Я едва положил трубку, как входная дверь заскрипела своими мощными запорами и ввалился Звягинцев.

— Где все? — спросил он, кинув на меня подозрительный взгляд.

— Галя в студии, наследник с нянькой гуляют, Татьяну Алексеевну не видел.

— А ты тут чего делаешь?

— Говорил по телефону с Омельченко.

— Хреновую газету выпускаете. Я утром жопу занозил.

— Жалко, что вы ее использовали. Там выступление товарища Сталина, о котором я должен написать.

Подтираться текстом товарища Сталина, да еще, может, с его портретом — это ни в какие ворота не лезет. Звягинцев гипертонически зарозовел и скрылся в спальне. Когда-нибудь неосмотрительное хамство доведет его до инсульта. Он прошел туда, где вытиралась обнаженная Татьяна

Алексеевна, но ему не было до нее дела. Я чуть было не шагнул следом за ним. Меня остановила вдруг вспыхнувшая в мозгу цитата из товарища Сталина, которую мне только что на умиленном задыхе выдал по телефону Омельченко: «Гитлер и его свора — жалкие донкихоты». Вот дубина! Самый трогательный, самый нежный, самый щемящий образ в литературе — Рыцарь Печального Образа, Алонсо добрый, и его уподобляют гитлеровским выродкам! Он что, не читал романа Сервантеса или ни черта в нем не понял, недоучившийся поп? Из-за его маразма упустил я Татьяну Алексеевну. Впрочем, если б я ее не упустил, Звягинцев застал бы нас в позе еще более нежной, чем та, что погубила Франческу и Паоло...

Наконец-то состоялось запоздалое замужество Люды, но не с вечным ее женихом, директором шинного завода, а с ничем не примечательным сослуживцем, инженером Бочковым. И была свадьба. И так получилось, что с этой свадьбы переломились мои отношения с Татьяной Алексеевной.

Свадьба как-то сразу не заладилась. Трудно даже сказать, отчего пошло ощущение неблагостности. Инженер Бочков был немолод, с изрытым то ли юношескими прыщами, то ли кожной болезнью лицом, он легко переходил от насупленно-молчаливой застенчивости к горластой развязности, что выдавало алкаша (так оно и оказалось). Он не нравился никому из Звягинцевых, включая невесту. Было странно и непонятно, почему Люде, такой свежей, миловидной, женственной, пришлось согласиться на столь трухлявую опору. В родне говорили, что ей охота ребенка, а поезд ее ушел. Почему ушел? В ней чувствовалось смирение перед незадавшейся жизнью, возможно, это отпугивало соискателей? Но не отпугивало давно и якобы тайно влюбленного в нее Артюхина. Когда Люда уже совсем сговорила с Бочковым, Пашка сделал ей предложение. Противный, вздорный, неумный, он по-мужски был на десять голов выше Бочкова. Но тут свое веское слово сказала бабушка, Людина мать: слишком близкое родство, дети плохие будут. Люда безро-

потно подчинилась. Все Звягинцевы, как бы искупая своеволие Василия Кирилловича, носили вериги унылого смирения. Неблагополучие шло и от Артюхина, который явился на слезе, но корчил из себя лихого малого и был треплив даже более обычного. Бочков, видимо, знал или догадывался о непростом отношении Артюхина к Люде, он бросал на бывшего соперника злые взгляды и бегал на кухню подзарядиться. Странная свадьба — ни одного счастливого лица.

Василий Кириллович произнес короткий угрюмый тост — наставление Бочкову, чтобы помнил, в какую семью вступил, и ценил оказанное доверие. Как будто Бочков вступил не в брак, а в орден меченосцев. Впрочем, и мне тоже был выдан сходный наказ с той лишь разницей, что один на один, а тут прилюдно, что пришлось не по вкусу скромному, но ершистому инженеру. Перечить знатному родичу он не отважился, а вспышку негодования загасил фужером водки. Бабушка шепнула ему на ухо: мол, ты свадьбу празднуешь, а не с дружками-доходягами в подвале давишь. За шумом не было слышно, но по лапидарности ответа и пятнистой красноте, покрывшей лицо Бочкова — следы былых прыщей не принимали румянца, — стало ясно, что он послал куда подальше новую маму.

Переживая отверженность, Артюхин неимоверно выставлялся, привлекая к себе повышенное внимание, он хотел показать, как промахнулась Люда, предпочтя такому блестящему человеку рябого алкаша. В конце концов он надоел Василию Кирилловичу, и тот его осадил с обычной грубостью. Но страждущий Артюхин закусил удила. Было ясно сказано: заткнись, покуда цел, а он сделал вид, будто ему предлагают дискуссию.

— Нет, Василий, ты не прав, — начал он, призывая окружающих полюбоваться тем словесным фейерверком, каким он ослепит грозного оппонента.

Дискуссии не получилось, как не получилось ее у Ивана Грозного с Матяшей Башкиным. Иван Васильевич хотел сразить соперника в духе риториков с Бычьего двора (Оксфорда), но самодержавный гнев захлестнул неистового государя — пеной бешенства из державных уст изверглась непотребная брань, и перепуганный Матяша съехал с ума.

— Ах ты хавно сраное! — от избытка ненависти и презрения Василий Кириллович употребил украинское «х» вместо звонкого «г», что не было присуще его московскому выговору. — Ты что орешь? Тебе тут свадьба, а не бардак!

Артюхин схватился за голову.

— Ну, что ты, дядя Вася? За что?.. За что?.. Дядя Вася?..

— Заткнись! Не понимаешь ни хрена, так молчи!..

Артюхин был покрепче противника Грозного, он не спятил, хотя временно головой повредился. Он крепко сжал ее двумя руками, словно боялся, что она расколется. Артюхин мне никогда не нравился, но сейчас было искренне жаль его. За какие провинности осрамили его перед всей родней, осталось для меня тайной. Может быть, он принял на себя заряд, предназначавшийся новобрачному? Конечно, никто не пикнул ему в защиту, и на долгое время он стал для присутствующих невидимкой. Только Люда, которая на правах невесты могла позволить себе большую независимость, подошла к нему и полюбила за плечи.

— Закусывай, Пашуня. Дай я тебе селедочки положу.

Он глянул на нее покрасневшими глазами и прижался щекой к ее руке. Этот вполне невинный жест признательности не понравился ревнивцу Бочкову. Он хлопнул рюмку и грозно уставился на Артюхина. Но тому было так плохо, что он даже не заметил вызова.

Василий Кириллович отдувался и клацал вставной челюстью. Все остальные, съездившись и почти перестав быть, уставились в тарелки.

Впрочем, на одном конце стола жизнь продолжалась. На ярмарке бывают приливы и отливы, то она бурно вскипает движением, многолюдством, шумом, то притухает, пустеет и, кажется, вовсе замрет. Но карусель, нарядная, веселая, звонкая, знай себе крутится, ей дела нет до ярмарочных страстей, скачут по кругу веселые лошадки, неся на своих гладких спинах больших и малых. И тут, наособь, большая, расписная, золотая и розовая, ко всем благожелательная и ко всем равнодушная, накаляла свой отдельный праздник Татьяна Алексеевна.

Она пила рюмку за рюмкой, ничуть не пьянея, только расцветая все пышней: глаза горят, рот цветет, от волос —

нимбом — золотое сияние. Какие мы все замухрышки рядом с ней! Даже такой приметный человек, как Звягинцев, в непонятном своем раздражении скукожился, будто из него выпустили воздух; лицо злое, выострившееся, не тигриное, а шакалье.

Вдруг Галя, глянув на ручные часы, охнула и выметнулась из-за стола. Уже в дверях крикнула:

— Еще раз поздравляю, Людушка! У меня выездной концерт!

Был ли у нее в самом деле концерт, о котором она почему-то помалкивала, или ей стало невмоготу за недобрым столом, или были какие-то иные мотивы — не знаю, она исчезла раньше, чем кто-либо попытался ее удержать.

Вскоре тяжело поднялся Василий Кириллович.

— На завод надо. План горит.

План горел каждый квартал. И каждый раз буквально в самый последний момент случалось хорошо отрепетированное чудо: план с волшебной легкостью и быстротой перевыполнялся. Почему за один день удавалось сделать то, что не получалось весь месяц? Суть нехитрого чуда заключалась в выполнении плана по валовой продукции. Вместо мотоциклеток, танкеток, инвалидных колясок и прочей серьезной продукции нарезалось нужное количество болтов и гаек. И снова завод, носящий славное имя, оказывался во главе передовых предприятий. Ему вручалось переходящее красное знамя, которое, кстати, никогда никуда не переходило. Тайны тут не было никакой: от последнего разнорабочего до Сталина все знали, как выполняется план. Кого тогда пытались обмануть? Врагов — империалистов. Пусть поохают над индустриальными возможностями социализма.

Но до конца квартала было еще далеко. Завод неторопливо тачал мотоциклетки. О шурупно-гаечном аврале рано было думать. Ему не нужно было на завод. Он хотел принести в жертву родственным чувствам субботний вечер, но это оказалось невмоготу. Вот он и злился. Бедный Пашка Артюхин пал жертвой его тоски по Макрине.

Конечно, уловка с заводом никого не ввела в заблуждение, тут собрались опытные производственники, знающие, что

почем. Его уход жестоко унизил Татьяну Алексеевну перед всей родней, но, видимо, магнит был столь притягателен, что соображения приличия, жалости к близкому человеку ничего не стоили. Татьяна Алексеевна не дрогнула, явив спартанское самообладание.

Звягинцев ушел, но веселье так и не возгорелось. Собравшиеся ощущали этот праздник как тризну, как поминки по Людиным мечтам. Правда, пить стали энергичней и смелей закусывать. На Татьяну Алексеевну бросали исподтишка сочувственно-недобрые взгляды. Ночная смена, на которую отправился Василий Кириллович, окончательно все рассекретила. Макрюху ненавидели, видя в ней угрозу семейному благополучию. Утонченная интеллигентка из Моссовета и знать не захочет с простоватой родней. И уж наверняка не поделится ничем из своего богатства, ее сын от первого брака скоро из армии придет, его обустроить надо. Родня злилась на Татьяну Алексеевну, что та не сумела удержать мужа при себе, позволила ему зайти так далеко в незаконной связи и до сих пор не написала куда следует. Они всегда завидовали Татьяне Алексеевне, но сейчас злые чувства померкли в страхе за свое будущее. Татьяна Алексеевна была все же своя, не кичилась, не заносилась, принимала, угощала, оказывала всякую помощь, и никому не хотелось окончательной ее отставки.

Татьяна Алексеевна отлично понимала чувства родни, но все они были ей глубоко безразличны. Она пила. Заливала горящий уголек. И вдруг послала мне через стол сияющую улыбку. Я ощутил ее как прикосновение. Она признала во мне единственно близкую здесь душу. Я хотел подойти к ней, но она вдруг встала и сказала, ни к кому не обращаясь, что должна проведать подругу. Мне подумалось, что это предлог для ухода, и я решил уйти вместе с ней. Но я сидел неудобно — на торце стола, противоположном двери. Когда я наконец выбрался, отдавив всем ноги, она исчезла. Но пальто ее осталось на вешалке. Я отворил дверь в общий коридор — дом Нирензее строился как гостиница, — длинный мрачный тоннель уходил в слабо подсвеченную из-под дверей темноту.

За спиной вскипело: шум, крики, возня, визг, что-то упало. Я хотел пройти туда и столкнулся с Людой, спешащей на кухню. В руке у нее было махровое полотенце.

— Что там у вас?

— Пашка убивает Бочкова.

Я отметил, что убийцу она назвала по имени, а жертву — своего мужа — по фамилии. Я тоже зашел на кухню и взял медный пестик от ступки. Безоружным мне с Артюхиным не справиться.

Но когда я добрался до места происшествия, Артюхина там не оказалось. На полу лежал Бочков, похоже, без сознания, и Люда смачивала ему мокрым полотенцем высокое чело и цыплячью грудь, белевшую из расстегнутой рубашки.

Дело было так. Артюхин вконец оправился от поражения, нанесенного ему Звягинцевым, и вновь попытался овладеть вниманием стола, пренебрегая молниями, которые метал в него жених, или сознательно провоцируя его. Наверное, он был не прочь отыграться на Бочкове. Он произнес тост за Люду влажным от слез голосом, вознося ее до небес, а завершил предупреждением: всякий, кто не оценит ее по достоинству, будет уничтожен. После чего запечатлел долгий, совсем не родственный поцелуй на покорных устах. Хватив духом фужер водки, он цепко оглядел застолье — все ли поддержали тост, и столкнулся с ненавидящим взглядом протрезвевшего Бочкова.

— Пошел вон, жидовская морда! — звенящим голосом сказал Бочков.

Не знаю, был ли Бочков антисемитом, но знаю, что Артюхин не был евреем. Его цыганская чернявость навела взбешенного ревнивца на оскорбление, направленное явно не по адресу. Артюхин мог бы с насмешкой пренебречь им, но он обиделся, как десять хасидов. Отшвырнув кого-то из родственников, он рванулся к Бочкову. Тот горделиво встал, сжимая в руке вилку. Пашка ударил его в грудь, и Бочков послушно, даже не без изящества, словно заранее готовился именно к такому финалу, улегся на пол и смежил вежды.

Я с пестиком в руке пошел искать Пашку и обнаружил его у батареи в конце коридора. Он плакал навзрыд, и мне сразу расхотелось пускать пестик в ход.

— Брось, Пашка. Не расстраивайся. Он пьяный.

— За что меня так? — рыдал Пашка. — Сперва Василий Кириллович ноги вытер... Я же молодой... пусть глупый, но есть у меня самолюбие?.. Теперь этот слизняк. Я крестьянский сын. А он кто? Небось из лавочников. Инженер. Знаешь, какой он инженер? По технике безопасности.

— Какой бы ни был, он Людин муж, и тут свадьба. Неужели тебе Люду не жалко?

— Жалко!.. Ты не представляешь, как жалко. Почему она за меня не вышла? — Он опять заплакал.

Я взял его за плечи и повел в квартиру.

— Бочков вырубился. Его уложат. А с Людой ты помирись.

И тут я увидел в глубине коридора слегка пошатывающуюся фигуру моей любимой.

Я отдал Пашке пестик, попросив вернуть его на кухню, а сам поспешил к Татьяне Алексеевне.

— Что там у вас? — тщательно выговаривая слова, спросила Татьяна Алексеевна.

— Пашка чуть не прикончил Бочкова.

— Жаль.

— Жаль Бочкова?

— Жаль, что не прикончил.

— Да, все расстроены. Он сразу брякнулся, и Пашка не стал бить лежачего.

— Черт с ними со всеми. Сами разберутся. Я туда не пойду.

— Я тоже.

Забрав ее пальто и свой плащ, я взял Татьяну Алексеевну за руку и потащил с таким решительным видом, будто знал куда. Мы чуть не загремели в темноте на какой-то короткой лестнице, мне чудом удалось удержаться на ногах и удержать блаженную и грозную тяжесть моей спутницы. Я прижал ее к стене и стал целовать. Позже она расскажет мне со смехом, как удивился Звягинцев побелке недавнего ремонта у нее на спине. Удивился, но ничего не сказал.

Я начал ее раздевать.

— Не хочу здесь. Отведи меня куда-нибудь.

Моему отуманенному водкой и любовью мозгу представилось, что самое укромное и подходящее для ласк место — это Тверской бульвар.

Как странно, я помню, сколько было пуговиц на грации, этих мягких латах Татьяны Алексеевны, когда я раздевал ее на бульварной скамейке (их было шестнадцать), но не помню, шла ли еще война или уже кончилась. Непонятная история произошла с этой войной. Начавшись трагически и поэтично, она вскоре испортилась и завоняла. Первую мировую войну делали военные, во всяком случае, так это выглядело в глазах широкой публики. Блистали имена Жоффра, Петена, Фоша, Людендорфа, Франсуа, Брусилова, Рузского, стратегия шла на стратегию, мужество осажденных крепостей спорило с яростью штурмов, но не было людоедства, как в Ленинграде, и не строили брустверов из замерзших тел, не сжигали пленных в печах и по мере сил щадили гражданское население. Но в последней мировой чистота военного почерка ощущалась лишь на второстепенном театре — в Африке, где Роммель и Монтгомери изощрялись в боевых тонкостях. Немцы кое-что показали в начале войны: прорыв и окружение, мы же с самого начала действовали навалом. Стратегия наших военачальников сводилась к забиванию немецких стволов русским мясом. Жуков был просто мясником. Рухнула под ударами англо-американских бомбовозов немецкая оборонная промышленность, и немцы сдались. А пока этого не случилось, на авансцене битвы народов кривлялись двое отвратительных, кровавых и пошлых фигляров: Гитлер и Сталин. Им подыгрывали на вторых ролях два прожженных политика: Черчилль и Рузвельт. И все время шел какой-то омерзительный торг на крови, на жизнях тех, кто еще уцелел, делили земли, народы, вели новые пограничные линии по человеческим сердцам, и все гуще валил дым из газовых печей. А потом оказалось, что спор шел не между фашизмом и всем остальным человечеством, а между двумя фашистскими системами. Фашизм был побежден, фашизм победил. Первая мировая породила великую литературу, живопись, музыку, от второй остались лишь дневники девочки Анны Франк и растерзанный металлический человек

Цадкина в Роттердаме. Все остальное малозначительно. Пожалуй, итальянский неореализм был явлением, да ведь у кинопродукции мотыльковый срок жизни. Своих лучших и, как оказалось впоследствии, единственных на всю жизнь друзей я потерял в самом начале войны, остальные потери не прибавили мне боли. Общеизвестно, что одна смерть — трагедия, миллион смертей — статистика. Реален лишь отдельный человек, в несмети, тьме, толпе человека нет, а жалеть людскую халву невозможно. Антихудожественность последней войны сказалась в переизбытке ненужных убийств, в тотальном уничтожении и жизни, и созданного руками человека. Еще в первую мировую, в которой был известный шарм, Швейк сказал: «Война — это занятие для маленьких детей». Да, для маленьких, злых, безответственных детей с еще не пробудившейся душой. А вторая мировая была занятием для детей Кафки и Брейгеля — этих осатаневших, кривляющихся на улицах кретинов, которые замешивают прохожих в свои зловецкие игры.

Вся эта деланная болтовня появилась из-за того, что я не могу вспомнить, была война или кончилась, а без этого невозможно описать место действия. Если война продолжалась, то тут было очень темно и очень пустынно. Но как же не боялись мы комендантского часа? Если уже настал мир, то горели фонари, по аллеям ходили люди, значит, мы творили любовь посреди гульбища?

То, что мы делали, отличалось воистину олимпийской разнузданностью, когда боги, не стесняясь, творили любовь посреди божественного синклита. Я был равен небожителям бесстыдством, но не удачливостью. Даже когда богиня ускользнула то ли от Марса, то ли от Аполлона, страсть бога излилась в мировое пространство и стала Млечным Путем. Я же не умел реализоваться на периферии заветного грота, куда я никак не мог проникнуть. Скамейка не самое удобное ложе, мешала и одежда, но больше всего мешала, теперь я это знаю, сама возлюбленная. Она делала вроде бы все возможное, чтобы помочь, но то была симуляция помощи, она помогала себе в последний миг ускользнуть.

Мы оба задыхались. Свет — звезд ли, фонарей — молочно высвечивал ее нагое тело в пене почти растерзанных

одежд, и это не позволяло мне отступить или хотя бы сделать передышку. Прекрасная и ужасная борьба изнуряла меня, но не обессиливала. Неистово и безнадежно стремился к ней, обманывая себя надеждой, что любимая мне поможет. И она начинала мне помогать: руками, бедрами, изворотами сильного и гибкого при всей полноте тела. Я исполнялся доверия, предоставляя ей встраивать меня в себя. Но средоточие ее наслаждения перемещалось к губам, она билась, словно большая упругая рыба, откидывалась назад, зовя меня за собой полуоткрытым ртом. Оберегая ее ощущения, я тянулся к ее губам, она целовывала, втягивала меня внутрь, и тут ее затвердевшие соски предъявляли свои требования. Внимание мое рассеивалось, и вопреки моей вере, что я в надежных руках, меня опять пронесло мимо цели.

Я долго относил эти повторяющиеся промахи за счет собственной неумелости, неудобства позы, нашей общей перевозбужденности и только потом понял, что она сознательно не допускала завершения. Как-то в голову не приходило, что моя теща, мать моей жены, была женщиной в расцвете лет и вполне могла еще иметь детей, а это никак не входило в ее намерения. Страх зачатия был сильнее хмеля. Она делала все от нее зависящее, чтобы повторилось чудо творения Млечного Пути, хотя едва ли знала миф о неистовой струе то ли Марса, то ли Аполлона, но я оказался твердокаменным традиционалистом.

— погоди, — сказала она задушенным голосом. — Ты меня замучил.

— Только ничего не прячьте, — сказал я, боясь, что она начнет застегиваться.

— Да нет же, дурачок! — заверила она с таким видом, будто я сморозил какую-то ребяческую чушь.

В подтексте интонации была уверенность, что голая женщина на центральном московском бульваре — явление вполне естественное. А может, нам казалось, что мы невидимки? Из дали лет все это выглядит нереальным. Но было, было...

— А вы понимаете, что я вас люблю? — сказал я. — По-настоящему люблю.

— Правда? — никогда не видел я таких круглых, таких распахнутых глаз. — Меня давно никто не любил.

— Я вас сразу полюбил. Как увидел. Разве вы этого не знаете?

И тут что-то случилось, чего я в первые мгновения не понял. У нее на лице проступила душа. И какая милая, какая неожиданная душа! Я вдруг увидел ее девочкой — любопытной, застенчивой, благодарной за любую радость, которую может дать жизнь, но согласную и на обман, лишь бы хоть чуть-чуть посветило.

— Холодно, — сказала она. — Можно, я оденусь?

— Погодите, — сказал я и стал целовать ее от глаз и губ к коленям.

Но когда желание опять толкнуло меня на штурм, она сказала:

— Не надо. Здесь все равно не выйдет. Мы найдем место.

— Сейчас?

— Ну, где же сейчас?.. Уже поздно. Наши давно спят. Можно, я оденусь?

Меня растрогало, что она вторично спрашивает моего разрешения, словно у меня есть какие-то права на нее. И еще я понял: после моего признания здесь, на скамейке, уже ничего не будет. Взята слишком высокая нота.

Мы привели себя в порядок. Я помог ей застегнуть грацию. В начале бульвара, совсем недалеко, повернувшись к нам спиной, стоял Пушкин. Наверное, он одобрял нас своей веселой душой. Одевшись, мы снова сели на скамейку.

— А как ты будешь меня звать? — спросила она, и душа покоилась на ее лице, как бы заново его выстроив: рельефнее стали надбровные дуги, чуть глубже глазницы, возвысились скулы, нежнее скруглился подбородок.

— Милая, — ответил я.

— А ты не можешь говорить мне «ты», когда мы вдвоем?

— Если мы будем близкими.

— А мы не близкие? Куда ж ближе.

— Вы сами знаете. Это будет?

Она наклонила голову.

Мне пришла неожиданная мысль: не было ли происходящее как бы реставрацией, пусть весьма приблизительной, одного из самых сильных переживаний ее молодости и первой любви? Когда-то, тоже на улице, совсем недалеко отсюда, кое-как пристроившись на цоколе ограды, с прекрасным бесстыдством она отдавалась любимому, и тут грохнул взрыв, унеся десятки жизней, но любимого она спасла и зачала новую жизнь. Сейчас не было ни взрыва, ни зачатия новой жизни, но было лихое бесстыдство и брошен спасательный круг. Она сотворила благо не только мне, но и себе, вернув прошлое, а сквозняк осеннего бульвара, наломанное любовными потугами тело и хмельной дурман удержат состояние оберегающего душу бреда.

Проснувшись утром — Галя уже упорхнула, — я долго валялся в постели, пытаясь понять, что из минувшего вечера и ночи принадлежит яви, а что безумию. То, что япил, сомнений не вызывало, я был весь проспиртован. Значит, и свадьба была — с хамством Звягинцева, повержением пьяного жениха, слезами Артохина, нашим с Татьяной Алексеевной бегством. А в стриптиз на Тверском не верилось, слишком похоже на мои больные, горячечные мечтания. Но как телесно все это помнится: жесткая скамейка, голые деревья, стойкий ветряный продув аллен, теплота явленного тела, его таинственное свечение. Да разве могло такое быть посреди Москвы?..

Я принял холодный душ, кое-как оделся и пошел через площадку. Мне открыла Татьяна Алексеевна.

— Ты чего? — удивилась она. — Галька ушла? Хочешь опохмелиться?

«Не было! — взрыднулось во мне в ответ на эту бытовую интонацию. — Не было бульвара».

— Василий утром на мое пальто косился. Это же надо так извозиться!

Я что-то не мог сообразить, почему у нее испачкано пальто.

— Забыл, как мы на лестнице обжимались?

«Не было! — снова ударило в душу. — Не было бульвара. Была возня на лестнице, вот и все».

— Скажи «милая», — попросила она вдруг. — У тебя так смешно выходит: «милая».

«Было! — взорвалось во мне. — Был бульвар!..»

Луи Селин говорил, что в жизни случаются дни, которые можно и не жить. У меня таким выдалось целое полугодие, я не вылезал из командировок. Жизнь вернулась маем и дачей, вернулась мукой. Она не была так черна и безнадежна, потому что всякий раз казалось: это будет завтра. Но наступало завтра, и я оказывался столь же близок к цели и столь же далек от нее. Татьяна Алексеевна, помолодевшая, оживленная, ласковая, была готова на все — до того предела, который был мне поставлен на бульваре. Этот предел держал меня в постоянном напряжении, я с маниакальным упорством домогался ее. Где бы она-ни появлялась: в саду, столовой, гостиной, беседке, на кухне, в ванной, — тут же возникал и я, неотвратимый, как рок, но куда менее опасный. Она меня не только не отталкивала, а поощряла, ее руки сами тянулись ко мне. Она не уставала целоваться, не ставила мне никаких преград, кроме последней. Я бормотал откуда-то известные мне строчки Пастернака, которых никогда не видел в печати:

*Тяни, да не слишком,
Не рваться же струне...*

— Но здесь нельзя, — говорила она обещающим голосом.

«Здесь» и правда было нельзя: серой мышью сновала взад и вперед по даче, в оскорбленности и бессильной злобе, ее свекровь, скашивала темный зрак неандерталка, и скулы ее рдели, поджимала вишневые губки нянька, но, похоже, она меньше всех была афропирована происходящим, очевидно, в тех домах, где она раньше служила, барыня тоже развлекалась с учителем на фортепьянах, репетитором сына или молодым секретарем мужа. Недоуменно и заинтересованно поглядывал инфант — мы щадили детскую, но ведь ребенок бывает одновременно повсюду, и, ей-ей, он начинал что-то смекать, его испачканная в песке ручонка все чаще тянулась к ширинке красивых штанишек, добытых из клейкой груды последнего добротства американских трудящихся.

Однажды я застал Татьяну Алексеевну на редко посещаемой террасе с задней стороны дачи. Чего ее туда занесло? В коротеньком пестром сарафанчике, она рылась в коробке для шитья, надумав поиграть в швею. Сарафанчик не только

ничего не скрывал, но с дивным бесстыдством обнажал ее желанное тело. Я прямо взвыл, когда увидел, и впился в золотую швею, словно гигантский клещ. Я заново открывал для себя ее груди, теплую, чуть влажную ложбину между ними, сухие подмышки, гладкий живот, завитки волос щекотно предворяли безумие ляжек, круглые атласные колени, мускулистые икры... Боже, как совершенно построил ты женщину, дивную страну, которую невозможно открыть раз и навсегда, а постичь не хватит всей жизни.

Она смеялась, целовала меня, будто ненароком, иногда делала вид, что отбивается, на самом деле помогала моим проникающим усилиям. Я чуть отстранился и полуизвлек руку из дальних недр, переводя дух, когда появилась бабушка.

— Блинчики печь? — спросила с наигранной озабоченностью.

— Мы же договорились, — пожала плечами без тени смущения сноха.

— Шел бы к себе, — не с осуждающей, не с гадливой, не с сожалеющей интонацией — каждая была уместна, а с какой-то последней усталостью посоветовала мне старуха и заспешила прочь, будто забоявшись этого жалкого вторжения в безудержную жизнь снохи.

Почему Татьяна Алексеевна была так уверена в окружающих? Неужели она прозревала их до дна рабскую суть? Конечно, бабушкина зависимость с появлением в доме зятя-алкоголика и надеждой на внука стала еще больше, но ведь и рабы способны на бунт, возмущение, протест. И у неандерталки был какой-то нравственный устой: смесь древних табу с мнимой комсомольской этикой. Только на няньку можно было положиться, пока той хотелось тут работать. А ей хотелось. Тетя Дуся тоже казалась надежной, но ведь шут зол, он может показать зубы. Она, правда, сейчас редко появлялась, зато глаз имела вострый. Человек шальный, с безуминкой, она могла продать и сдуру, и чтобы выслужиться перед Звягинцевым. Наконец, и Галя уже понимала, не показывая виду, что между мной и ее матерью происходит некий «флирт цветов». Однажды она застала

меня в ее спальне, когда я крепко желал милой сонливице доброй ночи.

Порой у меня мелькала мысль, что Татьяна Алексеевна сознательно идет на риск. Впрочем, можно ли назвать риском подспудное желание, чтобы до мужа дошли слухи о наших отношениях? Но тогда необъяснима ее осторожность со мной. Той оголтелой ярости, с какой она, узнав об измене мужа, кинулась в объятия моего предшественника, не было в помине. Тогда жажду мести подкрепляла уверенность в себе: она думала вернуть мужа через ревность и гнев. Она просчиталась. Василий Кириллович решил проблему бытовому, вышвырнув Эдика и крепко пригрозив ему, чтобы не мелькал, после чего окончательно утвердил себя в двойном бытие.

Сейчас она была амазонкой, выбитой из седла и не очень приученной к наземному бою. Может, расчет ее был куда мельче, беднее: уязвить, показать свою независимость и то, что она может по-прежнему нравиться? Странно, что при этом она так мало считалась с дочерью. Может быть, знала значительно больше моего о студийных делах дочери? Но доброхоты уже успели намекнуть мне, что Галя увлечена не только вокалом, но и красавцем басом-профундо, что меня мало волновало. Наконец, это могло быть нужно ей психологически, чтобы не чувствовать себя старухой, выброшенной за ненужностью. Она, конечно, понимала всю меру моей обреченности и что за нее я приму любую кару, унижение, стыд. Меня можно было ударить несравнимо сильнее, чем Эдика, мальчишку, которому нечего терять. Звягинцеву ничего не стоило выгнать меня с волчьим билетом из литературы, лишить всякого заработка. По чести, вполне возможное фиаско трогало меня лишь потерей Татьяны Алексеевны, об остальном я просто не думал. Но тут мне на помощь приходило воображение, спасающее всех мечтателей на свете. Сознание допускало некий прочерк — нефиксированные житейские обстоятельства, которые сами себя улаживают, и вот мы уже на золотом пляже Лидо, а вот за столиком «Максима», крытым морозной хрустящей скатертью, вот в Мулен-Руже, где еще танцует рыжая Ла Галю, а вот среди

петергофских фонтанов — все это естественно придет к нам, когда мы станем свободными.

Словом, я не боялся расправы, но иной страх шевелился во мне. Мне снова недоставало художественности в происходящем. Что-то от меня скрыто, я снова брожу в потемках. Это скрытое куда серьезнее действительных и воображаемых угроз.

Вопреки Катиному утверждению, Татьяна Алексеевна не казалась мне страстной натурой. Весь свой порох она потратила на одну вспышку. Была ли она чувственной? Не уверен. Как не уверен в ее женской опытности. Похоже, опыт был чисто словесный, почерпнутый у Нины Петровны и других просветительниц. О пресловутом жалком загуле с пьяным стариком из заводоуправления я уже рассказывал. Ей хотелось выглядеть всезнающей, все испытавшей, эдакой: оторви да брось! — но как-то не получалось. Не могла она перешагнуть последней черты. Даже в тот день, когда, казалось, это стало неизбежным.

Как нередко случалось, мы довольно крепко выпили за обедом. В последнее время мы часто оставались вдвоем, если не считать бабушки, инфанта и няньки. У Василия Кирилловича был сплошной аврал, теперь гайки нарезались независимо от конца квартала, похоже, некий вокальный аврал закрутил и Галю. Правда, Василий Кириллович, в отличие от дочери, иногда заявлялся ближе к полуночи, у него разыгралась гипертония, и врачи рекомендовали ночевать на свежем воздухе.

Выпив, мы ощутили друг к другу огромную нежность, но реализовать ее решили почему-то за воротами дачи, «на лоне природы» — сказала Татьяна Алексеевна. Можно было подумать, что для нашей любви недостаточно было природы на огромном дачном участке.

Взявшись за руки, как школьники-первоклассники, мы пошли к воротам, где нас дружелюбно обнюхал зачем-то спущенный днем с цепи сторожевой пес, овчарка Арно. Я заметил, что у Арно одно яичко свисает так низко, будто оно оборвалось в замшевом мешочке, и обратил на это внимание Татьяны Алексеевны. Она крикнула сторожа и нака-

зала ему отвезти Арно в заводской питомник к ветеринару.

— Это потому, что он не трахается, — заметила Татьяна Алексеевна, когда сторож с собакой отошел.

— Со мной будет то же самое, — мрачно сказал я.

— Уж кто бы молчал, болтушка! — Шутливой укоризной наша сухая возня была вознесена в ранг сексуальных излишеств.

Перед дачей пролегалo шоссе. Справа вдоль забора тянулся редкий молодой соснячок и полого спускался к балке, по которой бежал ручей. Мы обнялись, несколько не соразмерив жар порыва с прочностью упора, нас повело, и мы мягко шлепнулись на землю. Я немедленно обнажил ее по пояс и стащил узенькую полоску материи — бикини. Татьяна Алексеевна не носила летом своих упругих лат, что никак не мешало ее стройности. Я почти взгромоздился на нее, когда она сильным рывком скинула меня и сказала:

— Хочу иначе.

Она подарила мне рот. Это было больше того, на что я рассчитывал, и меня поглотил транс. Правда, раз-другой я возвращался в полусознание, и мне казалось, что нас приветствуют проезжающие к истринскому пляжу грузовики с воскресными массовками. Но нас это смущало ничуть не больше, чем одинокие прохожие на Тверском бульваре. Когда же я несколько пришел в себя, то обнаружил, что Татьяна Алексеевна фальшивит в том любовном усилии, которое применяет ко мне. Есть такой способ пить водку, чтобы не чувствовать сивушного привкуса. Надо отключить полость рта от вкусовых ощущений и вплескивать жидкость прямо в горло. Хорошие пьяницы так не пьют, им важно в водке все, каждое свойство божественной субстанции. А плохие пьяницы не дают себе почувствовать напиток. Татьяна Алексеевна действовала в том же роде, она обходилась одними губами, исключив язык и всю слизистую оболочку рта. То, что она делала, было подачкой, а не разделяемым наслаждением. Кроме того, она боялась получить заряд любовной влаги в рот, поэтому то и дело пугливо отстранялась. Это мне мешало. Свечерело, а я так и не вошел в райские врата.

Потом мы встали, она усталая, я разочарованный. Мы пошли дальше, спустились к ручью, неизвестно зачем, и здесь я довольно бесцеремонно вернул ее к прежней позиции. С переменой места мы ничего не выиграли, кроме сырости. Под конец я перестал что-либо ощущать, кроме нежной щекотки от ее волос, упавших мне на живот.

— Ну, ты и крепок! — сказала она. — Сдаюсь. Я рада, что это было.

Я недолго утешался тем психологическим даром, которым явилось наше незавершенное соединение на лоне природы. Опять начались летучие, почти прилюдные встречи, наспех, на бегу, ничего не давая, только даром волнуя и расшатывая душу, доводя до белого каления без остуды. Какое там счастье, я уже не мечтал о нем, лишь о передышке, чтоб хоть на короткое время забыть о любимой и поверить, что есть другой мир. Она делала большие глаза: разве ее вина, что нам всегда что-то мешает? То телефон, то неотложное хозяйственное дело, то приезд Василия Кирилловича или Гали, или кого-то из родни, то тошнота инфанта или прострел няньки, или вдруг обнаружившиеся «личные проблемы» неандерталки, которую я считал бесполой, то появление новой, невероятно злой овчарки вместо увечного Арно; нам мешали монтеры и штукатуры, полотеры и печники, кинемеханики и плотники, сборщики ягод — целая бригада с завода — и косари, грозы, что-то поджигавшие, и дожди, что-то затоплявшие, сороки, крадущие столовое серебро, и лисицы, повадившиеся в крольчатник сторожей. Иногда мне казалось, что Татьяна Алексеевна сама создает эти препятствия или подгадывает под них прилив своей нежности. Но зачем ей это? Мстит всему мужскому сословию в лице несчастного влюбленного мальчишки? Что ж, и такое бывает. Да ведь в моих муках вина ложится на нас обоих. Будь на ее месте другая женщина, не столь желанная, не закупоривающая меня бессознательным стремлением отодвинуть как можно дальше последнее разрешающее содрогание, я знал бы уже освобождение. В этом главная причина моей беды: страшно потерять все нарастающее, щемящее, пронизывающее ощущение, оно становится самоцелью,

а не разрядка, и курок остается на взводе. Это моя, а не ее вина.

А почему она не отдастся мне самым простым, естественным, простодушной природой благословенным способом? Одной лишь боязнью беременности этого не объяснишь, ведь есть десятки способов предохраниться. А что, если правильна мелькнувшая у меня давно догадка: в мире Звягинцевых лишь место, созданное для деторождения, считается священным, безраздельно принадлежащим мужу. И пока оно неприкосновенно, нет греха, нет измены. Что бы мы ни делали, у нее остается моральный перевес над Звягинцевым, и чист ее взгляд, и весом козырь.

Я разыгрывал про себя сцену на кухне.

Бабушка. Пусть Татка поиграет. Она ж брошенка.

Нянька. А чего ж не пошалить с молодым человеком? До греха она не допустит, а всежки ей развлечение.

Неандерталка. Нешто так можно? При живом-то муже!

Нянька. Так то при живом! А ежели муж все равно как помер?

Бабушка. Типун те на язык! Василий перебесится, все на лад пойдет.

В воображаемой болтовне старушек было зерно истины. По Фрейду, нельзя говорить об эрогенной зоне женщины, все ее тело — сплошное эрогенное пространство. И Татьяна Алексеевна получала от меня необходимый заряд физиологической бодрости, помогающей ей нести свое соломенное вдовство. А надежду на реванш питало ухудшающееся здоровье мужа и все усиливающаяся к закату непривлекательность Макрюхи.

Этой ладной картине по-прежнему не хватало одного — художественности...

Возможно, у меня слегка поехала крыша. Вредно на чем-то заикливаться, это ведет к разрушению личности. Вот и Сальери погубило, что он возлюбил музыку больше жизни. Он, правда, сублимировал свою гибель, отравив Моцарта, впрочем, это легенда, вымысел. Да и не было у меня Моцарта под рукой, я погибал сам.

Однажды я додумался до такой игры (возможно, наоборот: тупая, плоская и настырная игра придумала меня для своего воплощения) — я неотступно следовал за Татьяной Алексеевной и бубнил: «Я хочу вас». Вначале ее это развлекало, потом стало надоедать, наконец встревожило. Увещевания не помогли, и она решила прибегнуть к защите окружающих. Теперь она ни на минуту не оставалась одна. Это не помогло. Я подходил и, понизив голос — не настолько, чтобы при желании нельзя было услышать, бросал: «Я хочу вас».

Атмосфера в доме опасно накалилась. И не потому даже, что каждый слышал эти слова и понял их смысл, а эманация моего доведенного до исступления желания отравила воздух. Бабушка металась по дому, словно ослепленная солнцем серая сова, нянька принарядилась, так в старину принаряджались провинциальные барышни с приходом в город гусарского полка, с неандерталкой случилась истерика. А инфант, услышав мою фразу, тут же плаксиво сказал: «Я тоже». Чужое желание к чему бы то ни было вызывало у него ответную реакцию. Единственный способ заставить его есть — покуситься на его порцию. Но через некоторое время он доказал всепроникающую мощь подсознания: вдруг все забегали еще суетливей, и нянька, размазывая по лицу океанскую соль слез, показала Татьяне Алексеевне оскверненную малолетком простыню. Чудовищно ускоренное созревание малыша не на шутку испугало Татьяну Алексеевну. Тем более что к этому часу дом скрипел, охал, стонал, то ли собираясь в дальний путь, то ли готовясь развалиться. Ведь он тоже состоял из живой природы — дерева, и протестовал против грубого попрания законов естества. Отзываясь ему, в саду глухо роптали сосны. За меня был весь здешний микромир, и Татьяна Алексеевна, прозрев, сдалась:

— Ты ступай к себе. Я приду.

— Когда? — спросил я с капризностью, которой позавидовал бы инфант.

— Когда все разойдутся.

— Да ведь бабка до полуночи пшебуршит.

— А мы поиграем в бильярд. Она угомонится.

Великолепный стол с костяной пирамидой стоял наверху. Дверь нашей с Галей спальни выходила в бильярдную. Я предполагал, что Татьяна Алексеевна, пользуясь неутомимостью бабушки, превратит мое ожидание в ад. Ничуть не бывало. Я был далек от порога отчаяния, когда она появилась, свеженамазанная, чуточку слишком официальная. Но в этом была своя милая тонкость, она шла ко мне, как на праздник.

Бабушки не было слышно, но это ничего не значило, она умела двигаться бесшумно. Во всяком случае, Татьяна Алексеевна решила сыграть партию. Я поставил пирамиду, разбил ее и с тоской стал ждать, когда она сделает удар. Нет ничего томительней, чем играть с неумехой, особенно если этот неумеха так интересен тебе во всех других отношениях. Надо было скорее закончить партию — не попросит ли она реванша? — и, отбросив деликатность, я стал расстреливать лузы. По закону гадства у меня заело на последнем шаре. Татьяна Алексеевна выбирала рядом стоящие шары и, не пытаясь сделать результативный удар, просто отыгрывалась. Тогда я стал готовить для себя подставки, но она цепко улавливала возможность целевого удара и отгоняла идущий шар, не пытаясь его положить. Мне приходилось то лупить через весь стол, то бить дуплетом, то от трех бортов. Злость сбивала меня с прицела. Она поняла это и стала зловредничать еще усерднее. Но я взял себя в руки, сильно и толково разогнал шары и при следующем ударе сотряс угловую лузу метким клопшгоссом. И сразу обнял ее и повел в спальню.

— Давай уберем шары.

— Черт с ними! Я потом уберу.

— Ты меня хочешь?

Мы слились так, будто не могли дотерпеть до спальни. И правда, не могли. Я не мог. Ни минуты. Ни секунды. Чуть откинувшись, я навлек ее на себя, рывком поднял и опрокинул на зеленое сукно бильярда. И тут же увидел, как сад облился металлическим светом фар. Лаяла надрывно новая овчарка, и, волоча громадную тень по стволам деревьев, траве и цветам, большая машина подползала по аллее к даче.

Мы не слышали ни гудка у ворот, ни первого захлеба овчарки, ни шума открываемых ворот и грубоватых приветствий, которыми Звягинцев обменивался со сторожами, короче, мы пошло, комедийно засыпались.

Татьяна Алексеевна ахнула, оттолкнула меня и кинулась вниз, одергивая юбку.

Я ушел в свою комнату. Сердце колотилось о ребра. Опять сорвалось! Что за проклятие, что за рок тяготеет надо мной? У меня взмокли глаза. Этого еще не хватало! Совсем расклеился. Лучше подумай, что ты скажешь Звягинцеву, когда он призовет тебя к ответу. Да ничего, пошел он в яму!.. Но бабы! Как же они неосторожны при всей своей трусости. Почему она была так уверена, что он не придет? А может, она этого не исключала? Почему явилась такая прибранная, намазанная? Для моего праздника? А если не только для него, вовсе не для него?.. Она запутала меня податливостью и неподдаваемостью, которой служат внешние обстоятельства. Или она заставляет их служить моей непонятной цели. И чего она так всполошилась? Мы всего лишь играли на бильярде. Ничего не было.

Я поймал себя на том, что начинаю усваивать моральный кодекс семьи, вернее, тот кодекс, который я для них высчитал. И нахожу в нем опору. Настолько твердую, что без страха смотрю вперед.

В ожидании возможного вызова и чтобы себя развлечь, я стал думать, нет ли смысла и глубины в их нравственном устое. Лишь прямое соитие чревато зарождением новой жизни. А когда ребенок появляется на свет, на родителей ложится бремя забот о его сохранении, прокормлении, воспитании, научении, словом, о всем, что способствует превращению личинки в человека. И значительная часть этой ответственности приходится на отца. Справедливо ли, чтобы он тратил силы, свою единственную и неповторимую жизнь на заботу о чужом ребенке? Такое может быть лишь по доброй воле, но не по обману. Поэтому табу то место, откуда появляются дети. Остальное — лишь жалкие и неопрятные человеческие игры, на которые лучше закрыть глаза, ибо они без последствий. Все это рассуждение ничего не стоит, если не сказать, что в кругу

Звягинцевых пользование презервативом приравнивалось к убийству, людоедству, растлению малолетних и предательству родины.

Оперев себя на это умозаключение, как на столп истины, я довольно бодро встретил утро, обещавшее быть препротивным. Тем паче что к завтраку приехала наконец-то освободившаяся от вокальных забот Галя, которую Василий Кириллович, конечно же, натравит на меня.

Спускаясь в столовую, я громко и фальшиво напевал популярную песню о подвигах простого советского человека, который во имя светлого будущего уничтожает природу: «меняет течение рек, высокие горы срывает», дивно преобразуя своим бесчинством окружающий мир:

*И звезды сильнее заблестали,
Ручьи ускоряют свой бег,
И смотрит с улыбкою Сталин —
Советский простой человек.*

Нельзя же стукнуть по башке певца, который так истово славит Сталина.

— Твой муж и мать ведут себя кое-как, — обращаясь к дочери, заявил Василий Кириллович после первой же рюмки, которую выпил без тоста и ни на кого не глядя.

— А что такое? — несколько искусственно всполошилась Галя.

— Спроси, чем они занимались ночью.

— Я лично спала, — широко улыбнулась Татьяна Алексеевна. — Под твои рулады.

— Нет, когда я приехал.

— Играли на бильярде. Ты же видел.

— Ничего я не видел. Сбежала сверху, вся встрепанная.

А этот даже не появился.

— Я появился, — спокойно, в сознании своей чистоты, сказал я. — Только вы заперлись.

Я смутно слышал, как они переругивались в спальне, и понял, что Василий Кириллович обошелся без позднего ужина.

— Безобразия в доме разводят! — сказал он мимо моих слов, потому что я угадал. — Ты следи за своим.

— Разве уследишь! — засмеялась Галя, обращая все в шутку.

— А не можешь уследить, значит, ты плохая жена. И хрен тебе цена.

— Ну, это зря! — позволил я себе легкий протест, довольно безопасный, поскольку я брал под защиту его дочь.

Он ничего не сказал, но впервые зыркнул на меня глазом — нехорошим, тигриным.

И все же я не мог понять, злится он по-настоящему или играет в ревнивый гнев самооправдания ради, или же, вполне равнодушный к существу дела, тешит беса дурного характера. Есть повод поиздеваться над слабейшими, так почему бы им не воспользоваться?

Он не прекращал доканывать нас всю долгую утреннюю трапезу. Причем большая часть его подковырок адресовалась Гале как самой незащищенной. Но тут таился и другой смысл. Что-то не позволяло ему оставить этот дом, значит, дом должен стоять крепко, и совсем ни к чему появление еще одной центробежной силы. Урок благопристойности давался и Гале, подзабросившей семью вокала ради. Строгий, высоконравственный глава семьи наставлял нас морали. Я твердо придерживался раз избранной тактики: считать все это затянувшейся, не слишком удачной шуткой. Был, правда, соблазн во утверждение своей безгрешности вспылить, возмутиться. Но не попадусь ли я на хитрую провокацию? Вот тут-то и покажет он мне Бычий двор. Не дам ему такого удовольствия. Татьяна Алексеевна подавала пример правильного поведения. Она делала вид, будто болтовня мужа вовсе ее не касается.

Но постепенно эта безучастность стала раздражать. В ее распоряжении был целый арсенал средств: оскорбиться, возмутиться, увести разговор в другую сторону, превратить все в шутку, подластиться она тоже умела, что гарантировало бы Василия Кирилловича от подковырок наедине, но она самоустранилась. Неужели ей доставляла удовольствие его вялая, искусственно раздуваемая ревность?

Во мне творилась странная работа. Я так основательно убедил себя, что между мной и Татьяной Алексеевной ничего не было, что груз всех даром растраченных сил, впусую

прожитых лет, безответных чувств, какой-то решающей, на всю жизнь, неудачи, умноженный вздорными подозрениями, раздавил мне душу. Я смялся внутренне, съежился внешне, провалился в себя и, ничуть не притворяясь, обрел убедительнейший вид оклеветанной невинности. Звягинцев, которому в данной ситуации наказать меня внапраслину было куда приятнее, чем по делу, испытал глубокое удовлетворение. Он традиционно рыгнул, не добавив положенного: «Уф, обожрался!» — и вышел из-за стола...

— А знаешь, отец говорил совершенно серьезно, — сказала Галя, когда мы поднялись в нашу комнату.

— Что — серьезно?

— О тебе и матери.

— Он что, ненормальный? Как ему не стыдно?

— Стыдно — не стыдно. Но говорил он серьезно.

— Какой бред! У него самого нечисто, вот и видит всюду грязь. — Тут я спохватился, что защищаюсь, и немедленно сделал ответный выпад: — Он, кстати, и к тебе имеет какие-то претензии.

— А я-то тут при чем?.. — Галя почувствовала свой румянец ожогом и поспешно вышла из комнаты, будто вспомнив о срочном деле.

В саду Звягинцев, довольный, что всем испортил настроение, играл с внуком. Они хором декламировали:

*Старушка не спеша
Дорожку перешла...*

Затем последовал счастливый смех инфанта, заглушивший конец куплета, — дед, наверное, что-нибудь отчудил. Заухал и сам Звягинцев, затем я уловил звень Татьяны Алексеевны. Она тоже была там. Меня охватила тоска, я не могу пойти к ним и хоть прикоснуться к ней рукой.

Хлопнул выстрел. Я сорвался с постели, показалось, что стреляли в меня. Поискал пулевое отверстие на стене и потолке, потом осторожно выглянул в окно. Звягинцев убил белку из мелкокалиберного ружья. Он показывал восхищенному внуку, что угодил прямо в глаз, не попортив шкурку. Меткость у него была прямо-таки таежная. Мальчишка гладил рыжую шкурку и смеялся, я бы на его месте плакал.

Я это сделал на своем собственном месте. Я заплакал над белкой, которую не раз видел в ветвях деревьев, веселую рыженькую летунью, чью легкую безвинную жизнь так бессмысленно прекратили, над собой, попавшим в капкан с пружиной намертво, над Галей, чья жизнь снова не удалась, над Татьяной Алексеевной, не заслужившей своей грубой неудачи, и Василий Кириллович с его запоздалым романом, с нелепицей, в которую обратилась его жизнь, тоже попал в туман моих слез. Не оплакан остался лишь инфант, еще не наживший души — органа для страдания, но и его было жалко, бедного блевуна.

После обеда Василий Кириллович, вернувший себе утреннюю утрюмость, хотя и прекративший терзать нас, вдруг собрался в Москву — что-то на ТЭЦ стряслось. Не иначе — голубиная почта принесла тревожную весть.

Ужинали мы вдвоем с Галей, у Татьяны Алексеевны разболелась голова.

— Они поругались? — спросил я.

— Нет. У матери бывают мигрени.

Галя уехала на другой день вечером.

Татьяна Алексеевна — мигрени прошли так же внезапно, как и начались, — сказала с веселой иронией:

— Никому-то мы с тобой не нужны.

— Я никому не нужен. Вы нужны мне.

— Болтай, болтушка! — знакомо отмахнулась она.

Но когда после ужина я спросил — без надежды, почти машинально: «Вы придете?» — в ответном кивке было больше, чем согласие.

Еще не наполнилась темнотой пепельно-серая прозрачность московской белой ночи, когда началась гроза. И весна, и лето были бездождными, я забыл самый звук грома. Сухой долгий треск, завершившийся бледной и ослепительной вспышкой, от которой мигнула лампочка, вызвал тревожное недоумение — похоже, распоролась холстинная оболочка мироздания. Следующему разрыву предшествовали сдвоенные мигания лампы, а удар был короткий, собранный и оглушающий. Я не помнил гроз в это переходное время суток — от вечера к ночи, к тому же такого светлого вечера.

Это час тишины, умиротворения. Бывают великолепные ночные грозы, но куда чаще — утренние или дневные, когда гроза медленно и душно вызревает в горячем воздухе. Подмосковная гроза чаще всего приходит издалека, она накаляется часами и сперва обходит стороной то место, где ты находишься, пуская косые ливни по горизонту, урча, ворча, пылая сполохами и лишь изредка простреливая сизую наволочь зигзагом молнии, и вдруг рушится прямо на твою голову, когда ты вполне уверился, что пронесло. А тут сразу, без подготовки, при чистом, бесцветном, стеклянном небе с увесистой силой вдарило раз-другой, и крупные капли заколотили по листьям, траве, оконным стеклам. Сразу посмерклось. Я закрыл окно. Зажег ночник на тумбочке возле кровати и задумался, что означает эта неожиданная ниоткуда и ни с чего гроза в символике моей нелепой жизни. Она могла означать лишь одно: Татьяна Алексеевна не придет. Опять началась мигрень или поднялось давление, или до срока пришли месячные, зависящие не только от Селены, но и от ветреной Гебы, или же что-то затопило, прорвало, инфанта хватил родимчик со страха. Ведь не может гроза быть просто так.

И вдруг все кончилось так же внезапно, как началось. Гулко простучали последние капли, посветлело, в комнату сквозь закрытые окна хлынула сосновая и травяная свежесть. Когда я открывал окно, мне в лицо ударил ветер, стремящийся насквозь. Я оглянулся — Татьяна Алексеевна закрывала за собой дверь.

Дивной музыкой прозвучал двойной поворот ключа.

Я стал молиться про себя, предваряя обращением к Богу каждое движение. «Милый Боже, сделай, чтобы она сняла халат!» И она сняла. «Милый Боже, пусть она позволит стащить с нее бикини». Я не был уверен, что старый Бог знает это современное слово, и пояснил: «Маленькие, узенькие трусики». И Господь благословил меня снять их. «Милый Боже, сделай так, чтобы я снял с нее лифчик». И тут же она сдвинула лопатки, чем помогла мне расстегнуть пуговицы и снять теплый от ее груди лифчик. «Милый Боже, сделай, чтобы она сняла рубашку». Но, видать, я утомил

Господа своими просьбами, и она невесть с чего заупрямилась. Рубашка была с носовой платок и ничуть не мешала мне, но я жаждал абсолюта. В нашей возне рубашка скаталась в жгут, открыв груди, живот, ее практически не было, так — знак, символ того, что ее тело знакомо с одеждой, а я продолжал упорствовать, впустую расходуя силы, время и раздражая Всевышнего истерическими мольбами. Но и Господь, и Татьяна Алексеевна стояли насмерть. Может быть, тут проявлялся рудимент той странной нравственности, уроки которой, как выяснилось, я тоже усвоил: рубашка, оставшаяся на теле, служит идее брака, сохраняет некую верховную привилегию мужа. Я чувствовал какую-то уловку, направленную против меня, против полного обладания. Но я и так не мог справиться с ней, а теперь она имела на своей стороне покинувшего меня Вседержителя. Я сдался. А вот она не позволила мне оставить на себе майку-безрукавку, что я пытался сделать в бессознательной попытке реванша. Она содрала ее с меня — кровожадно, как кожу.

Наконец-то все ее тело в моем распоряжении — что значат между своими две тоненькие бретельки и комок смятой ткани? Но я растерян перед этим изобилием и открывшимися мне возможностями. Подобную растерянность я испытал однажды в дивном храме Светицховели, но там мне помог лик Христа с открывающимися и закрывающимися глазами. Он привлек к себе, чем и организовал мое внимание. Здесь дело обстояло сложнее. Христос был и в ее губах, Христос был и в ее сосках, Христос был в пещерах ее подмышек, Христос был в таинственном пупке, и я впервые понял восточное любовное моление: «Дай насладиться твоим пупком!» И впрямь, не нужно иного государства, если бы Христос не осенил собой подколенные впадины и не учредил престол свой над ее лоном.

Я ринулся туда алчущим ртом и наэлектризованными пальцами, но здесь мне в который раз был поставлен предел, к сожалению, чуть запоздало. Я убедился, что поманил меня туда не Спаситель, а Лукавый, ибо здесь обнаружилось единственное несовершенство этой божественной плоти. У нее была вялая губная складка. Так случается, если женщина

много рожала или профессионально злоупотребляла этим местом. Но здесь ни то, ни другое объяснение не годилось. Все объяснялось куда проще — Сатана похитил этот единственный уголок Эдема у Господа.

Видя, что я устремился не по тому пути, она взяла поводья в свои руки. Уложив меня навзничь, она склонилась ко мне и стала делать то же, что и при дороге, но без ребячьей боязни захлебнуться субстанцией жизни. Если б раньше так!.. Но был какой-то органический порок в попытках нашей близости. Он шел от первых запретов. А потом, чем больше она стремилась привести меня к полноте наслаждения, тем крепче, вопреки собственному желанию, я запирался. Наверное, мне мешало то, что она отняла у меня активность, ту мужскую инициативу, которую я всегда брал на себя в близких отношениях с женщинами. И, чувствуя вновь эту проклятую заклиненность при чудовищной мускульной готовности, я ждал очередного поражения — не от слабости, а от пустой избыточной силы.

— Ты нарочно? — спросила она с набитым ртом.

— Что нарочно?

— Зачем мучаешь меня?

— Я не виноват. Давайте по-другому.

Татьяна Алексеевна словно решила доказать правоту Фрейда, что женское тело — сплошной орган любви. Я был введен в каждый маленький храм, но, попав меж двух грудей, решил, что здесь и останусь, приму постриг. Я взял ее груди в руки, прошло без малого полвека, прошла жизнь, а я до сих пор помню в ладонях тяжесть этой плоти. Я был близок к финишу, как бегун на длинные дистанции Аллан Силитоу, и, как он, вдруг задумался. Бегун задумался и сошел с дистанции, исполнившись презрения к тому, что было делом его жизни, маниакальному стремлению стать первым на гаревой дорожке, к зрителям на трибунах, с беспощадной жадностью ждущим, когда на потеху им появится измочаленный, полуживой честолюбец, чтобы получить венок из суповых листьев. Он понял ничтожность всего этого, кроме самопроверки, которую выдержал, и, плюнув на лавры, сошел с дорожки. Я задумался о том, что приближаюсь к своему

пику способом, напоминающим вульгарную мастурбацию. А если плюнуть, сойти с дистанции, признать ее бессмысленную победу и покончить со всем этим? Как покончить? Не знаю, так или иначе... Но, барахтаясь в этих мыслях, я уже знал, что не способен их осуществить.

Я взял ее руки и вложил в них ее груди, избавившись от срама самоудовлетворения. Теперь две энергии сливались ради единой цели.

Мой организм стал громаден, безграничен, как пространство, открывшееся гоголевскому колдуну, и в бесконечной дали этой новой вселенной, которая была мной, возникло какое-то жжение, нежно язвящее пощипывание; оно все нарастало и превратилось в электронный штурм, расстреливающий каждую ткань наособь. Происходящее не имело подобия и потому не имело названия, что-то подкатывало к сердцу и опадало в живот, и вдруг все сосредоточилось на комке плоти, бившемся между грудей, отяжелив вперевес. Я упал на любимую, опрокинув ее. И тут прорвало. Мне казалось, я истеку весь, без остатка, исчезну, сгину, но так и надо, раз все сбылось.

Наверное, я был некоторое время без сознания, а когда очнулся, то обнаружил, что вся верхняя половина тела любимой, тоже пребывающей в странной тишине и неподвижности, залита любовной жижей. Брызги достигли подбородка, губ, щек, даже глазниц. В ключичных ямках и ложбине между грудей стояли лужицы. Сколько же я накопил любви, если стало возможно это вулканическое извержение!

Я приподнялся, снял со спинки кровати майку и принялся вытирать ее. Она не сопротивлялась, но и не помогала мне, пребывая в состоянии, близком каталепсии. Вытерев все досуха, я осторожно лег на нее. Она очнулась и, не размыкая век, то ли в знак благодарности за столь несомненное доказательство страсти, то ли в сознании полной моей безопасности, раскрылась, и мой страдалец впервые оказался в той горячей влажной мякоти, куда ему был закрыт доступ.

— А ты уже не можешь, бедный! — пробормотала она нежно и соболезнующе.

— С вами я всегда могу, — ответно проворковал я, внедряясь вглубь.

Она судорожно забилась, и, приняв это за проявления встречного усилия, я со всей силой вонзился в нее. И будто попал в эпицентр землетрясения. Она металась, рвалась, вскидывалась, изворачивалась, и все молча, с остекленевшими глазами, пытаясь освободиться от меня. Мне казалось, что я держусь прочно. Но постепенно мы подползли к другому краю кровати, и свалившийся матрас увлек нас вниз. Сперва она стукнулась головой о стену, потом я, и мы очутились на полу. С поразительным проворством она вскочила. Я чуть замешкался — вывернул руку, пытаясь предохранить любимую от ушиба.

— Что с вами? — спросил я.

От ее поведения веяло сумасшедшинкой.

— Хорошего понемножку, — сказала она со всеискупающей заговорщицкой улыбкой. — У нас с тобой впереди лето и... — она чуть помедлила и с нарочитой театральностью: — Вся жизнь.

Она полностью владела собой, даже с дыхания не сбилась после такой затраты физической и нервной энергии.

Она приложила палец к моим губам, схватила свои вещички и выскользнула из комнаты. Я слышал топот ее босых ног — шлепающе по линолеуму бильярдной, глухо по деревянным ступеням лестницы. И, не дав даже дух перевести, на меня снова навалилась тоска. Я опять хотел ее, словно не было той опустошающей растраты. А больней всего было оттого, что она не делит моего порыва, а швыряет мне подачку.

Я натянул трусики, взял ее туфли и пошел вниз.

Дверь спальни лишь притворена. Я постучался и, получив разрешение, вошел. Татьяна Алексеевна, совершенно голая, только в голубой косынке, повязанной на ночь, стояла посреди комнаты, то ли ступив мне навстречу, то ли не завершив движения к зеркалу или комоду.

— Зачем ты оделся? — спросила она укоризненно, словно я пришел в костюме полярника.

Я хотел было содрать трусики, но тут с обвальным грохотом обрушилась вода в уборной. Кто-то уже встал,

наверное, бабушка, старые люди мало спят. И вдруг я заметил, что за окном полыхает утро.

Я представил себе новую возню, но теперь уже с незащищенным тылом, и понял мнимую смелость ее вызова. На таком плацдарме, где весь быт на ее стороне, мне бессмысленно вступать в бой.

Доверчивое утро блистало за окнами, дышала миром большая нарядная дача, лучилась приветливостью из серо-голубых глаз золотистая нагая женщина, давшая мне наслаждение, а на меня повеяло чем-то зловещим. В счастье я уже не верил, а разрешиться завязавшееся тут бытовым скандалом тоже не могло. Громко звучала надрывная, дребезжащая, фальшивая нота.

Весь день я почти не видел Татьяну Алексеевну. Она погрузилась в домашние заботы. Вихрем носилась по даче, отдавая громкие приказания, весело распекала каких-то унылых мужиков в саду, давала бесценные кулинарные советы неандерталке, завертела волчком бабушку и даже начала учить инфанта французскому языку, которым не владела. Я утешался тем, что причастен к ее возрождению. Минувшая ночь вернула ей уверенность в себе.

Тщетно прождал я ее весь вечер и всю ночь, тупо веря, что она придет. Утром за завтраком она обмолвилась, что ждали Василия Кирилловича. Мне стало легче, хотя я не очень поверил этому. Но сделал вид, что верю. Как замечательно сумела она доконать меня, не сказав ни разу резкого, отстраняющего слова, не сделав ни одного грубого, просто волевого жеста, оставаясь ласковой и покорной, идя навстречу моим желаниям, лишь внося маленький корректив в наше полное взаимопонимание.

И был снова огромный, нескончаемый, пустой и страшный день без нее. Неужели меня окончательно списали на берег? Мавр сделал свое дело... Да нет, никакого дела мавр не сделал, разве что напомнил оставленной в пренебрежении женщине о ее былой власти.

Я не вышел к ужину, кусок не шел в горло. О водке и думать не мог. Я не хотел постороннего вторжения в чистоту подступающего отчаяния. Я лежал в своей комнате на застланной постели и смотрел на бледное обманчивое дневное

небо над сгущающимся сумраком земли. И тут она пришла. В легком платье-халате, босоножках и накинутой на плечи старой замшевой куртке Василия Кирилловича. После недавней грозы, как всегда, похолодало.

— Ты мне не рад?

— Я не ждал вас.

— Ты злишься?

— Уже нет.

— Но злился?

Я не ответил.

— Тебе хорошо было в последний раз?

— Я люблю вас. Мне нужны вы, а не... — я не нашел нужного слова.

Она же не захотела его угадать. Есть такой неприятный способ разговора, когда цепляются за слова, сознательно не слыша подразумеваемого смысла.

— А разве я не с тобой?

— Нет. Вы все время ускользаете. Вам нравится мучить меня. Вы заставляете меня за кого-то расплачиваться?

Она скинула на пол куртку. Не знаю, что она сделала с собой, но я вдруг увидел, какой она была девочкой. Что-то юное и прежде промелькивало в ней, но не становилось, как сейчас, новым воплощением. Доверчивое, открытое до беззащитности, юное существо отдавало мне себя без условий и соглашений.

Я подошел к ней и обнял, очень осторожно, тихо, поняв, что отныне мы никуда не торопимся, не боимся нами же создаваемых химер. Мы медленно, как в рапидной съемке, подошли к кровати. Она расстегнула свой халатик пуговицу за пуговицей неспешными движениями — начиналась наша вечность, которую надо пить спокойными, глубокими глотками. И, принимая заданный ею ритм, я так же не спеша снял с себя все, сложил на стуле, лег и притянул ее к себе. Она обняла меня не руками, а всем телом, и вспомнилось: «Ты меня волною тела, как стеною, обнесла». И тут же комната, дача, сад, все мироздание озарились ослепительным светом мощных фар. Это было очень страшно. Наверное, так чувствует себя рыба, высвеченная в ночной воде «лучом» —

горящим смолем, когда безжалостная острога подбирается к ее спине по световому колодцу. Голые и беспомощные, мы выставлены на всеобщее обозрение и позорище, и нет нам оправдания, защиты и снисхождения.

Впервые я увидел Татьяну Алексеевну растерянной. Охнув, она вскочила, подобрала свое платье-халат, кое-как натянула на себя и выскочила из комнаты.

Я сел на кровати — без мысли и чувства. Нет, в первое мгновение, поскольку я еще жил своим чувством к ней, был скрут боли и бешенства, что нам опять помешали, затем пришло сознание безнадежности провала, а с ним пустота. Меня не волновало, что сделает со мной Василий Кириллович, что будет дальше. Все кончилось. Мне даже не было стыдно. Бывает стыдно покойнику?

Дверь распахнулась, влетела Татьяна Алексеевна, схватила куртку Василия Кирилловича, вбила босые ноги в свои ночные туфли. При этом она как-то странно, мелко хихикала. Маленькая девочка опять проступала из нее, но почему-то это не умиляло. Она сунула руку в кармашек и ребячливым жестом протянула мне дамский браунинг, который я однажды видел в ее ночном столике.

— Зачем? — спросил я, но револьвер взял.

— Не хочу, чтобы тебя изуродовали. Ты мне нужен целый.

И, опять захихикав, скрылась.

Убить его, взять ее и тоже убить, потом убить себя? Нет, ее оставить, зачем же ей умирать? И тут все наше с ней высветилось и наконец-то обрело художественность. Любимая, вы ошиблись, я не убийца. И я не нужен вам ни целый, ни размолотый вашим мужем. Вам нужен только он, и никто другой в мире. Вы поняли, что он не вернется, что он любит другую женщину, а не вас, и решили, пусть не достанется никому. Катя с длинным носом поняла вас куда лучше меня: вы страстная натура. И страшная. Вы любите этого бздилу, рыгалу и хама, сумевшего так мощно подняться после падения, сохранившего лицо посреди всеобщего обезличивания, крутой нрав и яркий характер посреди всеобщей душевной осклопленности, ошалело любите, как тогда, под

взрывом, когда зачали от него дитя. Я не знаю, сразу ли появился у вас ледяной расчет на меня, но безошибочный инстинкт двигал вами с самого моего появления в вашем доме. Вы довели меня до полной утраты себя, вы делали со мной, что хотели, но, чтобы я стал убийцей, вам надо было полюбить меня. А этого вы не можете. Сейчас я навсегда уйду от вас, вернусь в свой возраст.

Я услышал тяжелые шаги на лестнице. Прежде всего надо спрятать браунинг, он не должен видеть его. Ну, это проще простого, достаточно забросить его на шкаф. Шаги приближались, но я не торопился. Во мне была сомнамбулическая уверенность, что я уйду. Хотя это было не так просто. Прямой путь отрезан, а внизу бегают не успевшая меня признать свирепая овчарка. Я видел, как летала по деревьям убитая после Василием Кирилловичем белка. Она описывала по саду круги, ни разу не коснувшись земли. Словно после долгой разлуки я ощутил свое худое, сильное и ловкое тело. Я уйду по деревьям.

Шаги приближались, надевать штаны и рубашку не было времени, я повязал их рукавами и штанинами вокруг шеи и вышел на балкон. Ближайшая ветка сосны была в метре, я прыгнул на нее, до того как распахнулась дверь.

Овчарка обнаружила меня, когда я проделал половину пути к забору. Она прыгала, клала зубы, захлебывалась от злобы рыдающим лаем. Она наводила на меня Звягинцева. Если он захватил мелкашку, то при его метком глазе... Пусть воспользуется своим шансом, это справедливо. Отвечать не придется, думал — злоумышленник. Но было темно в ветвях. А белесое небо не уделяло света земле. Я достиг забора и на гибком стволе молодой ольхи перелетел через него. Собачий лай, злоба, стыд, муки и неудача моих последних лет остались там. Я оделся, выбрался на шоссе, где меня подхватил первый же грузовик...

Татьяну Алексеевну я увидел двенадцать лет спустя на помосте крематория, в гробу. Она всего лишь на полгода пережила мужа, ей не было шестидесяти. Умерла от серд-

ца — сказали мне. Это правда, но не в узко медицинском смысле. Они до последнего дня оставались вместе-врозь. Его не стало, и ей не для чего было жить. В гробу лежала молодая красивая женщина с золотой головой. Она была свежа, как заезженная Хомой Брутом паненка-ведьма в церкви при отпевании. Она не уступила смерти ни грана своей живой прелести. Стоящие у гроба были куда сильнее отмечены грядущим небытием, нежели она, уже ступившая в него. Она, а не я, повинна в том кощунстве, которое сотворил у гробового входа мой спутник и однолётка, почтив вставанием память усопшей.

Содержание

Тьма в конце туннеля

5

Моя золотая теща

171

Издание осуществлено
при содействии
творческо-производственной
корпорации
«ДЕВИЗ»

Юрий Маркович Нагибин

Повести

**Тьма
в конце
туннеля**

**Моя
золотая
теща**

Главный редактор
изданий художественной прозы

Георгий Садовников

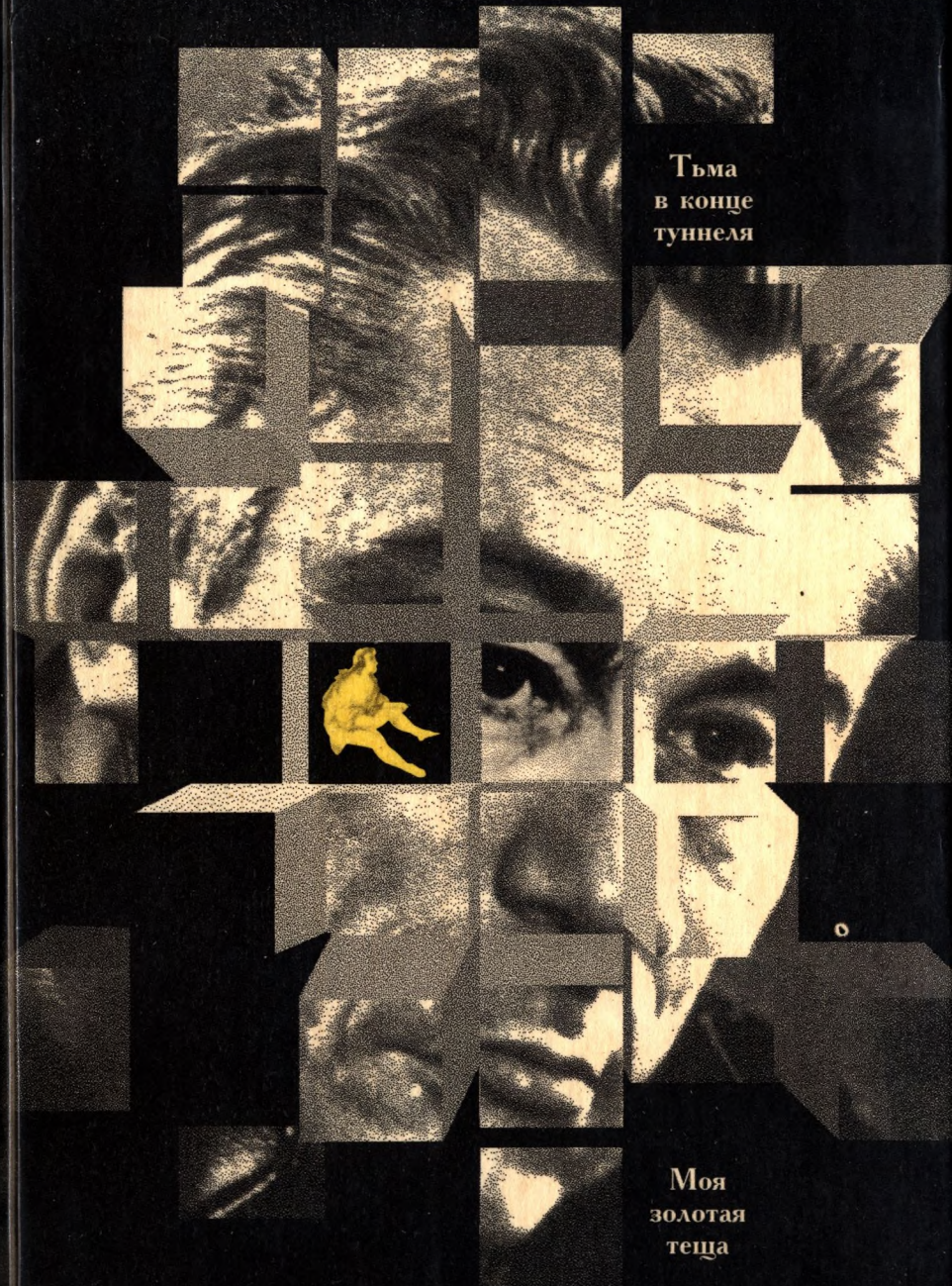
Корректор
Светлана Цыганова

Сдано в набор 15.2.94. Подписано к печати 21.3.94. Формат 84×108/32.
Гарнитура Академическая. Печать офсетная. Печ. л. 9,5. Усл.-печ. л.
15,96. Независимое издательство ПИК. 121019, Москва, Новый Ар-
бат, 21.

Заказ № 3101. Отпечатано с оригинал-макета в ГИПП «Нижполиграф»,
603006, г. Нижний Новгород, ул. Варварская, 32.

Юрий
Нагибин
повести

Юрий Нагибин



Тьма
в конце
туннеля

Моя
золотая
теща

Юрий Нагибин